

В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям*

**Книга доступна в электронной библиотеке biblio-online.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2020

УДК 930.2(075.8)
ББК 63.2я73
Ш78

Автор:

Шоган Владимир Васильевич — доктор педагогических наук, профессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), заслуженный учитель Российской Федерации;

Сторожакова Екатерина Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент Института истории и международных отношений Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

Рецензенты:

Куликовская И. Э. — доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой дошкольного образования Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), директор Южно-Российского научно-образовательного центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону);

Шандулин Е. В. — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

Шоган, В. В.

Ш78 Методика обучения истории. Художественные образы на уроках истории : учебное пособие для вузов / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-12481-1

Учебное пособие посвящено основным содержательным компонентам глубинной модульной технологии и использованию художественных средств в обучении истории.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям.

УДК 930.2(075.8)
ББК 63.2я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-12481-1

© Шоган В. В., Сторожакова Е. В., 2017
© Шоган В. В., Сторожакова Е. В., 2019
© ООО «Издательство Юрайт», 2020

Оглавление

Глава 1. Методические основы использования художественных образов обучения истории в контексте модульной глубинной технологии	4
Глава 2. Художественные и словесные образы.....	11
Иван Грозный.....	11
Смута	70
От Михаила до Петра	90
Софья.....	117
Петр I	130
Дворцовые перевороты.....	173
Екатерина II.....	231
Суворов.....	266
Литература	295
Новые издания по дисциплине «Методика обучения истории».....	300

Глава 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ МОДУЛЬНОЙ ГЛУБИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Так как наше учебное пособие посвящено использованию художественных средств в обучении истории, мы предлагаем для начала ознакомиться с основными содержательными компонентами глубинной модульной технологии обучения истории, в условиях которой и родилась идея создания учебного пособия «История Отечества в художественных образах».

Начнем с основополагающей структурной единицы, в контексте которой функционирует модульная глубинная технология обучения истории, имеется ввиду «Личностно-значимая тема». Личностно-значимая тема содержательно охватывает определенное историческое явление: «Эпоха Ивана Грозного», «Смута», «Петровская эпоха», «Эпоха дворцовых переворотов», «Эпоха Екатерины второй», «Русская культура XVIII века». Личностно-значимая тема это, прежде всего, логическая завершенность исторического содержания, однако, это содержание существует, главным образом, не для изучения, хотя этот аспект имеет колоссальное значение, а для значимого изменения личности ученика, которого мы, в наших исследованиях, называем персоной образования. Ученик, погруженный с помощью специальных приемов в пространство исторической жизни, сам становится этой жизнью, соотнося исторические представления о времени и пространстве, со временем и пространством, в котором он живет сегодня, творя при этом собственные, особенные представления в виде знаков и символов, исторических эссе, исторического рисования, игр и квестов, изменяясь в своем понимании человека и человечества. Его мыслительная работа в своей чистоте представляет со-мыслие прошлым человеческим построениям экономики, политики, культуры, проживание сущности данных явлений и, самое главное, проживание исторического мира как части его единства. Эвристический характер преподавания, решения проблемных заданий, осмысления дескрипторов исторических явлений, есть рождение мысли в глубинном понимании мыслительности, которая

переживается как интеллектуальный акт, воссоединяющий частную мысль ученика с формулой «Мир един» — это и есть категория понимания как чувство, изменяющее сознание и самосознание ученика на пути к вдохновляющей гармонии.

Личностно-значимая тема рассматривается в контексте проживания смыслов истории, ведь смыслы, по словам В. Франкла, — «нельзя понять, их можно только пережить». Здесь важно разъяснить наше представление о смыслах истории — мы находим их в состоянии сопричастности. Сопричастность, в свою очередь, рассматривается в контексте глубинного диалога между персоной образования (учеником) и персоной истории. В личностно-значимой теме создаются условия, в которых эти две персоны сопричастны друг другу своими судьбами, где персона истории уже имеет свою судьбу, она оставила свой след, преодолевая единичное в себе во имя высоких идеалов служения Родине и человечеству, либо не преодолела и тем самым оставила злой след в истории. И то и другое возможно для сопереживания, для диалога, но в первом случае это восхищение и сопричастность к служению персоны истории, во втором случае — ненависть, неприязнь, неприятие деяний того или иного человека, оставившего негативный след в мире истории. Однако и то и другое должно отразиться в зеркале самосознания персоны образования (ученика) и в этом смысле личностно-значимая тема, именно с помощью художественных средств исторической прозы, исторической поэзии, живописи изменяет мироотношение семиклассника.

Личностно-значимая тема характеризуется еще и тем, что создает условия для самостоятельных творческих действий учащегося седьмого класса, она предполагает наличие таких форм, в которых ученик сам творит инобытие своих представлений, мыслей, переживаний в рисовании, в поэтическом и прозаическом тексте, в создании эссе, в имитационных ролевых и деловых играх, в театризации, в различных квестовых формах, где рождается чистое состояние поиска, обретения поступка. Оказаться на месте воина, на месте ремесленника, на месте духовного лица, решать, думать, чувствовать за него из собственного бытия есть высшая точка любой личностно-значимой темы, главный ее этап, изменяющий и гармонизирующий личность персоны образования.

Личностно-значимая тема должна быть пронизана рефлексивными актами, где каждый фрагмент урока или урок в целом или тотальная форма гражданской и личностной проповеди должна быть обращена к категориям языка, к словам, олицетворяющим идеалы жизни, проникновению во внутренний смысл этих слов, окончательно определяющих в рефлексивном пафосе результативность своего собственного изменения.

Личностно-значимая тема представлена пятью этапами. В основе построения используется инвариантная структура: образ — ана-

лиз — смысл — действие — рефлексия. Согласно структуре, каждый этап личностно-значимой темы соответствует определенному типу урока.

Первый этап — урок образ, символически и художественно представляющий тему в целом.

Второй этап — урок мышления — здесь главными выступают исторические категории пространства, времени, система исторических понятий, фактов, суждений, умозаключений (художественные средства здесь выступают в качестве вспомогательных). Уроки мышления занимают наибольшее количество времени в пространстве личностно-значимой темы — уроков может быть 3—4, в зависимости от масштабов темы.

Третий этап — урок настроение, где главным образом применяются художественные средства, где речь идет о художественных символах и знаках, эстетических и этических понятиях, использования исторической поэзии, прозы, живописи, музыки и театрализации.

Четвертый этап — урок самостоятельного действия, построенный на абсолютной самостоятельности учащихся и выступающий в формах микрогрупповых семинаров различного типа с элементами исторического делания, создания постерных докладов, рисования, различного типа игр и театрализации.

Пятый этап — урок актуализации и проповеди, имеющий проповедническую тенденцию, связывающий историю с актуальной жизнью страны и мира, а так же, превращающий исторические знания, в средства самоанализа жизни ученика.

И так, личностно-значимая тема это совокупности пяти типов уроков: урок-образ, уроки мышления, урок настроения, урок самостоятельного действия и урок актуализации и проповеди.

Вкратце представим внутренне структуры каждого из уроков.

Урок образ — это урок модуль, потому что его результирующим эффектом является самостоятельное особенное опережающее, целостное представление учащихся о будущей исторической теме. Он состоит из пяти микромодулей.

Микромодуль 1 — мотивационно-символический — представляет собой восхождение от детских личностных впечатлений к главному символу темы.

Микромодуль 2 — опережающего представления — здесь символ превращается в схему, эта схема фиксируется учащимися, а затем, с помощью выводов из логических частей урока заполняется и конкретизируется, далее ученики повторяют освоенное и им предлагается творческое интеллектуальное задание (таким образом, возникает целостное рациональное представление о будущем знании).

Микромодуль 3 — персонификация — здесь представлена главная персона всей темы. Осуществляется категориально-этический анализ жизнедеятельности этой персоны, а далее, с помощью триединства художественных средств (поэзия, музыка, живопись) возникает эффект сопереживания персоны истории и персоны образования — то, что мы называем глубинным диалогом.

Микромодуль 4 — творческое действие — в нем создаются условия, с помощью которых учащиеся создают собственный особенный символ изучаемой темы (либо в прозе, либо в рисовании, либо с помощью поэтических образов).

Микромодуль 5 — микромодуль рефлексии — осуществляется оценка и самооценка полученных представлений и окончательно формулируется алгоритм изучения темы.

Урок мышления — это урок модуль, его результирующий эффект в абсолютном интеллектуальном понимании определенного аспекта темы (допустим, если урок образ посвящен целостному видению эпохи Петра, в котором в качестве символического образа уже представлена Северная война, то в уроке мышления она изучается в контексте ее причин, этапов, участников и исторических значений). Урок состоит из пяти микромодулей, у каждого микромодуля своя интеллектуальная задача.

Микромодуль 1 — интригующего образа — это действительная интрига урока, которая является не проблемным заданием, а глубинной исторической загадкой, построенной так, что бы у учащихся возник мгновенный неподдельный интерес к будущей мыслительной работе (интриги в технологии представлены: как абстрактные, где пропущено одно слово в ключевой фразе «Золотыми поводьями взнуздать мир», перед изучением Чингисхана; сюжетными, где сюжетный интерес прерывается на пике интереса; художественные интриги, где используются художественные средства, где так же остается не разрешенным конфликт задания; игровые интриги). Главная задача интриги пробудить неподдельный интеллектуальный интерес, охватывающий весь урок. Для этого происходит обращение к интриге на различных этапах урока для ее поаспектного разрешения.

Микромодуль 2 — воспоминание — его главная задача, это погружение в воспоминание о прошлом материале. В этом микромодуле присутствует фронтальная проверка знания, охватывающая весь класс, индивидуальная проверка и творческие проблемные задания. Движение микромодуля связано с погружением всего класса в анализ пройденного. В завершении микромодуля учитель обращается к началу урока — к интриге и приоткрывает первую тайну ее разрешения.

Микромодуль 3 — микромодуль нового знания — он определен специальной формулой, именуемой в технологии дескриптором (главная теоретическая формула нового материала, которая поаспектно разрешается в движении логических частей нового знания). Когда формула абсолютно понята и изучена, знания учащихся проверяются, а действие микромодуля завершается решением познавательной задачи. В итоге учитель заново обращается к интриге урока и открывает ее вторую тайну.

Микромодуль 4 — действенное закрепление — в основе микромодуля специальные задания, соединяющие воспоминание и новое знание, восходящий к обобщению.

Микромодуль 5 — разрешение интриги — в данном микромодуле интрига разрешается и в том случае, если у учащегося уже готово решение, то к односложному ответу учащихся добавляется специальное фактологическое знание.

Урок настроение — это урок модуль, потому что его главным результирующим эффектом является целостное настроение изучаемой темы. В нем главную роль играют художественные средства: историческая поэзия, художественно-историческая проза, музыка, театрализация. Урок состоит из пяти микромодулей.

Микромодуль 1 — целостный художественный образ темы с использованием триединства средств (художественное слово, живопись, музыка).

Микромодуль 2 — историко-эстетического суждения и переживания — центром микромодуля является историческая живопись (репродукция картины «Боярыня Морозова»), далее осуществляется историко-эстетический анализ этой картины, далее чувственно-эстетическое проживание этой картины с помощью прослушивания музыки соответствующей эпохи. Микромодуль завершается написанием эссе, где учащиеся высказывают свои эстетические суждения по поводу конкретной картины и изучаемой эпохи в целом.

Микромодуль 3 — этическая персонификация — начинается с демонстрации художественного портрета персоны истории и краткой характеристики этого портрета, далее переходит в этический анализ нравственных качеств персоны истории, высказываемых учениками. Далее с помощью триединства средств (поэзия, музыка, репродукция портрета) создаются условия для проживания единства судеб персоны истории и персоны образования (ученика), то есть возникает эффект сопереживания. Завершается микромодуль встречей с персоной — обычно учитель задает глубинный нравственный вопрос от имени портрета персоны истории, это может быть вопрос от имени оружия, одежды. Предметов быта персоны истории.

Микромодуль 4 — театрализация — учащиеся на фоне музыки читают вслух поэтические и художественно-прозаические отрывки, которые использовались в уроке.

Микромодуль 5 — рефлексия — осуществляется оценка, самооценка прочитанного школьниками, где учитель дает нравственную оценку эпохи.

Урок самостоятельного действия — урок модуль, его результирующим эффектом является максимальная самостоятельность в решении поставленных задач. Это обычно урок семинарского типа, он представлен действиями микрогрупп класса. В глубинной модульной технологии разработано огромное множество вариантов урока самостоятельного действия, но в данном пособии мы покажем лишь основополагающую структуру этого урока.

Микромодуль 1 — мотивация самостоятельного действия — это такое задание, в котором учащиеся поставлены в условия абсолютной самостоятельности и должны принести пользу либо человеку, либо школе, либо классу, создавая определенный продукт.

Микромодуль 2 — действенное воспоминание — микрогруппам предоставляются задания, в которых они вспоминают прошлое знание всей темы для решения мотивационной задачи продуктивного свойства.

Микромодуль 3 — создание продукта — осуществляется работа по созданию нового полезного продукта.

Микромодуль 4 — презентация созданного продукта.

Микромодуль 5 — оценка, самооценка и понимание пользы сделанного.

Урок актуализации и проповеди — это урок модуль, его главной результативной задачей является самостоятельный самоанализ существующих социальных проблем посредством истории и анализ, и самоанализ жизни ученика, его судьбы посредством понятий изученной темы. В основе урока выявленной модульной технологии так называемая безответная педагогика, где все поставленные вопросы решаются с помощью индивидуальной рефлексии каждым учеником. По существу, на уроке не дается ответов на поставленные вопросы — они являются уделом внеурочной, внешкольной рефлексивной аналитической работы. Главная задача урока это связь истории с актуальной жизнью страны, с актуальной жизнью ученика.

Микромодуль 1 — символическая актуализация — в его основе сравнительная работа над современными символами и символами истории. Микромодуль завершается вопросом с определением их тождества и различия.

Микромодуль 2 — рационально-аналитическая актуализация — сравниваются исторические понятия, события, с понятиями и событиями современной жизни. Безответный вопрос на их тождество и различие.

Микромодуль 3 — нравственно-этическая актуализация — сравниваются нравственные проблемы прошлого, то есть изученной исторической эпохи и нравственные проблемы настоящего. Завершается безответным вопросом на их тождество и различие.

Микромодуль 4 — действенная актуализация и проповедь — речь идет о поступках людей изучаемой исторической эпохи и поступках людей современности в их тождестве и различии.

Микромодуль 5 — смысложизненная актуализация и проповедь — создается ситуация, обращающая учащихся к смыслам их судьбы и жизни. Не отвечая ни на один вопрос, урок завершается. Острота вопросов создает условия для самостоятельной рефлексии семиклассников над смыслом собственной жизни, над их оценкой современных социальных ситуаций, на их самооценках в их отношении к родителям, старшим, учителям и т. д.

В результате, мы показали Вам азы глубинной модульной технологии, которые при полном ее описании представляют собой гораздо более многообразное явление с множеством различных методов, форм, приемов, а так же глубинного понимания годовых сезонов, да и самого учебного года как качественной определенности. Однако, для понимания основных идей технологии читателям придется обратиться к нашим научным работам, учебным пособиям и многочисленным статьям, которые представлены в конце учебного пособия.

Глава 2

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СЛОВЕСНЫЕ ОБРАЗЫ

Иван Грозный

Тень Грозного не только усыновила Дмитрия Самозванца, она за-слонила предшествующую эпоху. XVI век в отечественной истории обычно ассоциируется с этим правителем. Его личность, его время возбуждают исследовательский интерес историков и художественную фантазию литераторов. Ивана IV рисовали и экранизировали, о нем писали в прозе и стихах. Его даже танцуют. Гораздо менее известна эпоха его отца, великого князя московского Василия III (1505—1533), и деда Ивана III (1462—1505), когда было сделано не меньше, если не больше, для будущих судеб России. Но только основной архитектурный ансамбль Московского Кремля был создан на рубеже XV—XVI веков; строился фундамент русский государственности и культуры нового времени.

В 60—70-х годах XV века, когда тверской купец Афанасий Никитин совершал рискованное и дерзкое путешествие «за три моря», Русь представляла собой совокупность нескольких самостоятельных княжеств — Московского, Тверского, Рязанского и др., двух феодальных республик — Новгорода и Пскова; многочисленные удельные княжества оставались постоянным источником сепаратизма; часть русских земель входила в состав Великого княжества Литовского. Еще сохранялось ордынское иго. Но процесс консолидации русских земель, их объединения вокруг Москвы был уже необратимым, отвечая внутренним потребностям экономического и культурного развития страны, являясь необходимым условием сохранения ее национальной независимости и существования в качестве суверенного государства. Тверич Афанасий Никитин, живя в Индии и тоскуя по родине, осознает ее не как Тверскую, а как единую Русскую землю — страну, краше которой для него нет.

Идея единства Русской земли, не умиравшая в самые тяжелые годы XIII и XIV столетий, в эпоху разорительных для народа княжеских усобиц и ордынского ига, начинает воплощаться в жизнь, в живую социальную и политическую реальность. Постепенно теряют самостоятельность и присоединяются к ядру государства Нижегородское, Ростовское, Ярославское княжества. Не за горами

1480 год, когда уход от Угры ордынского хана Ахмеда, признавшего свое поражение, обозначит конец ордынского ига.

80-е в 90-е годы принесут новые успехи объединительной политики. Россия, осуществляя государственную централизацию, шла по тому же пути, что Франция, Англия, Испания, где в XV веке формировались централизованные национальные государства; в Италии и Германии политическая раздробленность не была ликвидирована.

У гроба Грозного

Средь царственных гробов в Архангельском соборе
На правом клиросе есть гроб. При гробе том
Стоишь невольно ты с задумчивым челом
И с боязливою пытливостью во взоре...
Тут Грозный сам лежит!.. Последнего суда,
Ты чуешь, что над ним судьба не изрекала;
Что с гроба этого тяжелая опала
Еще не снята; что, быть может, никогда
На свете пламенной души не появлялось...
Она — с алчбой добра — весь век во зле терзалась,
И внутренним огнем сгорел он... До сих пор
Сведен итог его винам и преступлениям;
Был спрос свидетелей; поставлен приговор, —
Но нечто высшее всё медлит утвержденьем,
Недоумения толпа еще полна,
И тайной облечен досель сей гроб безмолвный...
Вот он!.. Иконы вкрут. Из узкого окна
В собор, еще святых благоуханий полный,
Косой вечерний луч на темный гроб упал
Узорной полосой в колеблющемся дыме...
О, если б он предстал — теперь — в заgrabной схиме,
И сам, как некогда, народу речь держал:
«Я царство создавал — и создал, и доньне, —
Сказал бы он, — оно стоит четвертый век...
Судите тут меня. В паденьях и гордыне
Ответ мой — господу: пред ним — я человек,
Пред вами — царь! Кто ж мог мне помогать?.. Потомки
Развенчанных князей, которым резал глаз
Блеск царского венца, а старых прав обломки
Дороже были клятв и совести?.. Держась
За них, и Новгород: что он в князьях, мол, волен!
К Литве, когда Москвой стеснен иль недоволен!
А век тот был, когда венецианский яд,
Незримый как чума, прокрадывался всюду:
В письмо, в причастие, ко братине и к блюду...
Княгиня — мать моя — как умерла? Молчат
Княжата Шуйские... Где Вольский? Рать собирает?
Орудует в Крыму и хана подымает!

Под Серпуховом кто безбожного навел
На своего царя и указал дорогу?
Мстиславский? Каешься?.. А Курбский? Он ушел!
«Не мыслю на удел», — клянется мне и богу,
А пишется в Литве, с панами не таясь,
В облыжных грамотах как «Ярославский князь»!
Клевещет — на кого ж? На самую царицу —
Ту чистую, как свет небесный, голубицу!..
Все против!.. Что же я на царстве?.. Всем чужой?..
Идти ль мне с посохом скитаться в край из края?
Псарей ли возвести в боярство — и покой
Купить, им мерзости творить не возбраняя,
И ненавистью к ним всеобщей их связать
С своей особою?.. Ответ кто ж должен дать
За мерзость их, за кровь?.. Покинутый, болящий,
Аз — перед господом — аз — аки пес смердящий
В несчастье и грехе!.. Но царь пребыл царем.
Навеки утвердил в народе он своем,
Что пред лицом царя, пред правдою державной
Потомок Рюрика, боярин, смерд — все равны,
Все — сироты мои... И царство создалось!
Но моря я хотел! Нам нужно насажденье
Наук, ремесел, искусств, все с боя брать пришлось
Весь Запад завопил; опасно просвещенье
Пустить в Московию! Сам кесарь взор возвел
Тревожно на небо: двуглавый наш орел
Уже там виден стал, и занавесь упала,
И царство новое пред их очами встало...

Оно не прихотью явилось на свет.
В нем церкви истинной хоругвь, и меч, и сила!
Единоверных скорбь, чтоб быть ему, молила —
И — быть!.. Мой дед, отец трудились над ним,
Я ж утвердил навек — хоть сам раздавлен им...
Вы все не поняли?.. Кто ж понял? Только эти,
Что в ужасе, как жить без государства, шли
Во дни великих смут, с крестом, со всей земли
Освобождать Москву... Моих князей же дети
Вели постыдный торг с ворами и Литвой,
За лишние права им жертвуя Москвой!..
Да! Люди средние и меньшие, водимы
Лишь верою, что бог им учредил царя
В исход от тяжких бед, что царь, лишь Им судимый,
И зрит лишь на Него, народу суд творя, —
Ту веру дал им я, сам божья откровенья
О ней исполняя в дни слез и сокрушенья...
И сей священный огонь доныне не угас:
Навеки духом Русь с царем своим слилась!
Да! Царство ваше — труд, свершенный Иоанном,

Труд, выстраданный им в бореньи неустанном.
И памятуйте вы: все то, что строил он, —
Он строил на века! Где — взвел до половины,
Где — указал пути... И труд был довершен
Уж подвигом Петра, умом Екатерины
И вашим веком...
Да! Мои день еще придет!
Услышится, как взвыл испуганный народ,
Когда возвещена царя была кончина,
И сей народный вой над гробом властелина —
Я верую — в веках вотще не пропадет,
И будет громче он, чем этот шип подземный
Боярской клеветы и злобы иноземной...» [9, 194—198]

А. Майков, 1887

Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой, кабы зимою цветы расцветали!
Кабы мы любили да не разлюбляли!
Кабы дно морское достать да измерить!
Кабы можно, братцы, красным девкам верить!
Ой, кабы все бабы были б молодицы!
Кабы в полугаре поменьше водицы!
Кабы всегда чарка доходила до рту!
Да кабы приказных по боку, да к черту!
Да кабы звенели завсегда карманы!
Да кабы нам, братцы, да свои кафтаны!
Да кабы голодный всякий день обедал!
Да батюшка б царь наш всю правду бы ведал!

А. Толстой, 1856

Старицкий воевода

Когда был обвинен старицкий воевода,
Что, гордый знатностью и древностию рода,
Присвоить он себе мечтает царский сан,
Предстать ему велел пред очи Иоанн.
И осужденному поднес венец богатый,
И ризою облек из жемчуга и злата,
И бармы возложил, и сам на свой престол
По шелковым копрам виновного возвел.
И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты,
И, в землю кланяясь с покорностью трикраты,
Сказал: «Доволен будь в величии своем,
Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!»
И, вспрынув тот же час со злобой беспощадной,
Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной.
И, лик свой наклоня над сверженным врагом,

Он наступил на труп узорным сапогом
И в очи мертвые глядел, и с дрожью зыбкой
Державные уста змеилися улыбкой. [11, 154]

А. Толстой, 1858

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА. 1569 г.

Эпоха царя Ивана IV Грозного дала истории не только примеры безудержной жестокости, но и высокие образцы милосердия и справедливости. Чем более мрачным и суровым представляется то время, тем удивительнее появление таких людей, как митрополит Московский Филипп (в миру — боярин Федор Колычев).

Святитель Филипп, всеобщий заступник, исполненный сострадания и веры, избравший мученическую смерть во имя истины, — одна из самых светлых личностей в русской истории того времени.

Когда Россия вела долгую и трудную Ливонскую войну, внутри ее господствовала мрачная эпоха опал и казней. В 1563—1564 годах на сторону Литвы перебежало несколько недовольных политикой царя бояр. Среди этих изменников оказался и один из лучших московских воевод — князь А. М. Курбский. Эта измена увеличила подозрительность и ненависть царя Ивана к боярам. Его воображению всюду представлялись тайные козни изменников и предателей. В 1560 году он отстранил от себя прежних советников — Сильвестра и А. Ф. Адашева, членов «Избранной рады». Их родственники и друзья подверглись опалам и казням. Подозрительный и жестокий, Иван IV, получивший прозвище Грозного, все чаще подвергал казням и гонениям бояр — виновных и невиновных.

Не считая себя в безопасности, царь неожиданно в начале 1565 года покинул Москву и уехал с семейством и близкими людьми в Александровскую слободу (ныне г. Александров, Владимирской обл.). Отсюда он написал митрополиту и народу о своем намерении оставить престол. Встревоженный народ умолял его не покидать царства. Иван согласился, но с условием, чтобы ему не мешали казнить изменников, и учредил опричнину. Так назывался новый двор царя, составленный из преданных ему людей. На содержание этого двора он отделил часть Москвы и доходы с 20 городов. Остальная территория государства была названа «земщиной». По указу царя сформировали опричное войско из верных ему людей, знатных и незнатных. Они должны были отречься от отца и матери и слушаться беспрекословно только царя.

Опричное войско стало карательным инструментом в руках царя, его личной гвардией. Опричники приторачивали к седлам своих коней собачью голову и метлу, что символизировало их собачью преданность царю и решимость вымести всякую «измену» из государства. Начался жестокий террор, казни, пытки, ссылки. Из всех

опричников особенно прославился своей жестокостью Малюта Скуратов.

И вот на защиту невинных жертв мужественно выступил против Грозного царя соловецкий игумен Филипп, выбранный самим Иваном на Московскую митрополию. Митрополит Филипп не мог равнодушно смотреть на преследования и казни, не раз смело обличал недостойное поведение царя и буйство его опричников. Но наставления и беседы оказались безрезультатными. Царь всенародно ругал митрополита, называя его лжецом и мятежником. Утром 8 ноября 1568 года во время службы в Успенском соборе Кремля внезапно явился Алексей Басманов с опричниками. Он зачитал Церковный соборный приговор о низложении митрополита. После этого опричники сорвали с Филиппа одежды, облекли его в старую монашескую рясу, грубо вытолкали из храма и на санях повезли в Богоявленский монастырь, осыпая оскорблениями и ударами палок. Толпы народа бежали за Филиппом, проливая слезы. Вскоре по приказу царя он был сослан в заточение в Тверской Отрочь монастырь. 23 декабря 1569 года Малюта Скуратов по пути в Новгород заехал к Филиппу просить благословения на кровавую расправу с новгородцами. Но святитель отказал ему в благословении. Малюта в ярости тайно задушил его в келье. Впоследствии церковь причислила Филиппа к лику святых.

А. Н. Новоскольцев (1853—1919)

Князь Михайло Репнин

Без отдыха пирует с дружиной удалой
Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой.
Ковшами золотыми столов блистает ряд,
Разгульные за ними опричники сидят.
С вечерни льются вины на царские ковры,
Поют ему с полночи лихие гусяры,
Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.
Но голос прежней славы царя не веселит,
Подать себе личину он кравчему велит:
«Да здравствуют тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!
Себе личину, други, пусть каждый изберет,
Я первый открываю веселый хоровод,
За мной, мои тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!»
И все подъяли кубки. Не поднял лишь один;
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин.
«О царь! Забыл ты бога, свой сан ты, царь, забыл!
Опричниной на горе престол свой окружил!
Рассыпь державным словом детей бесовских рать!

Тебе ли, властелину, здесь в маскаре плясать!»
Но царь, нахмуря брови: «В уме ты, знать, ослаб
Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб!
Не возражай ни слова и маску надень —
Или клянись, что прожил ты свой последний день!»
Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь:
«Опрочнина да сгинет! — он рек, перекрестясь. —
Да здравствует во веки наш православный царь!
Да правит человеки, как правил ими встарь!
Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас!
Личины ж не надену я в мой последний час!»
Он молвил и ногами личину растоптал;
Из рук его на землю звенящий кубок пал...
«Умри же, дерзновенный!» — царь вскрикнул, разъярясь,
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь.
И вновь подъяты кубки, ковши опять звучат,
За длинными столами опричники шумят,
И смех их раздаётся, и пир опять кипит,
Но звон ковшей и кубков царя не веселит:
«Убил, убил напрасно я верного слугу,
Вкушать веселье ныне я боле не могу!»
Напрасно льются вины на царские ковры,
Поют царю напрасно лихие гусяры,
Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен. [11, 142]

А. Толстой, 1840-е гг.

Василий Шибанов

Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь. Конь измученный пал.
Как быть среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Свое отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешой не отстану».

И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода,
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает;
Недаром дивится литовский народ,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом».

Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;

Готовится Курбский царю перечесть
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,
То все я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо».

И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит,
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду

Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не любя на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольню сомненья на князя нашли...
Вдруг входит Шибанов в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»

И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награжденье!»
Шибанов в ответ господину: «Добро!
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки».

Звон медный несется, гудит над Москвой;
Царь в смиренной одежде трезвонит;
Зовет ли обратно он прежний покой
Иль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ,
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.

В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,

И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный богом Басманов.

Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных собранье.
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,
Над шапкою держит посланье.
И спрянул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского князя Андрея!»

И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Посланье от слова до слова!
Поддай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль — и внимает:

«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?»

Безумный! Иль мнишишь бессмертное нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьбою предстану!»
Так Курбский писал к Иоанну.

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд;
Был мрачен владыки загадочный взгляд,

Как будто исполнен печали;
И все в ожиданье молчали.

И молвил так царь: «Да, боярин твой прав.
И нет уж мне жизни отрадной,
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок!»

Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену:
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?»
«Царь, слово его все едино:
Он славит своего господина!»

День меркнет, приходит ночная пора,
Скрышат у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера,
Опять зачалася работа.
«Ну, что же, назвал ли злодеев гонец?»
Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его все едино,
Он славит своего господина:

«О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час.
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье,
Помилуй мои прегрешенья!

Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь,
И твердо жду смерти желанной!»
Так умер Шибанов, стремянный. [11, 138—142]

А. Толстой, 1840-е гг.

Князь Андрей Курбский

Как стая лебедей, застигнутых грозой,
В полях шатры литовские белели;
Душа Батория рвалась на Русь войной,
Сердца граждан к герою пламенели.
О стены Полоцка! Давно ли жребий битв
Вас воротил под русские знамена?
И снова слышен вопль отчаянных молитв
Там за Двиной куют оковы плена...
Нестройный шум кругом обходит вражий стан,
Не дремлет рать, а ночь уж над землею,
Леса безмолвствуют — и стелется туман
По-прежнему над спящею рекою.
Судьба грядущего волнует сонм вождей,
Их бодрый дух, как снасть под бурей, гнется, —
Но кто среди них пришлец? Он жгет огнем очей
И в верности перед мечом клянется...
Князь Курбский, отрекись! Ряд доблестных могил
И бедная отчизна пред тобою...
Свершилось! Мести яд в нем чувства отравил
И занял мысль предательской войной.
И стройно двинулась Баториева рать.
Уж развились отечества знамена:
На бодрых ратников нисходит благодать —
И далека от мыслей их измена;
Как доброй матери, их жизнь отчизне дань.
Молитесь! Кровавый день зарделся,
Как птица вещая, окрест завывла брань...
И Курбский злым весельем разгорелся —
О, горе русскому!..

Клубится дым над пепелищем битвы,
В сеть облаков закралась луна;
Отвторился по стану глас молитвы,
И сладкий сон наводит тишина.
Почила рать; сквозь сон светлеют лица,
Игра мечты — и лепет на устах;
Им снится мир, на родине светлица,
И взоры дев, и встречи в городах.
Густеет мрак; ряд бледных привидений,
Шатры вождей в безмолвии стоят;
И лишь в одном нет благодатной тени —
Там поздние огни лампад горят;
Задумчиво муж битв сидит пред ними,
Его очей бежит отрадный сон
С спокойствием, с виденьями благими;
Не мыслию победной занят он.
И не горит к Литве святой любовью;

В углу шатра стальной доспех висит,
Широкий меч, облитый русской кровью,
Как божий гнев, очам его блеснит...
И в памяти минувшее восстало:
Он, юноша, был родины щитом,
В венце побед чело его сияло,
Он не краснел перед своим мечом,
И лишь за Русь в нем сердце трепетало!
Башкира степь, Ливонии поля
И вышины зубчатые Казани
Еще хранят высокие дела
Его души и меченосной длани;
Как взоры чад преступного отца
Они пред ним украдкой мелькают,
Но не ясны угрюмого лица:
Невинные, но душу раздирают!
Ночь протекла, — и не смыкал очей
На родину пришедший со врагами;
В его душе утих порыв страстей, —
И на восток смотрел он со слезами,
И проклинал кровавый пир мечей.

В. И. Григорьев, 1829

Несмотря на некоторые исторические несоответствия в деталях, песня правильно представляет взятие Казани. С падением Казанского ханства народы Среднего Поволжья были освобождены и вошли в состав Российского государства, открылся торговый путь в Сибирь, Урал, Кавказ и в страны Востока:

Он [Иван IV] взял с него [татарского царя Симеона] царскую корону
И снял царскую перфиду,
Он царский костыль в руки принял.
И в то время князь воцарился
И насел в Московское царство,
И тогда-де Москва основалась,
И с тех пор великая слава.

В 1451 году казанский хан Махмутек напал на Москву (не смог взять Кремль) и сжег город. Перед русским народом встала задача сокрушить вражеский форпост. В 1552 году Иван IV собрал русское войско и подошел к Казани. В исторической песне о взятии Казани поется:

А из сильнова Московскова царства
Подымался великой князь Московский
И Иван сударь Васильевич прозритель,
С темя ли пехотными полками,
Что со старыми славными казаками,

Подходили под Казанское царство за пятнадцать верст,
Становились оне подкопью под Булат-Реку,
Подходили под другую под реку под Казанку;
С черным порохом бочки закатали,
А и под гору становили,
Подводили под Казанское царство.

Героем песни является не только царь Иван Грозный, но и простой пушкарь. В песне рассказывается, как «казанцы» ходят по стенам: «Оне грозному царю да насмеваются: “Не бывать нашей Казани да за белым царем!”» [3, 118—120]

ВЗЯТИЕ КАЗАНИ ИВАНОМ ГРОЗНЫМ.

1552 г.

После свержения ордынского ига при Иване III Россия еще долго испытывала его последствия. После падения Золотой Орды возвысилось Казанское ханство, расположенное по берегам средней Волги, которое скоро стало опасным врагом для Московского государства. Казанские татары утвердились на земле древних Камских Булгар и держали в повиновении народы Поволжья — марийцев, чувашей, мордву. Казанцы, по словам современника, «допекали Русь хуже Батыева нашествия». Они часто совершали набеги на русские земли, разоряли их, жгли, грабили и убивали людей, пленников продавали в рабство целыми толпами, как скот. К тому же Казань и Астрахань препятствовали проезду русских купцов по Волге в восточные страны. Московские государи неоднократно совершали походы против казанских татар, но безуспешно. Наконец 22-х летний царь Иван IV, внук Ивана III, решил покончить с Казанью. Он также предпринимал два похода на Казань, но оба раза неудачно. К третьему походу Иван IV Грозный решил тщательно подготовиться. В 1551 году на высоком берегу Волги, напротив Казани, по его приказу в течение нескольких недель была построена деревянная крепость — город Свияжск. Иван IV собрал стопятидесятитысячное войско. Оно состояло из боярских и дворянских конных отрядов, стрелецких полков и артиллерии, насчитывающей около 150 пушек.

В июне 1552 года Иван Грозный с армией выступил в поход. Казанцы тоже готовились к войне и писали Ивану: «...ждем вас на пир: не в первый раз бежать вам со срамом от нашего города».

Союзник Казанского ханства, крымский хан Девлет-Гирей, пытался помешать походу московского царя. Он напал на Тулу, но был разбит местным гарнизоном и ушел обратно в Крым. В августе русские войска собрались у Свияжска. Казанскому хану Едигер-Магмету послали предложение о сдаче, но он отказался. Тогда русские войска переправились через Волгу и уступили к Казани.

Казань находилась на высоком холме, защищенном со всех сторон реками и болотами. Город окружали два ряда высоких дубо-

вых стен. Пространство между стенами было засыпано камнями и песком. Вокруг стены тянулся глубокий ров, заполненный водой. На стенах крепости стояли пушки, присланные турецким султаном. В городе находилось около 30 тысяч войска.

Иван IV Васильевич, не желая подвергать свое войско опасностям штурма, решил вести осаду Казани. Он сам лично, с воеводами и инженером-немцем, в течение нескольких дней, образно говоря, не слезал с коня, указывая, где кому встать, где поставить пушки и откуда вести под стену подкопы. Казанцы защищались с отчаянной храбростью и упорством. Татарские всадники из леса нападали на русские войска с тыла. Осада Казани продолжалась полтора месяца. Попытки русских взять город штурмом были отбиты. Тогда русские сделали подкопы под стены Казани, вкатили туда бочки с порохом и зажгли их. В двух местах крепостная стена взлетела на воздух. Русские войска устремились в образовавшиеся проломы и ворвались в город. После страшной резни город был взят, и Казанское ханство перестало существовать. На другой день, когда город был очищен от павших воинов, русское войско торжественно вступило в Казань. Впереди шло духовенство с крестами и хоругвями, на богато убранном белом коне в ратных доспехах ехал сам царь Иван IV. Татары выдали своего хана Едигера, который и был приведен к Ивану Грозному вместе с приближенными. Все они пали ниц перед царем и молили о пощаде. В память завоевания Казани Иван IV приказал построить в Москве на Красной площади собор Покрова Пресвятой Богородицы, который известен в народе как собор Василия Блаженного.

П. И. Коровин (1857—1919)

КАК ЖИЛИ В СТАРИНУ РУССКИЕ ЦАРИ-ГОСУДАРИ

Свита, окружавшая государя, была также одета более или менее богато, смотря по празднеству и соответственно одежде государя. Для этого из дворца отдавался приказ, в каком именно платье, быть на выходе. Если же боярин был недостаточен и не имел богатой одежды, то на время выхода такую одежду давали ему из царской казны. Впоследствии, при царе Федоре Алексеевиче, издан был даже особый указ, которым назначено было, в какие именно господские и владычни праздники и в каком платье быть во время царских выходов.

Во время шествия свита разделялась рядами, люди меньших чинов шли впереди, по старшинству, по два или по три человека в ряд, а бояре, думные и ближние люди следовали за государем. На всех выходах в числе царской свиты находился постельничий с разными предметами, которые требовались на выходе и которые несли за постельничим стряпчие, именно: полотенце или платок, стул с зголо-

вьем или подошкою, на котором садился государь; подножье, род ковра, на котором становился государь во время службы; солношник. или зонт, защищавший от солнца и дождя, и некоторые другие предметы, смотря по требованию выхода. Когда государь выходил на богомолье в приходскую или монастырскую церковь, то впереди несли особое место, которое обыкновенно ставилось и церквах для царского пришествия. Оно было обито сукном и атласом красного цвета, по хлопчатой бумаге с шелковым и золотым галуном. Стряпчие вообще прислуживали государю, принимали, когда было нужно, посох, шапку и пр. На малых выходах они выносили только полотенце (платок) и подножье теплое или холодное, смотря по времени года.

Царь Иван Васильевич выходил к обедне в сопровождении рынд. Один очевидец описывает подобный выход (1565 г.) следующим образом; отпустя послов, государь собрался к обедне. Пройдя палаты и другие дворцовые покои, он сошел с дворцового крыльца, выступая тихо и торжественно и опираясь на богатый серебряный вызолоченный жезл. За ним следовало более семисот человек свиты в богатейших одеждах. Шел он посреди четырех молодых людей, имевших от роду лет по тридцати, но сильных и рослых: это были рынды, сыновья знатнейших бояр; двое из них шли впереди его, а двое других позади, но в некотором отдалении и на равном расстоянии от него. Они одеты были вес четверо одинаково: на головах у них были высокие шапки из белого бархата, с жемчугом и серебром, подбитый и опущенный вокруг большим рысьим мехом. Одежда на них была из серебряной ткани, с большими серебряными же пуговицами, до самых ног; подбита она была горностаями; на ногах сапоги белые, с подковами; каждый на плече нес красивый большой топор, блестящий серебром и золотом. [6, 339—340]

И. Е. Забелин

В правой двери появляется царь Иван. На нем длинная белая холщовая, будто смертная, рубаха. Он высок ростом, плечи его подняты. Лицо его с горбатым, большим носом, с остекленевшими глазами пылает и все дрожит.

Курбский (громким голосом). Царь! Царь Иван!

Иван. Кого псарям кинуть? Терзать чье тело? Меня кинуть псарям? Сына моего, младенца, из колыбели взять, — псарям, псам на терзание? Настасью, жену, волшбой извели... Меня с сыном, сирот горьких, заживо хороните? Не вижу никого... Свечей зажгите. (Идет к светцу, берет несколько свечей, зажигает, вставляет в светец. Голова его кружится, ноги подкашиваются, он садится на лезжанку). Сильвестр, светец души моей. Ты здесь? Не откликается. Придешь, когда третьи петухи закричат. Воротынский, князь Михале. Подойди ко мне, стань о правую руку... Никита Юрьев, пришел

крест целовать? Я тебя любил. Стань о левую руку. (Нагнув голову, покачиваясь, разглядывает лица, и они, видимо, плывут в глазах его). Уста жаждут, губы высохли, язык почернел... Пустыня человеческая суха... Душа моя еще здесь, с вами, а уме горит на адском огне злобы вашей. (Опять вскинув голову, глядит). Курбский, ты здесь? Подойди ко мне, друг. Дай испытать последний вздох любовной дружбы.

Глаза всех устремляются на Курбского. Он кивает кудрявой головой и подходит к Ивану.

Курбский. Дай на руки тебя возьму, отнесу в постелю.

Иван. Вынь меч. Сей час нужен меч! (Увидев протискивающегося к нему Сильвестра). Гряди ко мне, гряди, поп...

Сильвестр. Молился я, государь, и господь тебя воздвиг. Велико милосердие...

Иван (исказившись, встает во весь рост, бешеным движением срывает крест с груди Сильвестра. Протягивает крест перед собой). Целуйте крест по моей близкой смерти — сыну моему... На верность государству нашему... Володимир, подходи первым... Ефросинья, подводи сына.

Бояре в смятении. Все молча придвигаются к Ивану. [12, 410]

А. Н. Толстой

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Анастасия! Юница моя!.. Очнись!.. — склонившись еще ниже, в припадке отчаянья кричал отец.

Дети!.. Государь... — тихо, едва слышно, проговорила Анастасия, на минутку остановив на лице мужа тусклый, полный ужаса взгляд.

Иван Васильевич схватил обоих детей на руки и поднес их к царице, подавляя подступившие к горлу рыдания.

Дети вцепились ручонками в холодеющее тело матери: «Матушка!» Шлем с царевича Ивана со звоном упал на пол.

Нет! Уйдите! — задыхаясь, проговорил царь, сняв с постели детей. — Уйдите! Эй, Варвара, уведи их!..

Вбежала старая мамка Варвара Патрикеевна Нагая, схватила плачущих царевичей и понесла их из царицыной опочивальни.

Долго еще слышался горький плач испуганных детей. Царь в отчаянии прильнул высохшими губами к лицу жены. Оно было неподвижно, глаза полуоткрыты. Большие черные ресницы перестали трепетать.

Настя! Настенька! Юница моя! Горлица! — вдруг вскрикнул Иван Васильевич.

Черное одиночество и мрак смертельной тоски навалились на согнувшегося, растерянно смотревшего в лицо покойницы царя Ивана. Все кругом медленно поплыло куда-то.

Невольно поднялся, вытянулся, как бы стяхивая с себя какую-то тяжесть, сделал неуверенными движениями руки крест над телом Анастасии. Застыл на мгновение, с поднятой рукой, подозрительно оглядевшись по сторонам.

В сером полумраке чуть-чуть светили в драгоценной оправе лампы, любимые ее лампы, которые опралялись только ее, царицыными, руками.

На белой запятнанной кровавой рвотой подушке неподвижно застыло покинутое последним трепетом жизни лицо царицы.

Иван блуждающим взором оглядел царицыну опочивальню. На круглом столике лежало неоконченное царицыно рукоделье, два больших румяных яблока. Одно — уже надкушенное.

Толстые стены дворца в его глазах расплылись. Вечерние тени бесшумно скользили, ткали серые пятнистые кружева за окном. «Анастасии больше нет!» — беззвучно кричало ржавое холодное небо.

Затяжным, тягучим, медленным плачем наполнилась опочивальня царицы. Царь крепко припал к любимому, такому дорогому для него, родному, милому телу, теперь холодеющему, неподвижному...

Прости! Анастасия! Прости! — вскрикнул царь, крепко стиснув уже похолодевшую руку жены.

Оторвавшись от постели, он на носках, как всегда, когда находился в царицыной опочивальне, чтоб не разбудить царицу, подошел к столу. Яблоки! Яблочный спас!.. В кремлевских садах много яблонь... Сегодня он сам сорвал и принес царице несколько румяных крупных яблок.

Осторожно дрожащей рукой Иван взял надкушенное яблоко и долго смотрел на него.

Вот следы ее зубов, ее маленьких, сверкающих, как перламутр, зубов...

Царь оглянулся; бескровные губы плотно сжаты. Никогда уже не будет на них солнечной, весенней улыбки, которая покоряла буйное сердце его, Ивана, но... яблоко!

Душно мне! Анастасия, душно!.. — Он облокотился на косяк окна, жалкий, согнувшийся, такой ничтожный теперь, трясаясь в лихорадке. — Анастасия! — вырвался у него из груди дикий, полный отчаянья вопль, и большой, сильный Иван Васильевич грохнулся на пол, забившись в припадке отчаянья.

Царь прогнал из комнаты всех постельничих, остался только с Висковатым и астрологом.

Спроси его, — сказал царь дьяку, — доброе ли ждет наше царство от войны с немцами?

Астролог задумался, потом подошел к окну, закинул голову назад, нахмурившись, оглянулся на царя и принялся разглядывать в какую-то трубку звезды, — царя пугал его загадочный шепот и эта

длинная, в желтых полосах, трубка. Странная фигура чужеземца, какая-то однобокая, сухая, в черном, тоже с желтыми полосами, балахоне, приводила Ивана Васильевича в тайный трепет.

Не отходя от окна, итальянец начал однотонно, пара спев, говорить:

Твоя душа открыта свету небесному... В ней читаю я мужество непобедимых... В ней вижу я веру,двигающую горами... Нет такого короля, который обладал бы столь сказочной силою, как ты... Желания твои подобны огнедышащей вершине, и в ней стогорит гордыня врагов твоих... Звезда твоя предвещает победу и славу.

Голос итальянца был проникнут такой убежденностью, что царь как-то сразу успокоился. Он велел Висковатому выдать итальянцу из своей казны в подарок золотой кубок и дорогое оружие.

Когда астролог ушел, царь лег в постель, не помолившись. Он считал, что после сего итальянского колдовства грех возносить молитву богу.

Полежав в тяжком раздумье, Иван вдруг начал раскаиваться: зачем позвал астролога? Не разгневается ли на него за это небесный отец и не сделает ли противное, тому, что предсказывал итальянец? Не осквернился ли он, царь, беседую с заморским колдуном?

Пот выступил на лбу у Ивана Васильевича. Охватила жгучая тоска. Он вскочил с постели, принялся ходить из угла в угол своей спальни. И вдруг опустился на колени перед иконами, со слезами моля бога простить его, окаянного... И не наказывать за его, цареви, грехи русское воинство.

Поступи по мудрости своей, господи! — шептал царь. — Да будет рука твоя на мне и на доме моем и на народе моем, чтоб не погибли мы, а возросли на славу и украшение передо всеми землями...

Царь молился и об изгоне из его дома колдовского наваждения и волшебства, и о том, чтоб ангел-истребитель поразил своим мечом всех врагов Руси, чтоб дарована была ему, царю, сила господствовать не только над народом, но и над собой. Царь каялся в своей жестокости, в пролитии mnogой крови и молился теперь, чтоб того не допустил бог впредь. [7, 398—402]

В. Костылев

Характер Ивана IV

Говори все, — сказал царь, видя, что гонец замолчал. — За правду ничего не пожалею. А за ложь... — Он с угрозой поднял свой страшный посох. — Кто сделал Юхана королем?

Его возвели на престол свейские вельможи.

Царь Иван со свистом втянул воздух.

Говори, чем еще меня порадуешь? Скорей говори, холоп!

Ирик хотел Катерину по обещанию тебе отдать. А для того брата своего Юхана, мужа Катерины, убить порешил.

Вот как!

После многих казней король Ирик обезумел и бежал из дворца. Нашли его в лесу. Говорят, великий государь, он более на зверя был похож, нежели на человека.

Гонец замолчал.

Все ли сказал? — спросил царь. Его лицо покраснело и покрылось потом. Маленькие черные глаза смотрели остро и цепко.

На святую троицу в Стеколье было видение в церкви. Разразилась буря с громом и молоньей. Каменные стены тряслись, а церковь наполнилась стрелами и мечами... Ужас и смятение овладели людьми, и они кинулись прочь из церкви, давя друг друга... Солнце затемнилось среди дня. А после король Ирик стал плакать, и всех вельмож простил, и брата своего из Гринсхольмского замка выпустил.

Дальше говори.

Твоих послов обесчестили. Оружные воины короля Юхана ворвались в подворье. Сбили замки с сундуков, взяли все: драгоценности, серебро, меха, убили двух детей боярских. С послов сняли одежду, оставили в одном белье.

Юхан поднял руку на своего брата! — крикнул царь. — И на меня поднял свою поганую руку. Добро, он пожалеет, что родился на свет!

На губах царя Ивана показалась пена. Не помня себя, он разорвал ворот рубахи.

Гнусные царедворцы, проклятые вельможи, изменники, предатели!.. — пронзительно восклицал он, ударяя посохом в деревянные половицы. — И я — безумный тиран... И меня московские бояре жизни лишить хотят. Всех на виселицу, всем рубить головы...

Царь задохнулся, больше не мог выговорить слова и молча ударял посохом в пол. От сильных ударов летели щепки. Редкие волосы на голове царя взлохматились, борода сбилась в сторону.

Окованная бронзой дверь снова открылась, тяжелое короткое, будто квадратное, тело Малюты Скуратова показалось на пороге. На этот раз вид у него был смиренный, он крестился и кланялся на иконы.

Духовник царя Ивана протопоп Евстафий с крестом в руках подошел к беснующемуся повелителю и стал увещевать его.

Изменники, все изменники... Брат мой Володимир, я простил тебя. Видит бог, я простил тебя от всего сердца! — вопил царь. — Но могу ли я верить тебе?

В голове вспыхнула мысль о королеве Елизавете: «Бежать из Москвы, скорее бежать от земских заговорщиков, князей и бояр. Почему нет ответа от королевы, почему она медлит?»

Великий государь, опомнись, — повторял духовник, широким крестом осеняя царя, — пришло время молиться. Вспомним господа бога.

Царь умолк и покорно склонил голову под благословение.

Отец пономарь, — прерывающимся, слабым голосом произнес он, — пойдём на колокольню, пора благовестить.

Малюта Скуратов, переваливаясь на коротких ногах, подошел к царю, и через низкую дверь они вместе с духовником Евстафием вышли из горницы.

Изнеможенный нервным припадком, царь едва шел. Трясущими руками он старался пригладить растрепавшиеся волосы.

Отец Евстафий, хорошо изучивший царя, вкрадчиво говорил ему по дороге:

Почему, великий государь, ты терпишь возле себя князя Володимира? Не раз я видел худые сны, и князь Володимир тамо всегда против тебя. Небо предупреждает об опасности. Разве ты хочешь испытать судьбу несчастного короля Ирика? Он сейчас вместо трона сидит на гнилой соломе, никогда больше не увидит ему божьего света. Говорю тебе аки пастырь твой и отец духовный... [11, 80—81]

Опричники

Слушайте, мошенники, — сказал князь связанным опричникам, — говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

Что, у тебя глаза лопнули, что ли? — отвечал один из них.

Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

Окаянные! — вскричал Серебряный, — коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

Да ты, видно, с неба свалился, — сказал с усмешкой черный дедина, — что никогда опричников не видал? И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

Слушай, молодец, — сказал он, — твоя дерзость мне было пришлось по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

Я Матвей Хомяк! — отвечал он, — стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова — что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак рат-

никам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

Дозволь, боярин, слово молвить.

Говори!

Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса. Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

Ты кто, молодец? — спросил Серебряный, — и зачем вступаешь за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол. Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут! [11, 84—85]

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твоего любимого опричника,
Да про смелого купца, про Калашникова:
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслирный звон
И причитывали да присказывали.

Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодаповский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолица
Поднесла вам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи,
И всё слушали — не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любятся им тучки синие;
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднести его опричникам.
— И все пили, царя славили.
Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.
Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На молодого голубя сизокрылого, —
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное, —
И очнулся тогда добрый молодец.
«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучку прячется,

Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушались;
А из роду ты ведь Скуратовых
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»
Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:
«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — вода царская;
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».
И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе молодцу кручиниться?
Не истерся ли твой парчовой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»
Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:
«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло, горит сабля вострая,
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.
Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покатаются,
Кушачком подтянусь шелковым,
Заломлю на бочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную, —
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодухи,
И любят, глядя, перешептываясь;
Лишь одна но глядит, не любит,
Полосатой фатой закрывается»...
«На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божьем;

Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белую целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Алёной Дмитревной».
«Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачатся очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удалство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельцо браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется...»
И сказал смеясь Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюсь.
Вот возьми перстенок ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной поклоняйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алёне Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся».
Ох ты гой оси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому.
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.
Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная,
Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.
И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт, дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу;
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилась
В такой поздний час Алёна Дмитревна?
А что детки мои любезные —
Чай забегались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?»
«Господин ты мой, Степан Парамонович!
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алёна Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьею,
Засветили свечу, сели ужинать, —
А по сю пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернулась.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».
И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,

Заметает след человеческий.
Вот он слышит в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит — сила крестная!
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.
«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежа вся твоя изорвана?
Уж гуляла ты, пиновала ты,
Чай, с сынками всё боярскими?..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручались,
Золотыми кольцами менялися!..
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»
И услышав то, Алёна Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.
«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютыя,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.
От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинёшенька.
И слышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки,
И сказал мне так тихим шепотом:
“Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного.
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...”
Испугалась я пуще прежнего;

Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать,
И цалуя всё приговаривал:
“Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!”
И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...
«Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась,
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок — твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную —
И что скажут злые соседушки?
К кому на глаза покажусь теперь?
Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшей мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»
Говорила так Алёна Дмитриевна,
Горючьми слезами заливалася.
Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»
«Я скажу вам, братцы любезные,

Что лиха беда со мною приключилась:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду на смерть биться, до последних сил
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежей силою,
На вас меньше грехов накопилось,
Так авось господь вас помилует!»
И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя родного не выдадим».
Ай, ребята, пойте — только гусли стройте
Ай, ребята, пейте — дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?
Как сходились, собирались
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,

И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в 25 сажень,
Для охотничьего бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит!»
И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершился в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую.
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич проклинали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небойсь, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».
Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников,
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.
И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец.
Ты какого роду, племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:

Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег:
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...
Вот молча оба расходятся,
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привести его пред лицо свое.
Как возговорил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,

Мово лучшего бойца Кирибеевича?»
«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову,
Да двух братьев моих своей милостью...»
«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю паточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»
Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному,
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором наостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается,
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:
«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»
И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;

И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатила.
Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж тульской, рязанской, владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусяры — споют песенку.
Гей вы, ребята удалые,
Гусяры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тароватому боярину слава!
И красавице-боярыне слава!
И всему народу христианскому слава! [8, 333—346]

М. Лермонтов

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ

Глава 8

Пир

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом; государю — высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов,

петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя.

Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

— Ты видел его, князь, пять лет тому, рындюю при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, — продолжал боярин, понижая голос, — видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебеда, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и попечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, паракли-сиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борису! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

— Этот? — спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

— Да, — сказал Серебряный, взглядываясь в Годунова, — теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

— Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! — говорит, — моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» — то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» — сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, — продолжал боярин, глядя на Годунова, — никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит — царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, — продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, — то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

— Скажи, боярин, — спросил он, — кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть ножом порет!

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменился он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иваныч Вяземский. Он бу-

дет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

— Великий государь! Никита принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевельным и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина, романею, рейнское, мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и высказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

— Василий-су! — сказал Басманов, — великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

— Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

— Боярин пьян, — сказал Иван Васильевич, — вынести его вон! — Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех

доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приятельных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственную светлую стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычей и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Вольский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда Обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худародного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича! [11, 126—135]

А. К. Толстой

КОРСАРЫ ИВАНА ГРОЗНОГО

Глава первая

«И тебе, царь, царство держати и власть имети с князи и с боярь»

Царь Иван Васильевич ворвался в опочивальню жены своей Марии Темрюковны, заложил дверные засовы и в изнеможении прижался к стене.

Мария Темрюковна с испугом глядела на супруга. Бледное, искаженное страхом лицо, на губах пена.

— Что ты, царь, что с тобой? — сказала она низким, мужским голосом.

— Измена... Заступись, пречистая богородица... — Царь перекрестился. — Там князь Пронский, Кольчевы, князь Володька Курлятьев... Я не звал их. Собачье сборище, собачье сборище... — бормотал он. — Губители...

Царица выглянула в окно. На дворе толпились посадские в праздничных одеждах. В открытую створку доносились громкий говор, выкрики, смех. Опираясь на посохи, степенно вышагивали думные бояре, знатные дворяне и князья. Самые знатные ехали до церкви Благовещения, что близ дворца. Здесь все выходили из колымаг, слезали с коней и шли дальше пешком.

— Я не звал, — повторил царь. — Весь двор полон. Мятеж. Опять своевольники-бояре посадскую чернь подговорили.

За дверью послышался шум. Царь бросился в кровать и судорожно натянул на себя соболье одеяло. Зубы его стучали.

— Никого не впускай... Машенька, спаси! Изменники, шелудивые собаки. Извести хотят, жизнь отнять...

Бледное лицо царя покрылось испариной, редкие волосы поднялись.

— Великий государь, — Мария Темрюковна повернулась к царю, скрестила на груди руки, — я давно говорила: не верь своим кня-

зьям и боярам. Не любят они тебя. Мой отец, великий Темрюк, держал возле себя всего с десяток вельмож. Он хорошо платил им, и они любили его и не искали другого господина. О-о, как я ненавижу твоих бояр! Я боюсь их взгляда, их слов... От них, мой повелитель и муж, все твои несчастья.

Царь Иван мрачно глядел на жену.

— Каждый боярин или князь, — продолжала царица, — родом мнит себя не ниже царского и мечтает сесть на твое место. Они не дают счастливо жить и веселиться ни мне, ни тебе. А зачем жить, если нет счастья и веселья? Ты говорил, что они отравили твою первую жену Анастасию, берегись, они отравят и меня. И тебя, великий государь. Прикажи моему брату Михаилу — он срубит всем им головы. И у нас настанет другая жизнь. И не надо будет бояться!

Царица Мария с вызовом смотрела на мужа.

— Нельзя равнять меня с твоим отцом, — слабым голосом недовольно отозвался царь Иван, — твой отец малый князек, а я царь и великий князь всей земли Русской. Твоему отцу и одному делать нечего, а мне с десятью боярами Москвой не управить. Отичи князей и бояр московских моему отцу, деду и прадедам служили.

Царица Мария что-то еще хотела сказать мужу, но только махнула рукой. Лицо ее сделалось злым, хмурым. Дикая нравом, жестокая, она часто разжигала злобный нрав и худые наклонности царя Ивана. Она не могла привыкнуть к жизни в московском дворце. Царица скучала по матери, по сестрам. Ласки царя не приносили ей утешения.

Жаркое июльское солнце подходило к полудню. Легкий ветерок гнал белые клочковатые облака к востоку. За Москвой-рекой зеленели обширные луга. Тысячи царских коней паслись там на сочной траве. Но царице казалось, что она видит заснеженные вершины гор, зеленые сады, виноградники.

Царь стал успокаиваться. Приподнявшись с подушек, он взял жену за руку. Но вдруг снова насторожился. За дверью явственно слышались шаги и приглушенные голоса. Кто-то тихонько постучал.

Мария Темрюковна отстранилась от мужа и подбежала к дверям.

— Это ты, Салтанкул? — спросила она, прислушавшись. — Великий государь, мой брат Михаил у дверей, да еще Малюта Скуратов и князь Афоня Вяземский.

Царь Иван откинул одеяло. Несколько секунд сидел на постели молча. Постепенно он приходил в себя, взгляд его делался осмысленным. Лицо приняло обычный вид. Спустив ноги на пол, он встал, оправил одежду, пригладил волосы, взял в руки брошенный посох.

— Добро, пусть войдут.

Стоявшие за дверью — из верхов опричнины, созданной по его царской воле два года назад.

Мария Темрюковна отодвинула засовы.

Когда князь Михаил Темрюкович с товарищами вошли в спальню, царь Иван выглядел как всегда. Надменный взгляд, гордо поднятая голова. Ему всего тридцать шесть лет. Но тяжелая болезнь и разгульная жизнь оставили следы на его лице. Землистые круги под глазами, резкие морщины. Царь похудел, ссутулился. Сквозь реденькую бородку просвечивала желтая кожа.

— Позволь, великий государь, слово молвить, — сказал Михаил Темрюкович, кланяясь и целуя перстни на руке царя.

Князь в красном кафтане и зеленых сапожках. Ростом невелик, волосат, с орлиным носом.

Афанасий Вяземский и Малюта Скуратов перекрестились на иконы и молча поцеловали царскую руку.

— Говори. — Царь остановил маленькие черные глазки на шурине.

— Бояре до твоей царской милости челобитную всем скопом подписали, — насмешливо протянул князь Михаил, держа волосатую руку на рукояти сабли. Князь был начальником дворцовой стражи и имел право носить оружие в дворцовых хоромах.

Как всегда, он был пьян и слегка покачивался. Царская опочивальня наполнилась хмельным перегаром в запахе чеснока.

— Где они?

— Во дворце, великий государь, в столовой палате. Я приказал страже не пускать, да ведь их много. А еще посадские на площади, близ крыльца остались. Ждут твоей милости.

— Собачье сборище! — опять перешел на крик царь. — А кто в закоперщиках?

— Князь Василии Рыбин-Пронский, Иван Карамышев да Крестьянин Бундов, — не задумываясь, ответил Малюта Скуратов.

Царь Иван молчал.

— Всем бы челобитчикам головы напрочь, — икнув, сказал Михаил Темрюкович, — и смуты больше не будет!

— Нельзя всех казнить, — вмешался Афанасий Вяземский, русоволосый, статный вельможа. Он потрогал высокий воротник расшитого золотом кафтана и искоса взглянул на царя.

У Вяземского маленькая бородка в колечках и нос с горбинкой. Местом в опричнине он уступал одному только князю Черкасскому, царскому шурину, числился вторым дворцовым воеводой при особе царя и был его любимцем.

— Все знатные головы срубить хочешь, Миша? — переспросил царь, и нельзя было понять, осуждает ли он предложение или оно ему понравилось.

— Что я, великий государь? — Пошатнувшись, Михаил Темрюкович ухватил рукав черного кафтана Малюты Скуратова. — Как хочешь! Мы люди маленькие. Что прикажешь, то и сделаем...

— Разве кто может с твоим царским, великим умом равняться? — вторил Малюта.

Голова широкоплечего царского советника, лысая и гладкая, как пушечное ядро, непрерывно поворачивалась то вправо, то влево. Его сивая борода венником торчала вперед. Кафтан плотно облегал упитанное тело. На маленьких, словно у женщины, ногах — красные сапоги с высокими каблуками.

Недавно царь пожаловал его за верную службу в думные дворяне, чин не боярский, но и не малый.

Царь Иван окончательно поборол приступ гнева и страха.

— Нет, Михаил, не можно всему русскому боярству, князьям и думным людям головы рубить. А челобитчиков прикажу схватить — и в погреба. Разберусь, кто в чем виноват, и накажу по заслугам. Боярин Ивашка Федоров с ними?

— С ними, великий государь.

— А Ивашка Висковатый?

— С ними.

— Боярина Федора и печатника Висковатого не трогать. Остальных всех в тюрьму, — повторил царь Иван. — И стражу смени. Своих татар поставь. Делай... А ты останься, Афоня.

— Великий государь, — выступил вперед Скуратов, — дозволь слово молвить.

— Говори.

— Я мыслю, великий государь, надо тебе к челобитчикам выйти и с ними говорить. Не дай бог, им в головы лихое придет против твоей милости. Я видел, многие оружны, в доспехах...

— Оружны! — снова вскипел царь. — Разогнать изменников, вон из дворца, метлами гнать, метлами...

— Во дворце верных людей немного, — сказал князь Михаил. В голосе его послышалась растерянность.

— Пьяница несчастный. — Царь замахнулся на шурина посохом. — Не заботишься ты о наших царских делах!

Великий государь, — продолжал Малюта Скуратов, — я вызнал в пытошной, что недовольны бояре, недоброе затеяли, речи скаредные говорили. Не надеясь на земских, я вчера твоего слугу Гришку Ловчикова послал в Слободу. Наши люди вот-вот должны прискакать.

Царь обнял Скуратова.

— Ты прав, я выйду в большую палату, послушаю, что бояре скажут. Спасибо, Гриша, за Верную службу...

— Я должен, великий государь, знать то, чего не знают другие, — скромно опустил глаза Малюта.

В большую палату царь Иван вышел, сияя золотой ризой, с высокой шапкой на голове. Со всех сторон плотной толпой его окружали знатные опричные вельможи.

Челобитчики, ожидавшие царя, дружно повалились на колени. Это были люди, на которых держалось русское государство. В первом ряду стоял боярин-конюший¹ Иван Петрович Федоров, глава московского боярства.

Царь бесшумно поднялся по приступкам, крытым красным ковром, и уселся на мягкую подушку золоченого кресла.

— Кто будет говорить? — спросил он, строго посмотрев на собравшихся.

Вперед выступил печатник Иван Михайлович Висковатый. Он был сед, бороду расчесывал на две стороны. Лицо строгое, с резкими чертами. Из-под лохматых бровей глядели серые, навывкате глаза. Одной рукой он придерживал большую государственную печать, свисавшую с пояса на золотой цепочке.

Подойдя к царю, Висковатый опустился на колени и подал свиток.

Царь Иван взял бумагу и быстро пробежал глазами по строчкам.

«...Все мы верно тебе служили, проливали кровь нашу за тебя, — читал царь, — ты же за заслуги приставил к нам своих телохранителей, которые хватают братьев и кровных наших, чинят обиды, бьют, режут, дают и убивают».

Мой верный слуга, — сказал царь вельможе, подняв на него глаза, — ты тоже подписал челобитную?

— Великий государь, — отвечал Висковатый, оставаясь на коленях, — прощу тебя, вспомни о боге, не проливай крови невинных. Не истребляй своих. Твой отец и твой дед не превращали своих слуг в рабов. Раб не может быть ни верным, ни храбрым. Подумай, великий государь, с кем ты будешь впредь не то что воевать, но жить! Мы хотим по-прежнему быть тебе советниками. Мы хотим, чтобы ты прислушивался к голосу своих верных слуг. А не гнал их прочь.

— Разве не я созвал собор? Я многих людей слушал, — прервал царь Ивана Висковатого. — Вот уж двадцать лет я слушаю твои советы, Ивашка, раб мой. Разве я гнал тебя прочь?

— Это так, великий государь, ты ласков ко мне и позволяешь глядеть твои светлые очи. Но многих верных и мудрых ты лишил жизни, отринул с глаз, держишь в опале...

— Я гоню от себя врагов, солжививших клятву и посягнувших на жизнь нашу.

— Наговоры, великий государь, — послышалось из толпы бояр, дворян и князей, стоявших на коленях. — Ты веришь опричникам, людям с черным, лживым сердцем.

Царь с трудом сохранял спокойствие.

— Кто сказал? — негромко спросил он. Воцарилось молчание.

¹ Старший в боярской думе. В его ведении находились царские конюшни.

С поднятой головой из толпы выступил престарелый, седобородый человек:

— Это мои слова.

Малюта Скуратов нагнулся к царскому уху.

— Князь Василий Федорович Рыбин-Пронский. Отец его великим князем Василием обижен, — прошептал он, — а по отцу обижен и сын.

Царь Иван долго и внимательно его разглядывал. Князь поблек и съезжился под его взглядом.

Бледное лицо царя передернула судорога.

— Добро, добро, — произнес он сквозь зубы, — запомню тебя, верный слуга... А сейчас ступай туда, где стоял.

Князь Василий Рыбин-Пронский поклонился царю и опустился на колени на прежнем месте.

В это время Скуратов, пригнувшись, стараясь не обратить на себя внимания, вышел из палаты.

— Раб есть раб, а господин есть господин... — сказал царь, обернувшись к Афанасию Вяземскому. — Я к ним душой, а они, собаки, вишь что задумали — моих верных слуг опричников порочить! Нет, пес, — он посмотрел на Висковатого и с яростью ударил о пол посохом, — я вас еще не истребил! Я только начал...

Толпа челобитчиков грозно зашумела. Без Малюты князья и бояре чувствовали себя свободнее:

— Великий государь, повели слово молвить, — снова поклонился Висковатый. — Мы не хотим умалять прав, дарованных тебе богом. А я... я повинуюсь твоему приказу, даже если он противоречит божьей воле. Но мы слуги твои, а не рабы. И от святых отец сказано: царю царство держати и власть имети с князи и с бояры. Умоляем тебя, великий государь, не разделяй на две половины царство: земство, опричина. Не проливай невинной крови...

Мудрый государственный деятель Иван Висковатый знал, что Ливонская война поставила царя Ивана в затруднительное положение. Единение всех сил государства стало необходимостью, и Висковатый был уверен, что царь Иван согласится отменить опричину. За два года кровавых расправ царь приобрел новых врагов среди московской знати. Но многие простили бы свои обиды, лишь только бы он распустил опричину. «Царь Иван не совсем сошел с ума, — думал Висковатый, — и должен понять, что опричина приведет государство к разрушению и упадку. А земский собор, недавно проходивший в Москве, показал ему преданность и единомыслие всех людей. В то же время, если бы царь не был слаб, он не созывал бы собора».

Подобные рассуждения и привели к мысли Ивана Висковатого, что царь может поступиться опричиной ради порядка и благоден-

ствия в государстве. С Висковатым был согласен боярин-конюший Иван Петрович Федоров.

Царь Иван слушал, сложив руки на посох, уперев его в пол. Он знал, чего хотят челобитчики, и знал, что не согласится на их просьбы. Он вглядывался в лица бояр, князей и дворян, стоявших перед ним на коленях. Наступит время, и он заставит их землю есть.

— Мы просим тебя советоваться со своими боярами, великий государь, и опалу класть по суду, — внятно произнес кто-то. — Кровь невинно убиенных тобой взывает. Твоя жестокость порождает заговоры.

Царь Иван сжал худые кулаки. Давно он не слышал столь дерзостного. О, если бы это было в Александровой слободе!.. Но сейчас надо сдержаться.

— Я знаю, откуда это идет. Новгородцы... — не повышая голоса, произнес царь. — По вольностям, по вече соскучились. Мало им дедовской памяти, палки захотели... И вам, рабы мои, вольности новгородские спать не дают... Внимайте, горе дому, которым управляет женщина, горе городу, которым управляют многие. Ибо так же как женщина не способна оставаться на едином решении, так и многие правители царства — один захочет одного, другой другого. Я не хочу быть под властью своих рабов, разве это грех?

Он опять посмотрел на собравшихся. На многих лицах была твердая решимость. «Будьте же вы прокляты! — пронеслось в голове царя. — Может быть, прав князь Михаил, может быть, и следует срубить всем головы».

Царь Иван замолчал и позволил снова говорить Висковатому. А сам сидел, опустив веки, плотно сдвинув пальцы рук, и вспоминал то, что произошло за последнее время. Ливонская война все туже и туже затягивала петлю на шее русского государства. Всего два месяца тому назад без всякого успеха прервались переговоры о мире с литовскими послами. Царские вельможи требовали возвращения древних русских земель — Киева, Гомеля, Витебска и всей Ливонии. Литовские послы не соглашались.

Бояре на заседании думы 17 июня 1566 года, выслушав сообщение дьяка Висковатого о переговорах, решили не заключать мира без возвращения древних земель, а заключить перемирие.

При возобновлении переговоров главным стал вопрос о Ливонии. Царь Иван стремился получить всю Ливонию, однако он соглашался на значительные уступки, если ему будет отдан город Рига. Русская торговля требовала хорошего порта на Балтийском море для свободной торговли.

Литовские послы отказались уступить Ригу царю Ивану. Они соглашались оставить за Москвой только те ливонские земли, которые были ко времени переговоров заняты русскими войсками.

Таким образом, нужно было отказаться от Риги или продолжить обременительную Ливонскую войну.

Царь Иван хотел воевать. Но для войны он должен был найти опору среди вельмож, служилых людей, купечества и духовенства. 28 июня открылось заседание собора, призванного поддержать военные устремления царя Ивана. С другой стороны, он надеялся, что литовские послы испугаются единодушного решения и пойдут на уступки. На соборе присутствовали бояре и дворяне, духовенство, дети боярские и помещики из многих городов, гости и купцы. Преобладали дворяне. Всего собралось около четырехсот человек.

Собор одобрил решение царя продолжать войну за Ливонию. И вот опять смутьянство.

Поглощенный своими мыслями, царь сидел неподвижно, положив руки на посох...

На дворе раздался топот конских копыт, хриплое взлаивание труб, загрохотал барабан. Царь насторожился. До его ушей донеслись отчаянные вопли. Прогремело несколько пищальных выстрелов.

— Гойда, гойда! — совсем явственно слышал царь выкрики опричников, и по лицу его пробежала злая усмешка.

С шумом распахнулась дверь, на пороге стоял запыхавшийся Малюта Скуратов — в кольчуге, при бедре сабля, за поясом длинный нож.

— Великий государь, — торжественно произнес он, — верные слуги по зову твоему прискакали из Александровой слободы. Вшивый сброд на площади мы разогнали. Что прикажешь?

Царь поднялся с кресла.

— Изменники, — пронзительно закричал он, указывая длинным пальцем на коленопреклоненных вельмож, — все вы изменники! И ваши советы смердят изменой. Что, задумали известить меня, своего владыку, а-а? Всех в тюрьму!..

Челобитчики поднялись с колен, зашумели. Некоторые схватились было за оружие, спрятанное под одеждой, но быстро опомнились.

— Прошу пожаловать, бояре, и князя, и дворяне, — с издевкой, кланяясь, сказал Малюта Скуратов. — Слышали царское повеление? По одному проходите...

У дверей вельмож ждали опричники. Они закручивали всем без разбору назад руки и вязали пеньковыми веревками.

На Ивановской площади никого не осталось. Чужая пожива, каркая, перелетала с места на место большие черные вороны. Они садились на кресты церквей, на башни и стены...

Более двухсот человек, подписавших челобитную, были брошены в тюрьму. Царь Иван сделал выбор — решил по-прежнему держаться опричнины. Его испугало дружное выступление вельможной и при-

казной знати. Он страшился снова попасть под цепкую боярскую руку.

Печатник Иван Висковатый просчитался.

За два года неограниченной власти царь показал свой кровавый нрав. Слишком много набралось обиженных. А тех, кого он обидел, он больше всего боялся и ждал от них мести. Всегда подчеркивая божественное начало своей власти, царь Иван кровавыми расправами подорвал к ней доверие и, по мнению многих, не мог быть божьим помазанником...

В царских покоях до полуночи бражничали ближние царские люди, празднуя победу. Царь Иван глотнул красного испанского вина и развеселился. Все, что случилось днем, казалось ему теперь не столь страшным.

Отпив из чаши, Алексей Басманов, главный опричный военачальник, худой высокий старик с козлиной бородкой, сказал, ни к кому не обращаясь:

Вишь ведь, что задумали — с царем равняться! Жди теперича новых заговоров, будут они великому государю всяко досаждать. Не удалось на свою сторону перетянуть, так они вовсе похотят с престола сбросить и своего поставить... [1, 7—15]

К. С. Бадигин

Рынок при Иване IV

У Троицкой площади поток телег и лошадей разделился на три рукава. Часть повернула влево, к Москворецкому мосту. Некоторые двинулись в Кремль через Фроловские ворота, а большая часть свернула вправо, к торговым рядам.

Перед глазами земляков встали величественные стены и башни Кремля. Ниже кремлевских шли зубчатые кирпичные стены, ограждавшие глубокий ров шириной сорок аршин. Выложенный белым камнем, ров тянулся вдоль кремлевской стены от реки Москвы до реки Неглинки. Через ров из Константино-Еленинских ворот, Никольских и Фроловских были переброшены деревянные мосты. Изящный бело-красный Покровский собор, построенный русскими мастерами совсем недавно, в память победы над казанцами, удивлял людей своими размерами, сказочным убранством и разнообразием.

Вокруг собора плотной стеной толпился народ. Кто хотел помолиться, а кто любовался радостным обликом церкви.

— Помолись! — буркнул Терентий, махнув рукой. — Пойди-ко проникни в божий храм! Самому бока намнут, а мальчонку и вовсе задушат... Ты подожди нас на возу, Анфиса, а мы на торг. А потом и к старцу Феодору.

Степан молчал. Насмотревшись на кремлевские стены, крепкие стрелецкие башни, на сказочный Покровский собор, он почувство-

вал себя частичкой великого русского народа. Его охватила гордость.

— Да ежели с такой крепостью, нам никакой враг не страшен! — сказал он неожиданно громко, идя вслед за Терентием. — И народа много, и церкви красивые, и дома... Жизнь отдать не жалко.

На площади торговали вразнос. Занимать постройками пространство перед крепостными стенами запрещалось. Только легкие разноцветные палатки, предназначенные на продажу, стояли вдоль кирпичной стены, ограждавшей ров.

Торговые ряды поражали разнообразием. Купцы в длиннополых суконных кафтанах с трудом поворачивались в тесных лавках. Товары стекались в Москву со всех сторон. С востока шли шелковые и бумажные ткани, ковры, парча, сученый шелк разных цветов, драгоценные камни и оружие. Бухарцы и персы везли товары по Каспийскому морю и по Волге. По ордынской дороге двигались турки, татары, армяне и греки с товарами из Константинополя, Багдада и других жарких южных мест. Купцы из Валахии, Польши и Литвы тоже привезли немало.

Иноземцам не разрешалось торговать в розницу. Свои товары они продавали русским купцам. Прохаживаясь по рядам, они дивились дешевизне на хлеб, на мед, на пеньку, на мясо и деготь. Любовались изделиями московских ремесленников.

Англичане, голландцы, датчане и ганзейцы выделялись на торгу своими одеждами, непривычными для русского глаза. Их украшали короткие бархатные штаны, башмаки с серебряными и медными пряжками.

Столица русского государства приманивала к себе иноземцев обилием и дешевизной товаров. Москву распирало от обилия и богатства. В лице русских купцов они встречали достойных собратьев, не позволявших обманывать себя. Многие иноземцы обижались на это, оставляли после поездок в Москву гневные докладные своим владыкам.

В Москву приехали сбывать товар к купцы из разных мест Русского государства: суздальцы и новгородцы, владимирские и тверские, казанцы и холмогорцы. Из холодных северных стран, привезли моржовую кость и песцовые белые шкурки.

По рекам и речушкам, по столбовым дорогам и проселкам, на лошадях и лодках, волах и верблюдах везли купцы товары в русскую столицу.

В нарядной толпе землякам встречались молодые люди бритые и, вопреки обычаю, коротко остриженные. Степан заметил, что щеки и губы у них крашенные, как у женщин. Одеты они были в дорогие парчовые одежды, разукрашенные разноцветными каменьями. Сапоги узкие, вышитые затейливым узором. Модники дружно грызли каленые орешки, сплевывая скорлупу на землю.

— Великую нужу ноги терпят в сапогах-то, — кивнул Терентий, — узки больно... А под кафтан палки подкладывают, чтобы плечи шире казались... На баб посмотри... — Он толкнул в бок Степана.

Лица модных набеленных и нарумяненных женщин были похожи на маски. Сходство усугубляли нарисованные чернью брови вместо выщипанных, они круто выгибались кверху.

Отмахиваясь от наседавших купцов, земляки пробирались дальше. Несколько поодаль, у Николы старого, торговали кожаным товаром — сумками и кошельками, седлами и уздечками. Тут же висели сетки от комаров и всякого гнуса, изготовленные вологодскими мастерами, и слюдяные фонари. Шапошники, сапожники, кнутовщики, скорняжники, кафташники, златокузнецы, суконщики, иконописцы заполнили торговые ряды.

Терентий и Степан миновали знаменитые мясные ряды. На железных крюках висели туши только что освежеванных коров, быков и баранов. Мясо продавали не на вес, а приблизительно, большими кусками. За мясными тянулись обширные соляные ряды. Здесь половина лавок принадлежала купцам Строгановым.

В рыбных рядах Степан с удивлением остановился возле большого, в человеческий рост, живого осетра, привезенного с верховьев Волги. Он помещался в деревянном корыте, наполненном водой. Купцы-рыбники торговали паюсной икрой в огромных пятидесятипудовых бочках. Несмотря на сухую погоду, под ногами хлюпала грязь от растаявшего льда, в котором хранилась свежая рыба. Ряды завалены соленой, сушеной и жареной рыбой. Отсюда далеко разносился пронзительный, удушливый запах.

В одной из лавок два ганзейских купца, присев за колченогий стол, деревянными ложками со вкусом ели из большой миски зернистую икру, обильно сдобренную перцем и мелко нарубленным луком.

Рядом торговали всевозможной птицей, живой и битой.

— ...Православным христианам, — услышали земляки зычный голос царского глашатая, — от мала до велика именем божьим во лжу не клясться и на криве креста не целовать и иными неподобными клятвами не клясться. Скверными речами и всяким неподобством друг друга не попрекать... Бород не брить и не обсекать, и усов не подстригать...

Рядом с глашатаем стоял палач в кумачовой рубашке и приказной подьячий. За скверное ругательство на торгу виноватого тут же били палками.

Наконец Терентий нашел, что искал. На небольшой площади скупилось много народа. Здесь продавалось то, что людям приходится продавать из-за нужды: старое и новое платье, золотые и серебряные веды и много другого. В одном углу стояли дощатые маленькие домишки, где цирюльники подстригали желающих, не нару-

шая дозволенного. Волосы с населявшими их насекомыми валялись тут же, отчего и рынок назывался «вшивым». Ноги здесь ступали мягко, словно по толстому войлоку.

На рынке Терентий купил для Анфисы бухарский шелковый платок, Степану сундучок, обтянутый тюленьей кожей, а больному мальчику глиняный конек-свистульку.

Вернувшись, земляки уселись на телегу, свесив ноги, и тронулись дальше, к Спасо-Андроникову монастырю. За Варварскими воротами стало просторнее, дорога пошла среди садов и огородов. Миновали бражную тюрьму — для бражников, подобранных в городе на улицах.

— Грех великий упиваться вином, — вздохнул Терентий. — Другой раз трудом человек лежит и дыханья не видно. Не понять, как живые остаются... Не по заслугам, а только из милосердия бог им жизнь сохраняет.

Степан ухмыльнулся и ничего не сказал.

Запахло болотом. Дорогу часто пересекали неглубокие овражки, ложбинки и ручейки. Этот путь вел из Кремля к большому Яузскому мосту, а оттуда на Владимир и Коломну. На крутом повороте дороги стояла знаменитая на всю Русскую землю церковь Всех святых на Кулишках¹. Ее воздвиг великий князь Дмитрий Донской в память погибших на Куликовом поле воинов. Около церкви толпились нищие. Звеня цепями, юродивый, худой и бледный, бил себя в грудь, приговаривая: «Господи спаси, господи спаси...» Волосы длинные, как у бабы, падали ему на лицо и на плечи.

Сытая лошаденка Терентия, позванивая колокольцами, бежала рысцей. Лисьи хвосты, подвешенные для украшения, покачивались на оглоблях. Телега громыхала по бревнам. Обильно вскормленные конским навозом, сквозь бревенчатый настил пробивались сорные травы.

На обширной площади между реками Москвой и Яузой кучами лежали бревна и желтели новые дома.

— Смотри, — показал кнутовищем Терентий, — здесь разборными домами торгуют. Если погоришь, купцы какой хошь дом за три дня поставят.

На большом Яузском мосту продавали глиняную посуду, свистелки, разную снедь и квас. Возвышенный берег заняла деревенька гончаров. Громко кричали петухи. Дымились многочисленные круглые горны. Под деревянными навесами лежали рядами кирпичи, выставленные для просушки. У берега в заросших кустарником заводях большие лодки грузились глиняными мисками, кувшинами и горшками. Степан Гурьев увидел на реке среди зеленых кустов свой дощаник и боярскую мельницу.

¹ На теперешней площади Ногина.

Лошадка вывезла земляков на Владимирскую дорогу. Мостовая кончилась, телега тихо покатила по мягкому, толстому слою пыли. Впереди медленно двигались богомольцы, взбивая босыми ногами пыльное облако. [11, 22—27]

Слуги постелили на стол красную скатерть, поставили две огромные черные свечи, перевитые серебряными нитями. Против царского места положили старинное Евангелие в телячьей коже. Слуги ушли. В горнице появились два молодых опричника в белых кафтанах с позолоченными секирами¹ за плечами.

Они встали по обеим сторонам царского места, взяли в обе руки секиры, замахнулись, словно собирались зарубить врага, и положили их на правое плечо.

Прошло несколько минут. До слуха телохранителей донесся слабый перезвон колокольчиков. Они посмотрели друг на друга и замерли, сдерживая дыхание.

Тихо открылась низкая дверь. Высокий, с нахмуренными бровями человек в черной монашеской одежде и черной шапке вошел, опираясь на посох, и сел на царское место. Рядом с ним неслышно, словно тень, возник духовник протопоп Евстафий.

Из других дверей появились вельможи: члены тайного совета, основатели опричнины, одетые во все черное. Князь Афанасий Вяземский, князь Никита Одоевский, боярин Василий Юрьев, боярин Алексей Басманов, ходивший всегда опустив глаза в землю, его сын Федор, воевода Петр Зайцев.

Низко поклонившись, постукивая посохами о деревянный пол, они направились к столу и расселись на скамьях слева и справа от царя.

Вслед за вельможами в горницу вошли два опричника и с ними юноша с темным пушком на верхней губе и на подбородке — Василий Колычев. Сын воеводы Ивана Колычева.

Василий Колычев недавно подал царю челобитную — принять его в опричники, обещаясь служить верой и правдой. Царь хотел назначить его своим телохранителем.

Последним в горнице появился князь Михаил Черкасский, держа в руках высушенную собачью голову с оскаленной пастью. К ней была привязана небольшая березовая метла. Собачья голова с метлой, привязанная к седлу опричника, отличала его от прочих людей. Она означала, что опричник должен грызть государственных врагов и выметать их метлой. Слегка пошатываясь от выпитого вина, черноволосый и звероподобный князь Михаил приблизился к столу и положил собачью голову рядом с Евангелием.

По знаку царя опричники, сопровождавшие Василия Колычева, вышли из горницы. Заседание тайного совета началось.

¹ Боевой топор.

— Подойди ближе! — пронзительным голосом сказал царь. Василий Колычев послушно сделал несколько шагов к столу и упал перед царем на колени.

— Как твое имя?

— Васька Колычев, сын воеводы Ивана Колычева, твой холоп, великий государь.

— Сколько тебе годов?

— Семнадцать.

— Ты хочешь быть опричником?

— Да, великий государь.

Царь помолчал, посмотрел на Федора Басманова.

— Кто превыше всего для тебя, Васька Колычев: отец, либо мать, либо братья и сестры? — спросил Басманов.

— Великий государь превыше всего, — твердо сказал Колычев. — Помимо него, не знаю ни отца, ни матери... Царь выше солнца, ибо солнце заходит, а царь светлым истинным светом всегда обличает тайные неправды.

— А если тебе думные земские бояре будут говорить на государя плохое и клясться святым крестом, что они говорят правду?

— Великий государь — слуга божий на земле. Как он порешил, так и правда, и никто царские дела судить не властен. И если я, твой холоп, услышу изменные речи и наговоры, обязуюсь немедля донести тебе, великому государю.

— Добро, — сказал царь. Он был доволен ответом. — Кто ручается за него? — обернулся он к Алексею Басманову.

— Григорий Борисович Грязной с сыном Никитой.

— Добро, — повторил царь и возвел глаза кверху, будто ища написанное на потолке. — Опричник не должен водить хлеб-соль со всеми земскими. Все они враги мои и губители земли Русской. Будешь верно нести мне службу, будешь всегда прав в суде перед ними. Я не поверю ни одному слову изменников на моих верных слуг. Если земский осмелится жаловаться на тебя, ты имеешь право взять с него пеню за бесчестье... А от меня получишь землю и деньги, и жить будешь безбедно.

— Спасибо, великий государь, клянусь тебе служить верой и правдой и жизнь свою положить за тебя.

— Добро. Подойди, Васька, к столу.

Колычев приблизился и встал напротив великого государя.

— Поклянись, что будешь мне верен, — сказал царь, не спуская с Колычева своих маленьких черных глаз.

«Прости меня, господи, за неправду! Прости ради великого дела, ради спасения земли Русской», — сказал про себя Василий Колычев.

А потом он поклялся:

— Я клянусь быть верным государю и великому князю, молодым царевичам и царице. Клянусь не молчать, если услышу что-

либо дурное, что замышляет кто-нибудь против царя и великого князя. Я клянусь не есть и не пить вместе с земскими и не иметь с ними никаких дел. На этом целую крест.

— Теперь поклянись еще раз и поцелуй вот это, — царь показал на высушенную собачью голову и березовую метлу, связанные вместе пеньковой веревкой.

Василий поклялся и поцеловал собачью голову.

Афанасий Вяземский брезгливо поморщился, посмотрел на князя Одоевского, незаметно подмигнул ему.

— Добро, — опять сказал царь и хлопнул в ладоши. В дверях появился вершитель тайных дел Малюта Скуратов с воеводой Иваном Колычевым.

Царь Иван сидел, привалившись к золоченой спинке кресла, и ждал. То, что сейчас должно произойти, было придумано Малютой Скуратовым и служило испытанием для нового телохранителя.

В горнице пахло смолой. Дворец совсем недавно построен из отборного елового леса, вырубленного в знаменитом Клинском лесу.

Маленькие черные глазки царя ощупали воеводу Ивана Колычева.

— Похвалялся ты, холоп, что извести меня колдовствовал тебе по-сильно?

— Помилуй, государь, — упал на колени воевода, — не виновен, не говорил я того.

— Врешь! Позвать Алексашку Гвоздарева.

Малюта Скуратов, шаркая подошвами сапог, пошел к двери. Приоткрыв ее, он молча поманил пальцем.

В горницу вошел боярин Гвоздарев, вернее, его ввели под руки стражники с топорами в руках.

Василий Колычев увидел, что кафтан на Гвоздареве изорван и в крови, лицо опухшее.

Князь Афанасий Вяземский взглянул на боярина, вздохнул и отвернулся.

— Скажи, как похвалялся Ивашка Колычев у себя на дому? — спросил царь. — Темно, видать, в моем подвале, наверно, об угол рожу расквасил, — добавил он, усмехнувшись.

— Похвалялся, государь, колдовством тебя извести...

— Не верь ему, государь, говорит он облыжно... Напившись вина, Алексашка жену мою избидел. Да я велел слугам с крыльца его скинуть. Святым крестом поклянусь.

— А ты, Алексашка, — обернулся царь к Гвоздареву, — как ты теперь против клятвы будешь говорить?

— И я клянусь святым крестом, — запинаясь сказал боярин, взглянув на каменное лицо Малюты.

— Так что же вы, богохульники, оба креста святого не боитесь! За свои животы готовы бога продать? А-а? Приблизься ко мне,

Ивашка, нет, сюда подойди. — Царь повернулся вместе с креслом и показал рукой у своих ног.

Воевода Кольчев на коленях подполз к царскому месту.

— Целуй мне сапог, — приказал царь. Воевода схватил в обе руки царский сафьяновый узконосый сапог и стал покрывать его поцелуями.

— Помилуй, государь, невиновен я, помилуй!

Царь Иван ударил воеводу сапогом в лицо. Вылетели зубы, пошла кровь.

— Еще целуй, пуще целуй.

Обливая слезами и кровью царский сапог, воевода целовал его.

— А вот земские говорят, — царь посмотрел на опричников, — что терпежу им от царя не стало. Врете, русский человек все стерпит! Посажу земцам татарина, и его будут любить, как меня любят, и сапоги ему будут целовать... Гриша, — обернулся он к Малюте Скуратову, — как ты скажешь: повинен Ивашка Кольчев в измене?

— Повинен, великий государь.

— А ежели повинен, — глаза царя засверкали, голос сделался еще пронзительнее, он обернул голову и посмотрел на Василия Кольчева, — велю тебе, нашему верному слуге Васютке, казнить изменника... Дайте ему топор, — приказал царь стражникам. — Ты поклялся быть мне верным?

Василий Кольчев побледнел. Он молча взял из рук стражника боевой топор с широким лезвием и длинной ручкой.

— Что же, исполняй приказ! — Царь часто задыхался, не спуская с него глаз.

Воевода Иван Кольчев поднялся с колен и повернул залитое кровью лицо к сыну.

— Великий государь, — с отчаянием в голосе произнес Василий, — невиновен мой отец! Он правду говорит. Гвоздарев мать спьяна поносил. Отец и велел его с крыльца скинуть. И он, Гвоздарев, напраслину на моего отца показал. Со зла солживил!

В горнице воцарилась мертвая тишина. Лицо воеводы Ивана Кольчева просветлело. Он с любовью глядел на сына.

— Не хочешь царскую волю исполнить? — грозно спросил царь. — Клятву рушишь!

Василий отбросил топор и рухнул на колени.

— Вели казнить меня, государь, но против правды я не пойду, казнить своего отца безвинно не стану... Царь Иван поднялся с кресла.

— Добро. Гриша, возьми Кольчевых, сына и отца, да разберись с ними. Расскажешь вечером, кто прав, а кто виноват. Постойка... — Царь задумался. — Ведь князь Мстиславский сказывал, будто я должен остерегаться рынду из рода Кольчевых... Что за притча! Ты ведь Кольчев?

— Кольчев, великий государь.

— Загадал мне загадку князь. — В изошренном мозгу царя возникла новая мысль. — Эй, Гриша! Где старик Неждан?

— У меня под рукой, великий государь.

— Позвать сюда.

Сановные опричники с любопытством смотрели на царя Ивана, на младшего Колычева, стараясь понять, что должно произойти.

Время шло. Царь Иван нетерпеливо поглядывал на дверь. Наконец она распахнулась, вошел Малюта Скуратов и с ним маленький старичок с белой бородой и длинными усами.

Увидев царя, старичок бросился ему в ноги.

— Встань, Неждан, — сказал царь.

Дворецкий боярина Федора поднялся. От страха он едва стоял. Воевода Иван Колычев, увидев Неждана, застыл, словно деревянный, не сводя глаз с его бледного лица.

— Поведай нам, — продолжал царь спокойно, — видел ли ты этих людей в охотничьем доме? — Он показал пальцем сначала на отца Колычева, потом на сына.

Неждан сразу узнал Василия Колычева.

— Сей юноша поклялся убить тебя, милостивый царь, — дрожащим голосом произнес он. — И ты, господине, был там, — шагнул он к Колычеву-отцу, — и научал юношу быть цареубийцей.

«Мы с сыном должны умереть и своей смертью спасти остальных, — промелькнуло в голове у Ивана Колычева. — Трудно быть честным у Малюты в застенке».

Не успел старик Неждан произнести последнее слово, как Колычев-отец выхватил из-за голенища острый и длинный нож, кинулся к сыну и всадил ему в сердце. Тем же ножом он перехватил себе горло.

— Взять их живыми, — крикнул царь, — лекаря сюда! Но было поздно. Все произошло так быстро, что никто не мог помешать.

— Они мертвы, великий государь, — осмотрев тела, доложил прибежавший на зов лекарь Линдзей.

— Разрубить на куски изменников и выбросить собакам, — тяжело дыша, сказал царь. — Что ты еще слышал, Неждан?

— Боярин Федоров, воевода Полоцкий, говорил про твою милость, будто ты не царского прирождения, а будто ты...

— Знаю, — прервал царь Иван.

Когда из горницы вышли все, кроме главных советников, боярин Алексей Басманов обратился к царю:

— Великий государь, не идет на убыль измена, а разрастается. Слых по Москве пошел, будто князя Владимира Старицкого на твое место бояре норовят посадить. Розыск бы новый сделать, и всех изменников на кол. Неспроста Колычев-старший сына своего убил — боялся, что по младости он остальных предаст. Чует мое сердце, опять сговорились земские княжата жизни тебя лишить, великий государь. По всему видно, сговорились. [1, 73—78]

Высокий, худощавый князь Андрей Курбский, ссутулившись, сидел на своем месте в зале заседаний сейма. Он молчал, поглаживая коротко стриженную, седоватую бородку. И на голове в густых волосах было много седины, несмотря на еще нестарые годы.

На громогласном и шумном люблинском сборище, молчаливый и сжавшийся, он был похож на затравленного волка.

Не проронив ни одного слова ни за, ни против, Андрей Курбский голосовал за навечное соединение Польского королевства и Литовского княжества. Он знал, что неравноправный союз ухудшит положение русского православного населения в объединенных государствах, усилит Польшу — злейшего врага московских князей... Он понимал, что воссоединение всех русских земель станет еще более сложным делом.

«Может быть, объединение Литвы и Польши поможет королю Сигизмунду расправиться с московским злодеем? — думал князь Курбский. — Я не пошевельну пальцем там, где надо оказать помощь царю Ивану, и всегда буду помогать тем, кто поднимает на него руку».

Он снова и снова проклинал царя Ивана, обвиняя во всех своих бедах. Ненависть к московскому владыке заслонила от его глаз великие нужды и страдания русского народа. Сделавшись ненавистником одного человека, он перестал быть русским. Задавшись целью уничтожить царя Ивана, он считал, что для этого хороши все средства. Конечно, он хотел вернуться на родину, но понимал, что сможет это сделать, только переступив через труп своего заклятого врага.

Курбский немного оживился, услышав горячее выступление своего друга, киевского воеводы Константина Острожского, против неравноправного объединения. Глаза князя загорелись, в голове стали складываться слова, противные унии. Но пришло на память новое оскорбление, нанесенное московским царем, и он взял себя в руки.

Утром Андрей Курбский проходил с Острожским мимо четырех московских вельмож, прискакавших по приглашению польского правительства на Люблинский сейм. Московские вельможи очень вежливо раскланялись с Острожским, но, увидев Курбского, стали со злостью плевать на него.

— Изменник, — кричали они, — да будешь ты проклят на вечные времена!

Князь Курбский выхватил саблю, но сеймовая стража мгновенно его обезоружила.

— Мы выполнили приказ царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича, — гордо сказали московские вельможи.

Когда-то Андрей Курбский, боярин и князь, был любимцем царя. Он происходил из знатного рода ярославских князей и фамилию свою получил от реки Курбы. В Ливонню был послан воеводой боль-

шого полка. В 1564 году он изменил своему государю, покинул отечество и стал служить яростному врагу Московского государства польскому королю Сигизмунду. К измене отечеству Курбский пришел не в один день. Он почитал Адашева разумным правителем и был его единомышленником. Расправа царя Ивана со всеми, кто поддерживал Адашева, возмутила и испугала Курбского. Он не раз получал зазывные листы от Сигизмунда с щедрыми посулами. Сенаторы присягнули в исполнении королевских обещаний и прислали князю охранную грамоту. И князь Андрей решился: темной октябрьской ночью, попросившись навсегда с женой и девятилетним сыном, он перелез крепостную стену города Юрьева, где был в то время наместником и воеводой, и бросил городские ключи в колодезь. На лошадях, приготовленных слугою Шибановым, он ускакал в город Вальмар.

Вскоре после бегства из России Курбский получил от Сигизмунда-Августа обширные поместья. Земли даны были на время, без права собственности. Но в 1567 году, в награду за доблестную, верную службу во время войны польского дворянства с царем Иваном, король предоставил перебежчику ленное право¹ на пожалованные земли. С того времени Андрей Курбский стал величать себя князем Курбским и Ярославским. На гербе его был изображен вставший на задние лапы лев. Князь знал латинский и греческий языки, изучал разные науки, обладал писательским даром. Его письма немало досадили грозному царю.

По нраву князь Курбский был крут и неуживчив. Обиды никому не спускал. Часто ссорился с соседями-помещиками. От обид и притеснений защищался вооруженной рукой. Иногда он саблей расширял границы своих земель...

1 июля 1569 года Курбский без возражений принял присягу на верность новому объединенному государству.

На следующий день после закрытия сейма князь попросил аудиенцию у короля и был благосклонно принят.

В королевских покоях жарко. Через открытые окна налетело много больших мух. Двое придворных шляхтичей отгоняют назойливых насекомых от короля, двое других охотились с мухобойками.

— Благодарю, мой друг, — сказал Сигизмунд-Август, тряся головой от слабости. — Мне сказали, князь, что ты с радостью принял унию.

— Я всегда был верным слугой вашего величества. — Курбский поцеловал королевскую руку. — И сейчас хочу сообщить нечто весьма важное и полезное вам.

— Мой канцлер и вы, Ян Фирлей, прошу, подойдите ближе. Князь Курбский хочет сообщить нам важные новости.

¹ Право наследственности.

Сановники с поклонами приблизились, бросая настороженные взгляды на Курбского. Канцлер был в красной суконной куртке, расшитой золотом, в чулках и башмаках, а Ян Фирлей в синем жупане и щегольских сапожках.

— Я слушаю, князь.

— Ваше величество, в Москве и по всей земле Московской свирепствуют голод и моровое поветрие. Верные люди оттуда пишут мне, что страна обезлюдела. Царские кромешники разорили многие плодородные земли, крестьяне разбежались. На войну с Ливонией царь Иван тратит последние деньги. Людей в полки приходится собирать под страхом смерти.

— Что же ты предлагаешь?

Курбский на мгновение задумался.

Время пришло. Для победы над Москвой надо послать хорошие подарки крымскому хану. Вдвое, а то и втрое больше, чем дает Москва. И Девлет-Гирей с большой ордой нападет на московские земли. Я сумею указать крымскому хану дорогу в обход приокских крепостей. Девлет-Гирей разорит много городов и возьмет Москву, в этом я уверен... А в это время вам, ваше величество, следует ударить с другой стороны на московского князя. И может так случиться, что великий князь Иван Васильевич, этот дикарь и кровопийца, будет у вас в руках. Тогда вы сами решите, кого посадить на московский престол. Прошу, ваше величество, не откладывая, отправить послов к крымскому хану. Я уверен, предложение будет весьма — кстати. У меня есть все доказательства, я получаю письма от вельможных лиц московского государства. [1, 154—157]

2 января 1570 года опричное воинство окружило со всех сторон Великий Новгород. По всем дорогам боярин Алексей Басманов поставил крепкие заставы. Ни один человек, ни пеший, ни конный, не мог спастись бегством.

У истока реки Волхова широко раскинулся Новгород. Софийская сторона на западном берегу и торговая на восточном возникли в далекую, незапамятную старину. У самого Волхова, на пологом холме, высились каменные стены детинца¹ с башнями и узкими воротами. За стенами крепости теснились разукрашенные главы древнего Софийского собора.

Прежде всего по царскому повелению закрыли все монастыри и церкви в окрестностях Новгорода, а иноков и священников согнали в одно место и потребовали с них по двадцать рублей выкупа. Кто не мог заплатить, того ставили на правех, били батогами. Дворы богатых купцов в городе тоже запечатали. Дьяков и подьячих заковали в цепи и согнали, как скот, в огороженный забором двор. Жен и детей стерегли в домах.

¹ Детинец — внутреннее укрепление в русском средневековом городе.

Войска увидели царя Ивана 6 января в пригороде. На другой же день опричники казнили всех монахов, бывших на правее, и развезли трупы по монастырям для погребения.

Окруженный сановниками царь Иван 8 января вступил в город как победитель. У городских ворот его встретили почетные горожане с духовенством. В руках у всех были иконы. Именитые купцы Федор Дмитриевич Сырков и его брат Алексей поднесли хлеб с солью на золотом блюде. Царь хлеба-соли не принял, велел всем мужикам вырвать бороды, а Федора Сыркова с братом посадил в погреб. На Великом мосту дожидался архиепископ Пимен с крестами и чудотворными иконами.

Царь не сошел с коня, не принял благословения.

— Злочестивец, — закричал он пронзительно, — в твоей руке не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце! Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев... Знаю, что вы готовитесь предаться королю Жигимонду... Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова...

— Не виноват я, государь... — Архиепископ едва шевелил от страха языком. — Обнесли меня враги лживым словом...

— Молчи, об этом я поговорю с тобой особо, а сейчас иди с иконами и крестами в Софийскую церковь.

Царь умилялся, слушая литургию, падал на колени, усердно стучался лбом о древние каменные плиты. После службы он вошел в архиепископские палаты, сел за обеденный стол вместе с софийскими боярами¹ и своими вельможами. Приближенные заметили новые ссадины и синяки на его лбу.

Раненый Малюта Скуратов сегодня встал с постели. Рука его лежала на перевязи. Бледный и похудевший, он почти не притрагивался к пище. Сидел он рядом с царем. По другую сторону государя — царевич Иван. За царевичем расселись татарские вельможи.

Обед начался торжественно, здравицами за царя и царский дом. Застолье ничем не омрачалось. И вдруг в самом конце пиршества царь Иван приподнялся со своего места и завопил неистовым голосом.

Это был сигнал.

В палаты тотчас ворвались вооруженные опричники в черном, схватили архиепископа и всех софийских бояр и архиепископских слуг.

Софиянин Никита Бобыль, высокий, с огромными кулаками дедина, свалил с ног двух опричников и выскочил в дверь. В сенях он ударил ножом царского телохранителя, загородившего дорогу, и со всех ног бросился на колокольню Софийской церкви. И по все-

¹ Бояре на службе новгородского архиепископа.

му Великому Новгороду разнеслись могучие медные стоны большого колокола. Он призывно звонил до тех пор, пока опричники не сбросили с колокольни мертвого Никиту Бобыля.

Кое-кто из горожан отважился с оружием прибежать на площадь. У стен древней соборной церкви завязалась схватка. Два часа держалась горсточка отважных новгородцев против царских опричников.

— Изменники, продажные шкуры! — кричали опричники.

— Разбойники, душегубы! — отвечали новгородцы.

— Отпустите архиепископа!

— Мы вас всех в капусту изрубим!

— Архиепископ первый изменник государю!

Но сила сломила отвагу. Все новгородцы были перебиты.

В первый же день жестокие пытки людей затуманили сознание царя Ивана. Его болезненный мозг, отравленный кровью, везде искал измену... Двоюродный брат Владимир снова стоял перед глазами. По ночам царю чудился хан Девлет-Гирей с мечом в руке или польский король Сигизмунд. «Я сел не в свое место? — кричал царь Иван во сне. — Я покажу вам, где мое царство! Я вам не князь Овчина-Оболенский...»

А днем царь без сожаления рубил головы или сажал на кол всех, кого подозревал в измене.

Снадобья лекаря Арнольда Линдзее мало помогали.

Царский дворецкий Лев Салтыков и духовник государев Евстафий обобрали Софийскую церковь. Взяли в московскую казну драгоценности из других церквей и монастырей — сосуды, иконы, колокола.

Новгород был предан поголовному грабежу. Множество мужиков с одноконными и двуконными санями перевозили награбленное в городе добро, сундуки и лари, в один из монастырей, расположенный за городскими стенами. Там все сваливали в кучу и охраняли. Добычу хотели делить между всеми опричниками.

Царские воины чувствовали себя, как во вражеской стране. Они ломались в дома, лавки и кладовые, влезали в окна, срывали двери и ворота с петель. А то, что не могли захватить, уничтожали. Жгли пеньку, кожи, бросали в реку воск и сало. Погибли огромные запасы, скопившиеся в городе за десятки лет.

Конные отряды царь Иван направил в окрестности Новгорода, дал им право без суда казнить людей и губить их достояние.

Всадники с собачьими головами и метлами грабили помещиков, крестьян и монастыри, сжигали хлеб, уничтожали скот, убивали людей.

Появились и самочинные группы опричников, считавших недостаточной свою долю при общем дележе и грабивших новгородцев за свой страх и риск.

Доведенные до отчаяния новгородцы брались за оружие, соединялись в отряды и нападали на царских слуг. Немало опричников погибло от меча народных мстителей.

Тем временем в городище открылся суд. Изменников судил царь Иван со своим наследником. Ежедневно около тысячи людей приговаривались к смерти.

Наступил месяц февраль. Царский гнев стал понемногу стихать. 3 февраля царь Иван сидел на золоченом архиепископском кресле. От его ног по снегу тянулась, длинная дорожка кроваво-красного сукна. Потеплело. Падал мягкий редкий снежок.

Царя окружали рынды в белых меховых кафтанах с серебряными секирами в руках. Рындой правой руки стоял статный красавец Борис Годунов. Недавно он справил свадьбу с дочерью Малюты Скуратова.

Царь сидел в соболиной шубе и меховой заснеженной шапке, сложив руки на коленях. За спиной стояли Малюта и боярин Алексей Басманов. Они держали в руках списки, выкликали имена представших на царский суд и докладывали их воровские дела. Сегодня царь Иван узнал, что один из его опричников пожалел голодную женщину и дал ей каравай хлеба, ничего не взяв с нее. Царь приказал обезглавить и опричника и женщину. Их положили на площади рядом, вместе с караваем хлеба, на устрашение тем, кто поддавался состраданию...

В церквах не служили. Они стояли пустые, запечатанные большими царскими печатями.

Около шести недель продолжались ничем не объяснимые зверства. Малюта Скуратов проклинал свою рану. Он не мог по-настоящему участвовать в деле. Но не только рана мучила Скуратова. Может быть, в первый раз он устранился своих дел. Слишком много погибло невинных людей в Новгороде.

12 февраля 1570 года, в понедельник второй недели великого поста, царь Иван, насытившись кровью и смертью, призвал к себе оставшихся в живых именитых новгородцев, от каждой улицы по одному человеку. Люди собрались в архиепископских палатах, ожидая смерти, еле дыша от страха.

Царь сидел в золоченых ризах и с шапкой Мономаха на голове. Умиротворенное лицо его было бледно, огромные черные тени легли вокруг глаз. Он был похож на святого с дорогой иконы.

— Мужичи новгородские, — едва слышным голосом сказал он, — молитесь господа о нашем благочестивом царском державстве, о нашем христианском воинстве. Да будем мы и впредь побеждать всех врагов, видимых и невидимых. Да будет бог судьей изменнику моему архиепископу Пимену и злым его советникам. На них, на них взыщется кровь, здесь пролитая... Да умолкнет плач и стенанье, да утешится скорбь и горечь. Живите и благоденствуйте в сем го-

роде. Вместо себя оставляю вам правителя, боярина и воеводу моего князя Петра Даниловича Пронского. Идите в дома свои с миром.

Уцелевшие новгородские мужи повалились в ноги государя и заголосили:

- Спасибо тебе, милостивец наш...
- Будем бога молить за тебя...
- Проклянем изменников твоих!..
- Жизней своих за тебя не пожалеем...

Царь Иван махнул рукой охране.

Идите, идите по домам, — толкали опричники в спины не помнящих себя от радости новгородцев, — а то еще раздумает царь-батюшка. [1, 192—198]

Литература

1. *Бадигин, К. С.* Корсары Ивана Грозного. Роман-хроника времен XVI века. — М. : Детская литература, 1991. — С. 7—15, 22—27, 73—78, 154—157, 172—174, 192—195, 198.
2. *Бальмонт, К. Д.* Стихотворения. — М. : Художественная литература, 1990. — С. 42—43.
3. *Григорьев, В. Н.* Певец во стране русских воинов: Стихи о ратном подвиге. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 118—120.
4. *Коровин, П. И.* Взятие Казани Иваном Грозным 1552 г. // Русская история в картинках из изданий С. В. Рождественского и И. Д. Сытина ; сост. и авт. текста В. И. Шевченко.
5. *Костомаров, Н. И., Забелин, Е.* О жизни, бытие и нравах русского народа. — М. : Просвещение, 1996. — С. 339.
6. *Костылев, В. И.* Иван Грозный. Романы — трилогия. — Минск : Наука и техника, 1986.
7. *Лермонтов, М. Ю.* Собр. сочинений. В 4 т. Т. 2. — Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1980. — С. 333—346.
8. *Майков.* Стихотворения. — М. : Советская Россия, 1980. — С. 194—198.
9. *Новоскольцев, А. Н.* Последние минуты митрополита Филиппа // Русская история в картинках из изданий С. В. Рождественского и И. Д. Сытина ; авт. текста В. И. Шевченко.
10. *Толстой, А. К.* Собрание сочинений. В 40 т. Т. 2. — М. : Изд-во «Правда», 1980. — С. 84—85, 126—133, 142—143, 151, 154, 138—141.
11. *Толстой, А. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. — М. : Художественная литература, 1986. — С. 410.

Смута

БОРИС ГОДУНОВ

Кремлевские палаты. Борис, патриарх, бояре

Борис

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами:

Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущим Иоаннам —
Наследую и ангелу-царю!..
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты.
От вас я жду содействия, бояре,
Служите мне, как вы ему служили,
Когда труды я ваши разделял,
Но избранный еще народной волей.

Бояре

Не изменим присяге, нами данной.

Борис

Теперь пойдем, поклонимся гробам
Почиющих властителей России,
А там — сзывать весь наш народ на пир. [7, 248—249]

А. С. Пушкин

КОММЕНТАРИИ

Борис Годунов

По смерти Ивана Грозного, восемнадцать лет судьба русского государства и народа была связана с личностью Бориса Годунова. Род этого человека происходил от татарского мурзы Чета, принявшего в XIV в. в орде крещение от митрополита Петра и поселившегося на Руси под именем Захарий. Памятником благочестия этого новокрещенного татарина был построенный им близ Костромы Ипатский монастырь, сделавшийся фамильной святыней его потомков; они снабжали этот монастырь приношениями и погребались в нем. Внук Захария Иван Годун был прародителем той линии рода мурзы Чети, которая от клички Годун получила название Годуновых. Потомство Годуна значительно разветвилось. Годуновы владели вотчинами, но не играли важной роли в русской истории до тех пор, пока один из правнуков первого Годунова не удостоился чести сделаться тестем царевича Федора Ивановича. Тогда при дворе царя Ивана явился близким человеком брат Федоровой жены Борис, женатый на дочери царского любимца Малюты-Скуратова. Царь Иван любил его. [4, 563]

Н. И. Костомаров

Воцарение Годунова

Династический кризис 1598 г. Последний царь из династии Рюриковичей — Федор Иоаннович умер 7 января 1598 г. Напрасно патриарх Иов молил его назвать имя наследника. Царь положился на волю Божью.

Претендентов на престол было несколько.

Годуновы утверждали, что Федор «учинил» после себя на царстве свою жену Ирину Годунову. Ее брат и фактический правитель страны Борис попытался удержать престол за сестрой (от ее имени даже издали несколько указов). Но подобное нарушение традиций вызвало волнения в Москве. Ирина была вынуждена постричься в монахини. В Новодевичьем монастыре появилась старица Александра Федоровна.

После гибели в Угличе царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, многие считали законным наследником двоюродного брата Федора Иоанновича — Федора Никитича Романова (мать царя Анастасия приходилась ему теткой). Близкие к Романовым люди рассказывали, будто умирающий царь передал скипетр Романовым, но и Федор Никитич и его братья — Александр, Иван и Михаил — отклонили честь. «Пусть возьмет его, кто хочет!» — в сердцах воскликнул царь. Тогда Борис Годунов схватил скипетр.

20 февраля сторонники Годунова организовали «хождение народа» к Борису, уехавшему вслед за сестрой в Новодевичий монастырь. Но Годунов отказался венчаться на царство. 21 февраля политический спектакль достиг кульминации. Умолять Бориса стать царем пришло огромное число народу. Он вышел к толпе и, обернув вокруг шеи платок, показал, что скорее удушится, чем станет царем. В ответ духовенство пригрозило Борису закрыть церкви, бояре сказали. «А мы называться боярами не станем» (т. е. некому будет управлять государством), дворяне заявили, что не будут биться с неприятелем. По словам очевидца — дьяка Ивана Тимофеева более всех старались «середине люди и все меньшие», которые «кричали нелепо, с воплем великим... не в чин», отчего лица их багорвели, а утробы «расседались».

3 сентября 1598 г. в Успенском соборе в Кремле состоялась коронация Бориса Годунова.

Борис рассчитал, что нужно на первых порах расположить к себе народ, приучить любить себя и повиноваться себе. С этой целью он освободил весь сельский народ от податей на один год, а равно и всех инородцев от платежа ясака. Всем торговым людям Борис дал право беспошлинной торговли на два года, служилым людям выдал одновременно годовое жалованье. В Новгороде (и быть может в других местах) он закрыл кабаки. Выказываясь блюстителем нравственности, Борис преследовал бесчинное пьянство, что нравилось добро-

нравным людям. Сидевшие в тюрьмах получали свободу, опальным прежнего царствования давалось прощение; вдовы, сироты, нуждающиеся получали от щедрот царя вспоможение. Борис непрестанно кормил и одевал неимущих. Казней не было. Борис даже воров и разбойников не наказывал смертью. Но все это была только мишура. Все благие стремления Бориса клонились только к одной цели: утвердить себя и род свой на престол; он сочинил особую молитву о своем здравии, которую заставлял всех подданных непременно произносить во время заздравных чаш. Борису хотелось, чтобы русские во что бы то ни стало и какими бы то ни было путями призывали к нему и полюбили его. Цель мало достигалась. Только духовенство и служилые были действительно за Бориса; народ не любил его. Законы о прикреплении к земле и о холопстве стали источниками смут и беспорядков. Крестьяне беспрестанно бегали от помещиков; те искали их, преследовали; возникали из-за них тяжбы. Закон о холопстве приводил ко всевозможным насилиям. Не только прослужившие шесть месяцев попадали в рабство; иногда судья, в угоду богатому, приговаривал к холопству и такого, который несколько дней прослужить у господина, и это делалось на том основании, что господин на него издержался. Призовут мастерового работать в дом, а господин дома изъявит притязание, что он его холоп. Начнется суд; судья потакает господину, взявши с него взятку. Иного зазовут в гости, обласкают, покормят, а потом вымучат у него кабалу. Даже детей боярских — которые имели поместья и поступали к боярам и к богатым дворянам служить в ратном деле — сильные господа, при случае, принуждением обращали в холопов. Хватали иногда прохожих по дороге, затаскивали в дом и вымогали с них кабалу муками и насилиями. [4, 571]

Н. И. Костомаров

В ГЛУХИЕ ДНИ

Предание

В глухие дни Бориса Годунова,
Во мгле Российской пасмурной страны,
Толпы людей скитались без крова
И по ночам всходило две луны.
Два солнца по утрам светило с неба,
С свирепостью на дольный мир смотря.
И вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» —
Из тьмы лесов стремился до царя.
На улицах иссохшие скелеты
Щипали жадно чахлую траву,
Как скот — озверены и не одеты,
И сны осуществлялись наяву. [1, 49]

К. Бальмонт

Комментарии

Голод 1601—1603 гг. В холодное лето 1601 г. бесконечные дожди не дали хлебам вызреть. Потом, как нарочно, грянули ранние морозы, и урожай окончательно погиб. Весной следующего года всходы погубили заморозки. Наступил голод. Цены на хлеб выросли в несколько раз. Не только бедные, но и люди среднего достатка не могли его купить. От голода стали есть кошек, собак. Были даже случаи людоедства.

Борис Годунов не жалел средств на борьбу с голодом. Он велел раздавать нуждающимся деньги, однако цены росли день ото дня и средств не хватало. Власти стали продавать по твердым ценам хлеб из царских житниц. Между тем слухи о царских милостях привели в города толпы страждущих, и голод оттого лишь усилился.

Благотворительность не распространялась на деревню. Там голод косил людей, как траву. 28 ноября 1601 г. Годунов восстановил на год Юрьев день. В 1602 г. указ повторили. Уйти от хозяина могли и холопы в случае отказа хозяина их кормить. Но эти меры не могли, однако, заметно улучшить положение крестьян. В стране начались волнения.

В 1603 г. у Москвы появился бывший боевой холоп по имени Хлопко Косолап с огромным отрядом казаков и холопов. Против него был послан воевода Иван Басманов. Отряд Басманова попал в засаду и был перебит. Но основными правительственными силами в ходе длительного и ожесточенного сражения удалось одержать победу. Тяжело раненного Хлопка повесили. Большинство же его «разбоев» разбежалось по окрестностям Москвы, многие двинулись на Дон и в Запорожье.

В 1601—1603 гг. земля полнилась слухами. Говорили, что голод — это наказание за то, что правит страной «неприродный» царь. Разнеслась молва, будто в Угличе погиб не сын Грозного, а другой мальчик. Сам же царевич Дмитрий жив и собирается вернуть себе отеческий престол. Между тем в Польше объявился человек, выдававший себя за царевича Дмитрия. [9, 284]

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Два стольника.

Первый

Где государь?

Второй

В своей опочивальне
Он заперся с каким-то колдуном.

Первый

Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи. —

Всё ворожит, что красная невеста.
Желал бы знать, о чем гадают он?

Второй

Вот он идет. Угодно ли спросить?

Первый

Как он угрюм!

Уходят.

Царь

(входит)

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем.
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни длинные, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нот. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых —
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Парод заныл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, и им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огонь их дома истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви.
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства —
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу —
Монахиню смиренную... всё я!

Ах! чувствую: ничто но может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. [7, 207—209]

СТОЯТИ ЗАОДНО

По милости Димитрия столь жалостно погиб бедный государь Борис Федорович Годунов с сыном и женой, как предатели страны снова распространяют слух, что Димитрий будто бежал, а не был убит, но даже если бы было и так (чего на самом деле вовсе нет), то все равно ведь это не Димитрий, сын царя Ивана Васильевича, а обманщик, которого они не хотели принять, чтобы он не ввел в стране поганую веру. А для того чтобы вызвать в народе христианское сострадание, он, Шуйский, приказал три мертвых тела — Бориса, его сына и жены (которые были погребены в бедном монастыре) — снова вынести оттуда, увезти в Троицкий монастырь и там похоронить по царскому чину. Тело Бориса несли 20 монахов, его сына Федора Борисовича — 20 бояр, жены Бориса — также 20 бояр, а за этими тремя телами шли пешком до самых Троицких ворот все монахи, монашки, попы, князья и бояре, здесь они сели на коней, тела приказали положить на сани и сопровождали их в Троицкий монастырь, расположенный в 12 милях от города Москвы. Этот монастырь необычайно могуществен. Ни одни знатный вельможа по всей стране не умирает, не отказав туда в своем завещании крупный вклад. Этот монастырь, когда в стране немирно, должен выставлять для царя 20000 вооруженных всадников.

Дочь Бориса Федоровича, одна только и оставшаяся в живых, которую должен был получить в жены господин брат его величества короля Дании и пр., герцог Иоганн, высокочтимый и блаженной памяти (как говорилось выше), ехала следом за этими тремя телами в санях с пологом, причитала и голосила: «О горе мне, бедной, покинутой сироте! Самозванец, который называл себя Димитрием, а на самом деле был только обманщиком, погубил любезного моего батюшку, мою любезную матушку и любезного единственного братца и весь наш род, теперь его самого тоже погубили, и как

при жизни, так и в смерти своей он принес много горя всей нашей земле. Осуди его, господи, прокляни его, господи!» Теперь многие стали сильно оплакивать и жалеть Бориса, говоря, что лучше было бы, если бы он жил еще и царствовал, а эти безбожные люди умышленно и преступно погубили и извели его вместо со всем его родом ради Димитрия. Как говорится: «Не отказывайся от старого друга прежде, чем хорошо не испытаешь нового». [2, 356—357]

Конрад Буссов

DMETRIUS-IMPERATOR (1591—1613)

Ю. Л. Оболенской

Убиенный много и восставый
Двадцать лет со славой правил я
Отчею Московскою державой,
И години более кровавой
Не видала русская земля.

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Я лежал, а мать в сених замешкав,
Голосила, плача надо мной.
С перерезанным наотмашь горлом
Я лежал в могиле десять лет;
И рука Господняя простерла
Над Москвой полетье лютых бед.
Голод был, какого не видали.
Хлеб пекли из кала и мезги.
Землю ели. Бабы продавали
С человечьим мясом пироги.
Проклиная царство Годунова,
В городах без хлеба и без крова
Мерзли у набитых закровов.
И разъялась земная утроба,
И на зов стнящих голосов
Вышел я — замученный — из гроба.

По Руси, что ветер засвистал,
Освещал свой путь двойной луною,
Пасолнцы на небе засвечал.
Шестернею в полночь над Москвою
Мчал, бичом по маковкам хлестал.
Вихрь-витной гулял я в ратном поле,
На Московском венчаный престоле
Древним Мономаховым венцом,
С белой панной — с лебедью — с Мариной
Я — живой и мертвый, — но единый
Обручался заклтым кольцом.

Но Москва дыхнула дыхом злобным —
Мертвый я лежал на месте Лобном
В черной маске с дудкою в руке,
А вокруг — вблизи и вдалеке —
Огоньки болотные горели,
Бубны били, плакали сопели,
Песни пели бесы на реке...
Не видала Русь такого сраму!
А когда свезли меня на яму,
И свалили в смрадную дыру, —
Из могилы тело выходило
И лежало цело на юру.
И река от трупа отливала,
И земля меня не принимала.
На куски разрезали, сожгли,
Пепл собрали, пушку зарядили,
С четырех застав Москвы палили
На четыре стороны земли.

Тут тогда меня уж стало много:
Я пошел из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы...
Понапрасну в обличенье вора
Царь Василий, не стыдясь позора,
Детский труп из Углича опять
Вез в Москву — народу показать.
Чтобы я на Царском на призоре
Почивал в Архангельском Соборе,
Да сидела у могилы мать.

А Марина в Тушино бежала
И меня живого обнимала,
И, собрав неслыханную рать,
Подступал я вновь к Москве со славой.
А потом лежал в снегу — безглавый
В городе Калуге над Окой,
Умерщвлен татарами и Жмудью...
А Марина с обнаженной грудью,
Факелы подняв над головой,
Рыскала над мерзлою рекой,
И, кружась по-над Москвою, в гнев
Воскрешала новых мертвецов,
А меня живым несла во чреве...

И пошли на нас со всех концов,
И неслись мы парой сизых чаек
Вдоль по Волге, Каспию — на Яик, —

Тут и взяли царские стрелки
Лебеденка с Лебедью в силки.

Вся Москва собралась, что к обедне,
Как младенца — шел мне третий год —
Да казнили казнию последней
Около Серпуховских ворот.
Так, смущая Русь судьбою дивной,
Четверть века — мертвый, неизбывный
Правил я лихой годиной бед.
И опять приду — чрез триста лет. [3, 156—158]

*М. Волошин,
19 декабря 1917 г.*

* * *

Гроба, отяжелевшие от гнили,
Живым давали смрадный адский хлеб,
Во рту у мертвых сено находили,
И каждый дом был сумрачный вертеп.

От бурь и вихрей башни низвергались,
И небеса, таясь меж туч тройных,
Внезапно красным светом озарялись,
Являя битву воинств неземных.

Невиданные птицы прилетали,
Орлы парили с криком над Москвой,
На перекрестках, молча, старцы ждали,
Качая поседевшей головой.

Среди людей блуждали смерть и злоба,
Узрев комету, дрогнула земля.
И в эти дни Димитрий встал из гроба,
В Отрепьева свой дух переселя. [1, 52]

К. Бальмонт

БОРИС ГОДУНОВ

**Граница Литовская
(1604 года, 16 октября)**

**Князь Курбский и Самозванец, оба верхами.
Полки приближаются к границе.**

Курбский

(прискакав первый)

Вот, вот она! вот русская граница!
Святая Русь, отечество! я твой!

Чужбины прах с презреньем отряхаю
С моих одежд — пью жадно воздух новый:
Он мне родной!., теперь твоя душа,
О мой отец, утешится, и в гробе
Опальные возрадуются кости! —
Блеснул опять наследственный наш меч,
Сей славный меч, гроза Казани темной,
Сей добрый меч, слуга царей московских!
В своем пиру теперь он загуляет
За своего надежу-государя!..

Самозванец

(едет тихо с поникшей головой)

Как счастлив он! как чистая душа
В нем радостью и славой разыгралась!
О витязь мой! завидую тебе.
Сын Курбского, воспитанный в изгнание,
Забыв отцом снесенные обиды,
Его вину за гробом искупив —
Ты кровь излить за сына Иоанна
Готовишься; законного царя
Ты возратить отечеству... ты прав,
Душа твоя должна пылать весельем.

Курбский

Ужель и ты не веселишься духом?
Вот наша Русь: она твоя, царевич.
Там ждут тебя сердца твоих людей:
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.

Самозванец

Кровь русская, о Курбский, потечет —
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца! —
Вперед!

Курбский

Вперед! и горе Годунову!
(Скачут. Полки переходят через границу.)

Ночь. Сад. Фонтан.

Самозванец

(входит)

Вот и фонтан; она сюда придет,
Я, кажется, рожден не боязливым;

Перед собой вблизи видал я смерть,
Пред смертью душа не содрогалась,
Мне вечная неволя угрожала,
За мной гнались — я духом не смутился
И дерзостью неволи избежал.
Но что ж теперь теснит мое дыханье?
Что значит сей неодолимый трепет?
Иль это дрожь желаний напряженных?
Нет — это страх. День целый ожидал
Я тайного свидания с Мариной.
Обдумывал всё то, что ей скажу,
Как оболещу ее надменный ум,
Как назову московскою царицей, —
Но час настал — и ничего не помню,
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье...
Но что-то вдруг мелькнуло... шорох... тише.
Нет, это свет обманчивой луны,
И прошумел здесь ветерок.

Марина

(входит)

Царевич!

Самозванец

Она!.. Вся кровь во мне остановилась.

Марина

Димитрий! Вы?

Самозванец

Волшебный, сладкий голос!

(Идет к ней.)

Ты ль наконец? Тебя ли вижу я,
Одну со мной, под сенью тихой ночи?
Как медленно катился скучный день!
Как медленно заря вечерня гасла!
Как долго ждал во мраке я ночном!

Марина

Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника. Слова не нужны. Верю,
Что любишь ты; но слушай: я решилась
С твоей судьбой, и бурной и неверной,
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Димитрий, одного:
Я требую, чтоб ты души своей

Мне тайные открыл теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья —
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безмолвная твоя —
Но как тебя достойная супруга,
Помощница московского царя.

Самозванец

О, дай забыть хоть на единый час
Моей судьбы заботы и тревоги!
Забудь сама, что видишь пред собой
Царевича. Марина! зри во мне
Любовника, избранного тобою,
Счастливого твоим единым взором —
О, выслушай моления любви,
Дай высказать всё то, чем сердце полно.

Марина

Не время, князь. Ты медлишь — и меж тем
Приверженность твоих клеветов стынет,
Час от часу опасность и труды
Становятся опасней и труднее,
Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры...

Самозванец

Что Годунов? во власти ли Бориса
Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно
На трон его, на царственную власть.
Твоя любовь... что без нее мне жизнь,
И славы блеск, и русская держава?
В глухой степи, в землянке бедной — ты
Ты заменишь мне царскую корону,
Твоя любовь...

Марина

Стыдись; не забывай
Высокого, святого назначения;
Тебе твой сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни
Его ни с чем не можешь ты равнять,
Не юноше кипящему, безумно
Плененному моею красотой,
Знай: отдаю торжественно я руку
Наследнику московского престола,
Царевичу, спасенному судьбой.

Самозванец

Не мучь меня, прелестная Марина,
Не говори, что сан, а не меня
Избрала ты. Марина! ты не знаешь,
Как больно тем ты сердце мне язвишь —
Как! ежели... о страшное сомненье! —
Скажи: когда б не царское рожденье
Назначила слепая мне судьба;
Когда б я был не Иоаннов сын,
Не сей давно забытый миром отрок:
Тогда б... тогда б любила ль ты меня?..

Марина

Димитрий ты и быть иным не можешь;
Другого мне любить нельзя.

Самозванец

Нет! полно:
Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей.
Нет, полно мне притворствовать! скажу
Всю истину; так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком, свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо —
И наконец из келии бежал
К украинцам, в их буйные курени,
Владеть конем и саблей научился;
Явился к вам; Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признанием моим?
Что ж ты молчишь?

Марина

О стыд! о горе миг!
(Молчание.)

Самозванец

(тихо)

Куда завлек меня порыв досады!
С таким трудом устроенное счастье
Я, может быть, навеки погубил.
Что сделал я, безумец? [7, 240—243]

А. С. Пушкин

ЗАЩИТНИКИ СВЯТО-ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 1608 г.

После смерти Лжедмитрия I избранный на царство кучкой московских бояр Василий Иванович Шуйский 1 июня 1606 года короновался в Успенском соборе Кремля. А 3 июня в Москву спешно были перевезены из Углича и выставлены на всеобщее обозрение в Архангельском соборе нетленные мощи убиенного царевича Дмитрия, который был канонизирован как новый русский святой, дабы положить конец чреде «воскрешений».

Однако все эти меры не внесли успокоения в общество. Прошло немногим больше года с начала царствования Василия Шуйского, как пронеслась весть, что Лжедмитрий I, выдававший себя за царевича Дмитрия, не был убит, а чудом спасся и идет на Москву, чтобы отнять у Василия Шуйского престол. Это был уже Лжедмитрий II, личность которого до сих пор остается не установленной. В 1608 году новоявленный самозванец при помощи поляков собрал большое войско из казаков, беглых крестьян и нескольких польских отрядов, двинул свою армию на Москву. Русские города сдавались Лжедмитрию II один за другим. Он почти беспрепятственно дошел до Москвы и расположился укрепленным лагерем в селе Тушине (откуда и его прозвище «Тушинский вор»), К самозванцу перебежали некоторые русские бояре и дворяне, недовольные политикой Шуйского. Отряды поляков и русских изменников беспощадно грабили жителей. Тяжелым оказалось и положение царя Василия Шуйского. Видя вокруг себя измену, он вынужден был обратиться за помощью к шведскому королю.

В то Смутное время, когда в умах русского народа обнаружилась «шатость», кому служить — царю Василию или второму самозванцу, Троице-Сергиева лавра показала пример высокой доблести и непоколебимого мужества. Поляки, литовцы и казаки, составлявшие войско Лжедмитрия II, под начальством Яна Сапеги и Лисовского захотели овладеть лаврой, так как она представляла из себя сильную крепость, стоявшую на дороге к Москве.

23 сентября 1608 года гетман Сапега вместе с Лисовским начали осаду Троице-Сергиевой лавры. За высокими, крепкими стенами монастыря укрылись многие жители из окрестных деревень и сожженных посадов. Защитников лавры насчитывалось всего около полутора тысяч человек, в том числе дворян, боярских детей, казаков и до 200 человек монахов, способных носить оружие. Архимандритом монастыря был доблестный старец Иосаф, а воеводами князь Григорий Роща-Долгорукий и дворянин Алексей Голохвастов. Архимандрит Иосаф привел воевод и всех ратников к присяге у гроба преподобного Сергия в том, что они будут биться крепко и «без измены» против врагов.

Проклята, треклята будь,
Ты — Лжедмитрию смогшая быть Лжемариной!

*В. П. Верещагин
(1835—1909), 11 мая 1921*

**Из поэмы «Пожарский, Минин, Гермоген»,
или спасенная Россия**

Погибни тот со срамом вечным,
Кто бед отеческой страны
Быть может зрителем беспечным,
Дремать на лоне тишины.
Когда Отечество в неволе,
Лишенно силы и красы,
Счисляет язвами часы!
Но росс ли создан к рабской доле.
Ярем иноплеменных несть,
Влечь жизнь в бесчестии глубоком,
Тиранов видеть тихим оком
И не подвигнуться на месть?.. [8, 433]

*С. А. Ширинский-Шихматов
(1783—1837), 1807*

**Из стихотворной драмы
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук»**

(Монолог Минина)

Кто на Руси за правду ополчится?
Кто чист пред богом? Только чистый может
Святое дело честно совершить.
Народ страдает, кровь отмщенья просит,
На небо вопиет. А кто подымет,
Кто поведет народ? Он без вождя,
Как стадо робкое, рассеян розно.
Да и не счесть всех дьявольских насилий,
И мук непереносных не исчислить!
И все безропотно и терпеливо
Народ несет, как будто ждет чего.
Возможно ли, чтоб попустил погибнуть
Такому царству праведный господь!
Вон огоньки зажглись по берегам.
Бурлаки, труд тяжелый забывая,
Убогую себе готовят пищу.
Вон песню затынули. Нет, не радость
Сложила эту песню, а неволя.
Неволя тяжкая и труд безмерный,
Разгром войны, пожары деревень,
Житье без кровли, ночи без ночлега.
О, пойте! Громче пойте! Соберите
Все слезы с матушки широкой Руси,

Новгородские, псковские слезы,
С Оки и с Клязьмы, с Дона и с Москвы.
От Волхова и до широкой Камы.
Пусть все они в одну вольются песню
И рвут мне сердце, душу жгут огнем
И слабый дух на подвиг утверждают.
О господи! Благослови меня!
Я чувствую неведомые силы,
Готов один поднять всю Русь на плечи,
Готов орлом лететь на супостата,
Забрать под крылья угнетенных братий
И грудь в бой кровавый и последний.
Час близок! Смерть злодеям! Трепещите!
Из дальнего кремля грозит вам Минин.
А если бог отступит от меня
И за гордыню покарать захочет,
Успеха гордым замыслам не даст,
Чтоб я не мнил, что я его избранник, —
Тогда я к вам приду, бурлаки-братья,
И с вами запою по Волге песню.
Печальную и длинную затынем.
О господи! Грешу я; мал я духом,
Смел усомниться в благости твоей!
Нет, прочь сомненья! Перст твой вижу ясно.
Со всех сторон мне шепчут голоса:
«Восстань за Русь, на то есть воля божья!»
Друзья и братья! Русь святая гибнет!
Друзья и братья! Православной вере,
В которой мы родились и крестились,
Конечная погибель предстоит.
Святители, молитвенники наши,
О помощи взывают, молят слезно.
Вы слышали их слезное прошение!
Поможем, братья, родине святой!
Что ж! Разве в нас сердца окаменели?
Не все ль мы дети матери одной?
Не все ль мы братья от одной купели? [6, 172—173]

А. Н. Островский
(1823—1886)

ВОЗЗВАНИЕ КУЗЬМЫ МИНИНА К НИЖЕГОРОДЦАМ. 1611 г.

Особенно тяжелое время наступило для Руси в 1611—1612 годы. «И было тогда, — говорит современник, — такое лютое время Божьего гнева, что люди не чаяли впереди спасения себе. Чуть не вся земля русская запустела. И прозвал народ это лютое время лихолетьем...»

Все попытки царя Василия Шуйского разгромить Лжедмитрия II успеха не имели. К тому же Польша перешла к открытому наступлению. В 1609 году польский король Сигизмунд III осадил Смоленск. Отдельные отряды польских войск стремительно приближались к Москве. Русские войска возглавил талантливый полководец, племянник царя, воевода М. В. Скопин-Шуйский. В начале 1610 года он разгромил тушинский лагерь самозванца. Лжедмитрий II ушел в Калугу и вскоре был убит. Когда в июле 1610 года польские войска подошли к Москве, бояре свергли Василия Шуйского и насильно постригли его в монахи. Затем он с семьей и братом в качестве пленника был увезен в Польшу, где и умер в 1612 году. Страной стала править Боярская дума, состоявшая из семи знатных бояр во главе с князем Мстиславским. Они решили провозгласить царем польского королевича Владислава. В ночь на 21 сентября 1610 года бояре-изменники открыли ворота и впустили в столицу польские войска. Но москвичи стали оказывать сопротивление интервентам. Поляки разорили Кремль, подожгли город. Три дня бушевал пожар и шла неравная борьба москвичей с захватчиками. Созданное Первое земское ополчение для освобождения Москвы потерпело поражение из-за противоречий между казаками и дворянами. В то же время в Пскове появился новый самозванец. Казацкие шайки ходили по всей стране, грабили и разбойничали. Гибель России казалась неизбежной.

Но тут в разных концах страны нашлись мужественные люди, которые подняли новое ополчение для спасения Родины. Во главе этих людей были патриарх Гермоген, продолжавший действовать из своего заточения, и Дионисий, архимандрит Троице-Сергиева монастыря, с келарем Авраамием Палицыным. Они неутомимо призывали русский народ к спасению веры и Отечества.

Одна из таких грамот попала в Нижний Новгород и была прочитана 25 августа 1611 года в соборе Спаса Преображения протопопом Савой. На всенародной сходке у собора староста нижегородских посадских людей, купец Кузьма Захарьевич Минин, всеми уважаемый за ум и честный нрав, обратился к народу с речью. Он сказал: «Граждане нижегородцы! Если хотим помочь Московскому государству ополчимся стар и млад, найдем людей ратных, не пожалеем ничего, продадим дома свои, заложим жен и детей и выкупим Отечество». Решено было, по его предложению, собирать на содержание народного ополчения в казну со всех «по третьей деньге» (т. е. третью часть имущества). Но желание послужить великому делу было так велико, что тут же многие стали жертвовать гораздо больше.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПОСЛЫ У КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО. 1611 г.

Патриотический призыв Кузьмы Минина к нижегородцам встать на защиту Родины от поляков и русских изменников разошелся

по другим городам и селам. Многие города прислали продовольствие и деньги на ополчение. Пришли отряды добровольцев от народов Поволжья и Севера.

Взявшись за организацию войска, посадские люди долго ломали голову над тем, кому доверить командование. В Смутное время немногие из дворян с воеводским чином сохранили свою репутацию не запятнанной в измене. Нижегородцы решили полагаться лишь на свой опыт и искать «честного мужа, кому забычно ратное дело» среди окрестных служилых людей. Кузьма Минин первым назвал имя стольника князя Дмитрия Михайловича Пожарского, мир подержал его выбор.

Дмитрий Пожарский (1572—1642) из рода стародубских князей, потомок великого князя Всеволода III, к тому времени находился в своем родовом имении Мугрееве Суздальского уезда, где залечивал раны, полученные в предыдущих боях с поляками. Князь Пожарский верно служил законному царю Василию Шуйскому, умело отбивая войска Лжедмитрия II от Москвы. Посла свержения Шуйского с престола он признал временным главой государства, как и все лучшие люди того времени, патриарха Гермогена, а потом сражался в Первом земском ополчении Ляпунова и один из первых пробрался в Москву перед сожжением ее поляками, где доблестно дрался и был тяжело ранен. В 1611 году Пожарскому было около тридцати пяти лет. Глубоко веря в Бога и будучи беспредельно предан Родине, он вместе с тем зорко оберегал честь своего рода и отличался простотой и прямоотой, за что в свое время возбудил ненависть царя Бориса Годунова.

Несколько раз Нижний Новгород присылал послов к Пожарскому, прежде чем стольник согласился принять приглашение возглавить ополчение. Для завершения переговоров Нижний Новгород прислал в Мугреево доброго дворянина Ждана Болтина, печерского архимандрита Феодосия и выборных посадских людей. Дмитрий, сидя в кресле из-за полученных ран, принял предложение нижегородских послов и сказал, что «рад страдать до смерти за веру православную», но при этом потребовал назначить ему в помощники казначея, земского старосту Минина. Нижегородцы одобрили этот выбор. Пожарский и Минин стали руководителями Второго народного ополчения: Пожарский ведал военными вопросами, Минин — хозяйственно-финансовыми.

Под начальством Пожарского и Минина огромное ополчение двинулось на освобождение столицы. Поход Пожарского встретил находившихся в Москве поляков и русских изменников — «чужих и своих воров». Они потребовали от патриарха Гермогена, томившегося в заключении в подземелье Чудового монастыря, оставить ополчение. Гермоген ответил: «Да будут благословенны те,

которые идут для освобождения Москвы» и проклял изменников. Вскоре Гермоген умер мученической голодной смертью. 21 августа 1612 года Пожарский с ополчением подошли к самой Москве. Гетман Ходкевич и осажденные поляки оказали упорное сопротивление. Решающее сражение произошло 24 августа. В течение многих часов воины ополчения сдерживали бешеный натиск польской конницы и пехоты. Но к вечеру поляки начали теснить русских к Москве-реке. В этот момент Кузьма Минин с несколькими сотнями всадников неожиданно ударил по противнику с фланга. Пожарский воспользовался растерянностью врага и поднял главные силы в атаку. Поляки были разбиты. Освобождением Москвы окончились бури Смутного времени.

Земской староста Кузьма Минин, вышедший из церкви, обращается к народу с речью. За ним стоит протопоп Савва Ефимиев, воевода и другие власти. Народ, возбужденный речами Минина, несет на защиту Отечества кто что может. Впереди всех стоит вдова, у которой было 12 тысяч рублей, из них 10 тысяч, она приносит в ларце и жертвует. Нищий снял с себя крест и кладет в общую сокровищницу, даже дети приносят пожертвования. Среди пожертвованных вещей и предметов — кубки, кувшины, блюда, драгоценные вещи, старинная посуда. Сам Минин отдал все свои деньги, украшения жены и даже золотые и серебряные ризы с икон. На эти деньги и сокровища стали набирать ополчение.

В. Е. Савинский
(1859—1937)

Литература

1. *Бальмонт, К.* Серебряный век русской поэзии. — М. : Просвещение, 1993. — С. 49, 52.
2. *Буссов, К.* Стояти заодно. — М. : Молодая гвардия, 1983. — С. 356—357.
3. *Волошин, М.* Избранные стихотворения. — М. : Советская Россия, 1988. — С. 156—158.
4. *Костомаров, Н. Н.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. — М. : Книга, 1990. — С. 563, 571.
5. *Никитин, А.* Хожение за три моря. — М. : Молодая гвардия, 1987. — С. 446.
6. *Островский, А. Н.* Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 172—179.
7. *Пушкин, А. С.* Собрание сочинений. В 10 т. Т. 5. — Л. : Наука, 1978. — С. 198, 207—209, 240—243, 248—249.
8. *Ширинский-Шихматов.* Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 43.
9. *Черникова, Т. В.* История России. 9—17 век. — М. : Дрофа, 1998. — С. 281—282, 284.

От Михаила до Петра

ИЗБРАНИЕ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РОМАНОВА НА ЦАРСТВО. 1613 г.

После освобождения Москвы от польских интервентов истерзанная страна нуждалась в умиротворении и единстве. Перед правительством народного ополчения стала задача восстановления государственной власти и окончательного изгнания польско-литовских и шведских интервентов из Русской земли. Поэтому организаторы второго народного Ополчения Минин и Пожарский в ноябре 1612 года решили созвать представительный Земский собор для выборов государя. Были разосланы грамоты с предложением направить в Москву выборных от дворян, посадских, черносошных и дворцовых крестьян, казаков, стрельцов и других групп населения.

В январе 1613 года собрались на Земский собор члены Освященного собора (высшее духовенство) и Боярской думы, выборные представители от всех сословий. Вопрос об избрании нового царя решался в обстановке острой борьбы. Бояре пытались выдвинуть кандидата из иностранцев, и в первую очередь, польского королевича Владислава, но встретили противодействие со стороны большинства Собора. Не получили поддержки и кандидаты из старых княжеских фамилий. Московские дворяне, поддержанные посадскими людьми и казаками, выдвинули кандидатуру 16-летнего Михаила Романова, сына тушинского патриарха Филарета, в миру — московского боярина Федора Никитича Романова, который в это время был в польском плену. Избрание состоялось 21 февраля 1613 года в Успенском соборе московского Кремля.

Михаил Федорович приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из династии Рюриковичей Федору Ивановичу, сыну Ивана Грозного и Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой.

Во время захвата поляками Москвы Михаил Романов с матерью, инокиней Марфой, находились в Кремле в качестве пленников. После взятия Кремля в октябре 1612 года, юный Михаил отправился с матерью в свои Костромские владения. Мать — инокиня Марфа Ивановна — проследовала прямо в Кострому, а сын остановился в вотчине матери — селе Домнине, где старостой был крестьянин Иван Сусанин.

Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему взойти на престол. Так, польско-литовский отряд, бродивший близ Костромы, искал дорогу в Домнино, чтобы убить новоизбранного царя. Дорогой поляки встретили Ивана Сусанина и попросили провести их к усадьбе Михаила. Сусанин догадался, за-

чем поляки ищут Михаила, и завел их в непроходимый лес. Поляки убили за это Сусанина, но скоро и сами погибли от холода и голода. Михаил немедленно уехал к матери в Ипатьевский монастырь близ Костромы, где за каменными стенами был уже в безопасности.

14 марта 1613 года в Кострому прибыло Великое посольство от Земского собора просить Михаила Федоровича на царство. Во главе посольства находился рязанский архиепископ Феодорит, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын и боярин Федор Иванович Шереметьев. Посольство с крестным ходом, при огромном стечении народа, отправилось в Ипатьевский монастырь к Михаилу. В Троицком соборе послы торжественно объявили старице Марфе и Михаилу решение Земского собора. Мать сначала не соглашалась отпустить сына в Москву, ссылаясь на его молодость, крайне расстроенное состояние государства и на измены русских людей своим последним государям. Тогда послы, духовенство и народ зажгли свечи, подняли кресты и иконы, подошли к царскому месту и со слезами и рыданием стали умолять согласиться и грозить гневом Божиим за отказ. Наконец, Марфа благословила сына на царство иконой Феодоровской Божьей Матери.

Иван Сусанин

«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги! —
Сусанину с сердцем вскричали враги. —
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой, до ночлега.
Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;
Но тем Михаила тебе не спасти!

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует;
Но смерти от ляхов ваш царь не минует!..
Веди ж нас, — так будет тебе за труды;
Иль бойся: недолго у нас до беды!
Заставил всю ночь нас пробиться с метелью...
Но что там чернеет в долине за елью?» —

«Деревня! — сарматам в ответ мужичок. —
Вот гумна, заборы, а вот и мосток.
За мною! в ворота! — избушечка эта
Во всякое время для гостя нагрета.
Войдите, — не бойтесь!» —
«Ну, то-то, москаль!.. Какая же, братцы, чертовская даль!

Такой я проклятой не видывал ночи,
Слепились от снегу соколий очи...
Жупан мой — хоть выжми, нет нитки сухой!» —
Вошел, проворчал так сармат молодой.

«Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли!
Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!»
Вот скатерть простая на стол постлана;
Поставлено пиво и кружка вина,
И русская каша и щи пред гостями,
И хлеб перед каждым большими ломтями.
В окончины ветер, бушуя, стучит;
Уныло и с треском лучина горит.

Давно уж за полночь!.. Сном крепким объята,
Лежат беззаботно по лавкам сарматы.
Все в дымной избушке вкушают покой;
Один, на стороже, Сусанин седой
Вполголоса молит в углу у иконы
Царю молодому святой обороны!..

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом.
Сусанин поднялся и в двери тайком...
«Ты ль это, родимый?.. А я за тобою!
Куда ты уходишь ненастной порою?
За полночь... а ветер, еще не затих;
Наводишь тоску лишь на сердце родных!» —

«Приводит сам бог тебя к этому дому,
Мой сын, поспешай же к царю молодому;
Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей;
Что гордые ляхи, по злобе своей,
Его потаенно убить замышляют
И новой бедою Москве угрожают!

Скажи, что Сусанин спасает царя,
Любовью к отчизне и вере горя.
Скажи, что спасенье в одном лишь побеге
И что уж убийцы со мной на ночлеге», —
«Но что ты затеял? подумай, родной!
Убьют тебя ляхи... Что будет со мной?

И с юной сестрою и с матерью хилой?» —
«Творец защитит вас святой своей силой.
Не даст он погибнуть, родимые, вам:
Покров и помощник он всем сиротам.
Прощай же, о сын мой, нам дорого время;
И помни: я гибну за русское племя!»

Рыдая, на лошадь Сусанин молодой
Вскочил и помчался свистящей стрелой.
Луна, между тем, совершила полкруга;

Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга.
На небе восточном зарделась заря:
Проснулись сарматы — злодеи царя.
«Сусанин! — вскричали, — что молишься богу?
Теперь уж не время — пора нам в дорогу!»
Оставив деревню, шумящей толпой
В лес темный вступают окольной тропой.
Сусанин ведет их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло:

То скроется быстро, то ярко блеснет,
То тускло засветит, то вновь пропадет,
Стоят, не шелохнясь, и дуб и береза;
Лишь стег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

Друг за другом идут в молчанья сарматы,
Всё дале и дале седой их вожатый.
Уж солнце высоко сияет с небес;
Всё глуше и диче становится лес!
И вдруг пропадает тропинка пред ними;
И сосны, и ели ветвями густыми,

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.
Вотще настороже тревожное ухо:
Всё в том захолустье и мертво, и глухо...
«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно! — Сусанин сказал. —

Убейте! замучьте! — моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь; я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит!
И душу изменой свою не погубит». —

«Злодей! — закричали врат, закипев, —
Умрешь под мечами!» — «Нестрашен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»
«Умри же!» — сарматы герою вскричали, —
И сабли над старцем, свистя, засверкали! [6, 66—69]

К. Рылеев



**СОСТАВЛЕНИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ ПРИ ЦАРЕ
АЛЕКСЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ.
1649 г.**

Второму царю из династии Романовых — Алексею Михайловичу, занимавшему престол в 1645—1676 годах, досталось от отца тяжелое наследство. Народ обнищал, города и села были разорены, казна государева пуста, все ушло на войны с соседними государствами. Чтобы пополнить казну, правительство обложило народ тяжелыми налогами — как прямыми, так и косвенными (например, налог на соль в 1646 году был увеличен вчетверо). Это вызвало большое недовольство. Помещики беднели, купцы бросали торговлю, посадские люди, крестьяне, несмотря на запрещение правительства, уходили толпами из городов и деревень и бродили по лесам или бежали в привольные степи по берегам Дона и Волги. По всей Руси происхо-

дили грабежи мирного населения и убийства. А над всем этим разорением стояло взяточничество, неправый суд и самоуправство бояр и воевод. В то время как крестьянство жило надеждой на смягчение крепостной зависимости, дворяне настойчиво требовали ее усиления. Правительство увеличило срок розыска и возврата беглых крестьян до 10 лет, а вывезенных насильно другими земледельцами — до 15 лет.

Опасное для правительства положение сложилось в городах. Посадские люди протестовали против городских феодальных владений, население которых не участвовало в платеже налогов и выполнении натуральных повинностей. В 1648 году в Москве произошло крупное восстание. Несколько дней город находился в руках восставших. В коллективной челобитной, поданной Алексею Михайловичу, ставился вопрос о выборности судей. Царь вынужден был выдать на расправу наиболее ненавистных народу начальников приказа, а своего любимца боярина Б. И. Морозова отстранить от власти. Восстания в 1648 году вспыхивали, во многих других городах России.

В обстановке обострения положения в стране правительство приступило к выработке нового свода законов.

16 июля 1648 года царь Алексей по совету с патриархом Иосифом собрал Земский собор, на котором было принято решение о необходимости составления такого свода законов. Составление свода поручили комиссии из пяти человек — бояр князей Н. И. Одоевского (глава комиссии) и С. В. Прозоровского, окольного князя Ф. Ф. Волконского, дьяков Гаврилы Леонтьева и Федора Грибоедова. Они должны были руководствоваться приговором царя, Боярской думы и Освященного собора, собрать в одно целое статьи из церковных законов и законов греческих царей, а также указы прежних русских государей и боярские приговоры, «справить» их со старыми судебниками, в случае необходимости написать новые статьи.

«Приказ князя Одоевского» и составил Соборное уложение. С начала октября его текст читали царю, членам Земского собора: высшему духовенству, думным и выборным людям. В январе 1649 года Уложение утвердили на соборе, потом отпечатали и разослали по учреждениям страны.

Нормами Соборного уложения руководствовались в России многие десятилетия. Этот акт был направлен на укрепление существующих порядков, защиту власти и собственности. Удовлетворяя требования дворянства, Уложение разрешило передавать поместья по наследству, обменивать их на вотчины. Закон окончательно закрепил крестьян за феодалами. Переходы крестьян от владельца к владельцу были запрещены. Розыск и возврат беглых не ограничивался теперь никакими сроками. Соборное уложение обозначало оформление крепостного права в России. Несмотря на все недостат-

ки и несовершенства, Соборное уложение 1649 года — заметный шаг вперед в развитии отечественного законодательства.

Н. Ф. Некрасов

КАК ЖИВАЛИ В СТАРИНУ ЦАРИ ГОСУДАРИ

В домашней жизни цари представляли образец умеренности и простоты. По свидетельству иностранцев, к столу царя Алексея Михайловича подавались всегда самые простые блюда, ржаной хлеб, немного вина, овсяная брага или легкое пиво с коричневым маслом, а иногда только одна коричневая вода. Но и этот стол никакого сравнения не имел с теми, которые государь держал во время постов. «Великим постом царь Алексей обедал только три раза в неделю, а именно: в четверг, субботу и воскресенье, в остальные же дни кушал по куску черного хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу и пил по стакану полпива. Рыбу он кушал только два раза в Великий пост и соблюдал все семь недель поста... Кроме постов, он ничего мясного не ел по понедельникам, средам и пятницам; одним словом, ни один монах не превзойдет его в строгости постничества. Можно считать, что он постился восемь месяцев в году, включая шесть недель Рождественского поста и две недели других постов». Это рассказывает иностранец. Такое усердное соблюдение постов было выражением строгой приверженности государя к Православию, ко всем уставам и обрядам Церкви. Свидетельство иностранца вполне подтверждается и домашним свидетелем. «В постные дни», говорит он, «в понедельник и в среду, и в пятницу, и в посты, готовят про царский обиход яства рыбные и пирожные с маслом с деревянным и с ореховым, и с льняным, и с конопляным; а в Великой и в Успенев посты готовятся яства: капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, и ягодные яства, без масла, кроме Благовещеньева дня — и ест царь в те посты, в неделю, во вторник, в четверг, в субботу, по одиножды на день, а пьет квас, а в понедельник и в среду, и в пятницу во все посты не ест и не пьет ничего, разве для своих и царицыных, и царевичевых, и царевниных именин».

Впрочем, несмотря на такое постничество и особенную умеренность, за обыкновенным столом государя в мясные и рыбные дни подавалось около семидесяти блюд, но почти все эти блюда расходились на *подачи* боярам и другим лицам, которым государь рассылал эти подачи, как знак своего благоволения и почести. Для близких лиц он иногда сам выбирал известное; любимое блюдо. Подавались сначала холодные и печенья, разное *тельное*, потом жареное, и затем уже похлебки и ухи или *ушное*.

Порядок и обряд комнатного стола заключался в следующем: стол накрывал дворецкий с ключником; они настилали скатерть и ставили судки, т. е. солоницу, перечницу, уксусницу, горчичник,

хреновник. В ближайшей комнате пред столовою накрывался также стол для дворецкого, собственно кормовой поставец, на который кушанье ставилось прежде, нежели, подавалось государю. Обыкновенно каждое блюдо, как только оно отпускалось с поварни, всегда отведывал повар в присутствии самого дворецкого или стряпчего. Потом блюда принимали ключники и несли во дворец в предшествии стряпчего, который охранял кушанье. Ключники, подавая яства на кормовой поставец дворецкому, также сначала отведывали, каждый с своего блюда. Затем кушанье отведывал сам дворецкий и сдавал стольникам нести пред государя. Стольники держали блюда в руках, ожидая, когда потребуют. Кушанье от них принимал уже крайний, охранитель стола, самый доверенный человек, прямо подававший государю яства и питье. Он точно так же отведывал с каждого блюда и потом ставил на стол Государю. То же самое соблюдалось и с винами: прежде, нежели они доходили до царского чашника, их также несколько раз отливали и пробовали, смотря по тому, через сколько рук они проходили. Чашник, отведав вино, держал кубок в продолжение всего стола, и каждый раз, как только государь спрашивал вино, он отливал из кубка в ковш и предварительно сам выпивал, после чего уже подносил кубок царю. Все эти предосторожности установлены были для охраны государева здоровья от порчи. Для вин перед столовою устраивался также особый питейный поставец, т. е. особый стол с полками.

После обеда государь ложился спать и обыкновенно почивал до вечера, часа три. В вечерню снова собирались во дворец бояре и прочие чины, в сопровождении которых царь выходил в верхнюю церковь к вечерни. После вечерни иногда также слушались дела и собиралась Дума. Но обыкновенно все время после вечерни до *вечернего кушанья* или ужина, государь проводил уже в семействе или с самыми близкими людьми. Во время этого отдыха любимейшим занятием государя было чтение церковных книг, в особенности церковных историй, поучений, житий святых и тому подобных сказаний, а также и летописей. Особенно славился такую начитанностью царь Иван Васильевич Грозный.

Кроме чтения, цари любили живую беседу, любили рассказы бывалых людей о далеких землях, об иноземных обычаях и особенно о старине. Царь Алексей Михайлович держал во дворце стариков, имевших по сто лет отроду и очень любил слушать их рассказы о старине. Это были так называемые *верховые* (придворные) *богомольцы*, весьма уважаемые за их благочестивую жизнь и, древность лет. Они жили подле царских хором в особом отделении дворца и на полном содержании и попечении государя. В длинные зимние вечера государь призывал их к себе в комнату, где в присутствии царского семейства, они повествовали о событиях и делах, проходивших на их памяти, о дальних странствиях и походах. Особенное

уважение государя к этим старцам простиралось до того, что он нередко сам бывал на их погребении, которое всегда отправлялось с большим торжеством, обыкновенно в Богоявленском монастыре, на Троицком Кремлевском подворье. Так, в 1669 году, Апреля 9, государь хоронил богомольца Венедикта Тимофеева; на погребении его были: Паисий, патриарх Александрийский, Троицкий и Чудовской архимандриты, десять священников, архидьякон, одиннадцать дьяконов, кроме разных причетников и певчих. Присутствие царя на подобных службах всегда сопровождалось щедрою милостынею, которая раздавалась нищим, разным бедным людям и по тюрьмам колодникам и заключенным. Милостыня раздавалась также в третины, девятины, полусорочины и сорочины — дни, в которые отпевалась обыкновенно панихида по усопшем и делались поминки, весьма щедро государь жаловал и духовенство, бывавшее на этих погребениях.

Верховые, т. е. дворцовые (Верх значило дворец) богомольцы назывались также и *верховыми нищими*; в числе их были и *юродивые*. Царица и взрослый царевны имели также при своих комнатах *верховых богомолиц* и *юродивых*. Глубокое всеобщее уважение к этим старцам и старицам, Христа ради юродивым, основывалось на их святой богоугодной жизни и благочестивом значении, какое они имели для нашей древности. Общество благоговело пред ними, чтило их, как пророков и провозвещателей.

Божьей воли, как неуклонных и нелицеприятных обличителей. Верховые богомольцы певали государю *Лазаря* и вес те духовные стихи, которые, можно еще слышать и теперь от странствующих слепцов. Были еще при царском дворе *слепцы-домрачеи*, которые распевали сказки и былины о богатырях князя Владимира, с игрою на *домре*, струнном инструменте в роде балалайки. Они же играли и русские песни. *Бахари*, сказочники, рассказывали и песни и сказки. Бахарь был почти необходимым лицом в каждом зажиточном доме.

В числе обыкновенных и самых любимых развлечений государя была игра в шахматы и однородная с нею игра в шашки. По свидетельству иностранцев, во дворце каждый день играли в шахматы. Сколько обыкновенно и в какой силе была эта игра можно судить уже по тому, что при дворце состояли на службе особые мастера, токари, которые занимались единственно только приготовлением и починкою Шахматов, отчего и назывались *шахматниками*.

Во дворце была особая *Потешная Палата*, в которой разного рода *потешники* забавляли царское семейство песнями, музыкою, пляскою, танцованием по канату и другими «действиями». В числе этих потешников были: *веселье* (скоморохи), *гусельники*, *скрытчики*, *домрачеи*, *органисты*, *цымбальники* и пр. Во дворце жили также *дураки-шуты*, а у царицы — *дурки-шутихи*, *карлы* и *карлицы*.



Они пели песни, кувыркались и предавались разного рода веселостям, которые служили немалым потешением государеву семейству. По словам иностранцев, это была самая любимая забава царя Федора Ивановича.

Весьма часто государь проводил время в рассматривании разных работ золотых дел мастеров, ювелиров или алмазников, иконописцев, серебряников, оружейников и вообще всех ремесленников, которые что-либо изготовляли для украшения царского дворца или для собственного употребления государя. Зимой, особенно по праздникам, цари любили смотреть медвежье поле, т. е. бой охотника с диким медведем. Раннюю весною, летом и во всю осень они часто выезжали в окрестности Москвы на соколиную охоту. Эта потеха, любимая царя Алексея Михайловича, начиналась нередко с самого утра, до обеда, и продолжалась после обеда до вечера. Вообще лето государь проводил большею частью в загородных дворцах, развлекаясь охотою и хозяйством. Зимой он хаживал иногда сам на медведя или на лося, охотился за зайцами.

Оканчивая день, после вечернего кушанья, государь снова шел в Крестовую и точно так же, как и утром молился около четверти часа. Когда государь почивал один, то в том же покое ложился и *постельничий*, который всегда убирал и охранял царскую постелю, а иногда *стряпчий с ключом*, сохранявший ключ от комнаты, и один или два *стольника*, самых приближенных.

Благочестивые московские цари совершали богомольные выходы в каждый церковный праздник, присутствовали при всех обрядах и торжествах, отправляемых Церковью в течение всего года. Эти выходы придавали церковным празднествам еще более красоты и торжественности. Государь являлся народу в царском великолепии. Самые обыкновенные, почти каждодневные выходы царя к обедне и вообще к церковной службе в известные праздники, были не что иное, как царственные шествия, которые поэтому возвещались нередко, смотря по важности праздника, особым колокольным ионом, который и назывался выходным. Старая запись, об этом говорит, что «когда царь ходит, молиться к праздникам в Кремль, в Китай, в Белый Царев город, в монастыри и по соборам, и к мирским приходским церквам, и в то время звон государю царю един, да празднику три звоны, куда идет». [3, 333—337]

И. Е. Забелин

СТЕНЬКА РАЗИН

Вокруг этой фигуры, — несомненно выдающейся, обаятельной и украшенный ореолом, создалась красивая и яркая легенда, ставшая любимым сюжетом для поэтов и романистов. Еще в наше время она затемняет в глазах большинства настоящий характер драмы,

в которой этой герой рисковала своею жизнью, постоянно отличаясь безусловно большой храбростью. В сущности эпопея его жизни была ничем иным, как обычной историей из жизни разбойников.

Начиная с 1659 года, когда был заперт доступ к морю казакам с Азова, некоторые из них искали выхода через Астрахань. Отсутствие прямого сообщения водою между Волгою и Доном не представляло неодолимого препятствия для легких челноков этих пиратов. Казаки просто перетаскивали их с одной реки до другой.

Но, желая остаться в хороших отношениях с шахом, как и с султаном и с ханом, Москва стала сторожить вход и в Каспийское море. Бродяги тогда поднялись по Волге, набрали себе сторонников в низших слоях побережного населения, вознаградили себя, разграбив купеческие суда и им пришлось выдержать правильную осаду в маленьком форте, выстроенном на притоке реки Иловле, и носившей название «Новой Риги».

Восемь лет спустя предприятие, с которым связал свое имя Стенька Разин, явилось лишь более полным повторением этого довольно вульгарного набега.

В 1666 году шайка в 500 человек под командою «атамана Васки Уса», опустошила области Воронежа и Тулы, подымая крестьян и слуг, избивая помещиков. Донской старшина на жалобу из Москвы ответил, что он произвел суд скорый и справедливый над виновными. Все еще продолжавший свои подвиги, Ус, однако, стуживался перед вождем гораздо большего размаха.

Среднего роста, хорошо сложенный, сильный и смелый, жестокий и хитрый, Степан Тимофеевич Разин, прозванный Стенькой, уже давно пользовался известною репутацией среди своих сотоварищей. Ему, вероятно, было в это время около сорока лет. Посланный в 1661 году к калмыкам с поручением побудить их соединиться с казаками против татар, он с успехом выполнил эту миссию. Осенью того же года он явился в Москве и отправился на поклонение в Соловецкий монастырь.

Эти благочестивые занятия были обычным делом среди казаков, вопреки их образу жизни и их разгульным нравам. В Чернееве (теперешней Тамбовской губернии, Шатского уезда), эти неверующие люди построили даже монастырь и поддерживали его, при чем некоторые из них принимали там схиму, когда лета, болезнь или какая-либо рана делали их неспособными к боевой жизни.

По сведениям иностранных хронистов, служивших несколько позднее в войске князя Юрия Долгорукаго, один брат Степана Тимофеевича был повешен за дезертирство, явившееся результатом отказа в отставки. И тогда Степан и другой его брат Фрол поклялись отомстить за это боярам и воеводам. Однако ни находящиеся в нашем распоряжении документы, ни самая местная легенда не подтверждают этого указания. Достаточно подготовленное указанными

выше обстоятельствами, предприятие Стеньки, вероятно, имело настоящею своею причиною лишь его темперамент, его способность воспользоваться этими обстоятельствами.

Песни о Стеньке Разине

1

Как по Волге-роке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казачи, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,
А глядит на матушку на Волгу.
Как промолвит грозен Стенька Разин:
«Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С глупых лет меня ты воспоила,
В долгу ночь баюкала, качала,
В волновую погоду выносила.
За меня ли молодца не дремала,
Казачков моих добром наделила.
Что ничем тебя еще мы не дарили».
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ею поклонился.

2

Ходил Стенька Разин
В Астрахань-город
Торговать товаром.
Стал воевода
Требовать подарков.
Поднес Стенька Разин
Камки хрущатые,
Камки хрущатые —
Парчи золотые.
Стал воевода
Требовать шубы.
Шуба дорогая,
Полы-то новы,
Одна боброва,
Другая соболья.
Ему Стенька Разин
Не отдает шубы.
«Отдай, Стенька Разин

Отдай с плеча шубу!
Отдашь, так спасибо;
Не отдашь — повешу.
Что во чистом поле,
На зеленом дубе,
На зеленом дубе,
Да в собачьей шубе».
Стал Стенька Разин
Думати думу:
«Добро, воевода,
Возьми себе шубу.
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму».

3

Что не конский топ, не людская молвь,
Но труба трубача с поля слышится,
А погодушка свищет, гудит,
Свищет, гудит, заливаётся.
Зазывает меня, Стеньку Разина,
Погулять по морю, по синему:
«Молодец удалой, ты разбойник лихой,
Ты разбойник лихой, ты разгульный буй
Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю по синему.
Пригоню тебе три кораблика:
На первом корабле красно золото,
На втором корабле чисто серебро,
На третьем корабле душа-девица». [5, 300—303]

А. С. Пушкин

Стенькин суд

Н. Н. Кедрову

У великого моря Хвалынского,
Заточенный в прибрежный шихан,
Претерпевый от змия горынского,
Жду вестей из полуношных стран.
Все ль как прежде сияет — несглазена
Православных церковей лепота?
Проклинают ли Стеньку в них Разина
В воскресенье в начале поста?
Зажигают ли свечки, да сальные
В них заместо свечей восковых?
Воеводы порядки охальные
Всё ль блюдут в воеводствах своих?
Благолепная, да многохрамая...
А из ней хоть святых выноси.

Что-то чую, приходит пора моя
Погулять по Святой по Руси.
Как, бывало, казацкая, дерзкая
На Царицын, Симбирск, на Хвалынь —
Гребенская, Донская, да Терская
Собиралась ватажить сарынь.
Да на первом, на струге, на «Соколе»
С полюбовницей — пленной княжной,
Разгулявшись, свистали да цокали.
Да неслись по-над Волгой стрелой.
Да как кликнешь сподрушных — приспешников
— «Васька-Ус, Шелудяк, да Кабан!
Вы ступайте пощупать помещиков,
Воевод да попов, да дворян.
Позаймитесь-ка барскими гнездами.
Припустите к ним псов полютей!
На столбах с перекладиной гроздами
Поразвесьте собачих детей».
Хорошо на Руси я попраздновал:
Погулял, и поел, и попил,
И за все, что творил неуказного,
Лютой смертью своей заплатил.
Принимали нас с честью и с ласкою,
Выходили хлеб-солью встречать,
Как в священных цепях да с опаскою
Привезли на Москву показать.
Уж по-царски уважили пыткой:
Разымали мне каждый сустав
Да крестили смолой меня жидкою,
У семи хоронили застав.
И как вынес я муку кровавую,
Да не выдал казацкую Русь,
Так за то на расправу на правую
Сам судьей на Москву ворочусь.
Рассужу, развяжу — не помилую —
Кто хлопы, кто попы, кто паны...
Так узнаете: как пред могилою,
Так пред Стенькой все люди равны.
Мне к чему царевать да насиловать,
А чтоб равен был всякому — всяк.
Тут пойдут их, голубчиков, миловать,
Приласкают московских собак.
Уж попомнят, как нас по Остоженке
Шельмовали для ихних утех.
Пообрубят им ручки-ноженки:
Пусть поползают людям на смех.
И за мною не токмо что драния
Гольтыба, а казной расшибусь —
Вся великая, темная, пьяная,

Окаянная двинется Русь.
Мы устроим в стране благолепье вам, —
Как, восставши из мертвых с мечом, —
Три угодника — с Гришкой Отрепьевым,
Да с Емелькой придем Пугачом. [1, 159—161]

*М. Волошин,
22 декабря 1917 г.*

Казнь Стеньки Разина

Как во стольной Москве белокаменной
Вор по улице бежит с булкой маковой.
Ни страшит его сегодня самосуд.
Не до булок...
Стеньку Разина везут!
Царь бутылочку мальвазии выдаивает,
Перед зеркалом свейским прыщ выдавливает,
Примеряет новый перстень-изумруд —
И на площадь...
Стеньку Разина везут!
Как за бочкой бокастой бочоночек,
За боярыней катит боярчоночек.
Леденец зубенки весело грызут.
Нынче праздник!
Стеньку Разина везут!
Прет купец, треща с гороха.
Мчатся вскачь два скомороха.
Семенит ярыжка-плут...
Стеньку Разина везут!!
В струпьях все, едва живые,
Старцы с вервием на вые,
что-то шамкая, ползут...
Стеньку Разина везут!
И срамные девки тоже,
Под хмельком вскочив с рогожи,
Огурцом намазав рожи,
Шпарят рысью — в ляжках зуд...
Стеньку Разина везут!
И под визг стрелецких жен,
Под плевки со всех сторон
На расхристанной телеге
Плыл в рубахе белой он.
Он молчал, не утирался,
Весь оплеванный толпой,
Только горько усмехался,
Усмехался над собой:
«Стенька, Стенька, ты как ветка,
потерявшая листву.
Как в Москву хотел ты въехать!

Вот и въехал ты в Москву...
Ладно, плюйте, плюйте, плюйте —
Все же радость задарма.
Вы всегда плюете, люди,
В тех, кто хочет вам добра.
А добра мне так хотелось
На персидских берегах
И тогда, когда летелось
Вдоль по Волге на стругах!
Что я ведал?
Чи-то очи, саблю, парус да седло...
Я был в грамоте не очень.
Может, это подвело?
Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы,
Приговаривал, ретив:
«Супротив парода вздумал!
Будешь знать, как супротив!»
Я держался, глаз не прятал.
Кровью харкал я в ответ:
«Супротив боярства — правда.
Супротив народа — нет».
От себя не отрекаюсь,
Выбрав сам себе удел.
Перед вами, люди, каюсь,
Но не в том, что дьяк хотел.
Голова моя повинна.
Вижу, сам себя казня:
Я был против — половинно,
Надо было — до конца.
Нет, не тем я, люди, грешен,
Что бояр на башнях вешал.
Грешен я в глазах моих тем,
Что мало вешал их.
Грешен тем, что в мире злобства
Был я добрый остолоп.
Грешен тем, что, враг холопства,
Сам я малость был холоп.
Грешен тем, что драться думал за хорошего царя.
Нет царей хороших, дурень...
Стенька, гибнешь ты зазря!
Над Москвой колокола гудут.
К месту Лобному Стеньку ведут.
Перед Стенькой, на ветру полоща,
Бьется кожаный передник палача, а и руках у палача
Над толпой голубой топор,
Как Волга, голубой.
И плывут, серебрясь, по топору
Струги, струги, будто чайки поутру...
И сквозь рыла, ряшки, хари

Целовальников, менял,
Словно блики среди хмари,
Стенька ЛИЦА увидал.
Были в ЛИЦАХ даль и высь,
А в глазах, угрюмо-вольных,
Словно в малых тайных Волгах,
Струги Стенькины неслись.
Стоит все терпеть бесслезно,
Быть на дыбе, колесе,
Если рано или поздно прорастают
ЛИЦА грозно у безликих на лице...
И спокойно (не зазря он, видно, жил)
Стенька голову на плаху положил,
Подбородок в край изрубленный упер
И затылком приказал: «Давай, топор...»
Покатилась голова, в крови горя,
Прохрипела голова: «Не зазря...»
И уже по топору не струги —
Струйки, струйки...
Что, народ, стоишь, не празднуя?
Шапки в небо — и пляши!
Но застыла площадь Красная,
Чуть колыша бердыши.
Стихли даже скоморохи.
Среди мертвой тишины перескакивали блохи
С армяков на шушуну.
Площадь что-то поняла,
Площадь шапки сняла,
И ударили три раза, клокоча, колокола.
А от крови и чуба тяжеля,
Голова еще ворочалась, жила.
С места Лобного подмоклого туда,
Где гольтьба, взгляды
Письмами подметными швыряла голова...
Суетясь, дрожащий попик подлетел,
Веки Стенькины закрыть он хотел.
Но, напружившись, по-зверьи страшны,
Оттолкнули его руку зрочки,
На царе от этих чертовых глаз
Зябко шапка Мономаха затряслась,
И, жестоко, не скрывая торжества,
Над царем захохотала голова!..

Е. Евтушенко

ВОЕННАЯ ГЕРОИКА

Много исторических песен, посвященных военной героике, в XVII веке было сложено среди казаков. До XVII царское правительство не могло подчинить себе казацкие общины, создававшиеся

недовольными ростом эксплуатации и крепостнического гнета крестьянами и «работными людьми», бежавшими в районы Дона и Поволжья, которые постепенно стали центрами народных выступлений. Казачье войско боролось с турецкой и польской агрессией, казаки трижды отвоевывали у турок стоявшую в устье Дона крепость Азов (1590, 1637 и 1696 гг.) — события, которые были широко отражены в литературе и фольклоре. Азов был важным стратегическим и торговым пунктом при выходе в море и русский народ придавал этой крепости большое значение.

В песне «На славным тихим Дону, во Черкасском славном городе» казаки про Азов-город говорят:

Да не дай же, боже, уму-разуму
Как турецкому шельме паше,
Не построил бы он своей башни
На Узбеке славном Калаче,
Не заставил бы свои он цепи
Через батюшку он синий Дон,
Да нельзя нам будет казаченькам
По тихому Дону погулять,
Нам ни лодочкой, ни корабличком,
Ни сухим бережочком.

В песне отмечено значение, которое имел Азов в осуществлении набегов турок-османов и крымцев на русские земли. «Из черного моря» турецкие корабли идут к русским землям. «Персидский шах говорит турецкому королю»:

Как не полно та тебе турецкий король,
Со белым та царем тебе воевать.
Время тебе, турецкий король,
Со белым царем помириться.

Султан отвечает:

— Как пройду я мать силу Расеюшку,
Тогда я с белым царем помирюся.

В центре этих песен стоит образ находчивого, умного, уверенного в своих силах простого воина-казака, который в борьбе с врагами может оказать помощь самому царю. В песне «Взятие Азова» появляется распространенная в позднейшем фольклоре ситуация государь просит у князей и бояр совета, как взять крепость. Бояре и князья не дают ответа — «тулятся» один за другого. Смело выступает казак. Он предлагает взять Азов-город хитростью. Царь следует его совету.

Пятьсот они тележек снарядили,
По пяти туды казаков положили,

Они черными юфтами накрывали,
Как булатными гвоздцами обивали,
Еще они другие пятьсот тут снарядили,
Мякотным-то товаром нагрузили,
И туды же к Азову пропустили...

Исторические песни допускают вольное истолкование событий, им присущ элемент фантазии. Исторически достоверно, что во время осады Азова казаки подвели под крепостную стену подкоп, взорвали мину и ворвались в город.

Исторические песни содержат поэтический рассказ о гибели атамана. Сидя в темнице в ожидании казни, Степан Разин просит:

Схороните меня, братцы, между трех дорог:
Меж московской, астраханской, славной киевской,
В головах моих поставьте животворный крест,
В ногах мне положите саблю острую,
Кто пройдет или проедет, остановится,
Моему ли животворному кресту помолится,
Моему ли животворному кресту помолится.
Моей сабли, моей острой напужается...

Погребение на перекрестках дорог, по суеверным представлениям, предполагало скорое воскрешение умершего: могила была у креста, образуемого дорогами.

Образ Разина наиболее поэтический в русском фольклоре. Он воплотил в себе многие яркие черты народного характера.

Разин не скрывал своего «простого звания», говорил, что он — атаман. (Пугачев уже называл себя «ампиратором».) [4, 36—37, 41]

ПАТРИАРХ НИКОН ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ. НАЧАЛО РАСКОЛА. 1654 г.

Одним из самых близких к царю Алексею Михайловичу людей был некоторое время (1652—1658 гг.) патриарх Никон, человек властолюбивый, с твердым и непреклонным характером. Никон, в миру Никита, родился в 1605 году в мордовском селе

Вельдеманове Нижегородского уезда в семье крестьянина Мины. Рано научившийся грамоте, он с детских лет пристрастился к чтению священных книг и житий святых. Достигши 12 лет, он ушел в Макарьевский Желтоводский монастырь послушником. В двадцать лет по настоянию родственников женился и стал сельским священником. После смерти детей в раннем возрасте жена его ушла в монастырь, а сам он постригся в монахи под именем Никон. В 1643 году Никон был избран игуменом Кожеозерского монастыря. Вскоре новый игумен стал многим известен, «слава о нем пошла далеко». В 1646 году Никон был принят молодым царем Алексеем



Михайловичем. Величественная наружность, умные и увлекательные речи произвели сильное впечатление на царя. Вскоре он был назначен архимандритом Новоспасского монастыря в Москве, где находилась усыпальница рода Романовых, потом митрополитом в Новгород (1648 г.).

В 1652 году, после смерти патриарха Иосифа, собор и духовенство по просьбе царя избрали патриархом Никона. Никон приобрел почти неограниченное доверие царя Алексея Михайловича. Многие знатные бояре были недовольны столь стремительным возвышением некогда безвестного монаха.

При Никоне произошло очень важное событие в русской истории — начался раскол церкви из-за исправления богослужебных книг, а в связи с этим и некоторых вошедших в обычай обрядов. На Руси в течение нескольких столетий богослужебные книги переписывались от руки. Переписчики допускали пропуски, неточности, ошибки. При проверке оказалось, что русские церковные книги значительно отличаются от греческих образцов. В различных местах России священники по-разному совершали обряд богослужения. Для повышения авторитета церкви важно было установить единообразие церковных книг и обрядов.

За проведение церковной реформы взялся патриарх Никон со свойственной ему энергией и настойчивостью. По его приказу в Москву отовсюду — из Греции, с Афона и из других мест — привозились древние греческие и славянские рукописи. Никон сам приступил к проверке, чтобы установить, не уступила ли в чем Русская Православная церковь от греческих традиций. И вскоре убедился в несходстве славянского текста «Символа веры» с греческим. Необходимо было устранить все несогласия нашей церкви с греческою, чтобы они не повели к серьезным столкновениям и даже к разрыву между обеими церквями. И Никон начал свое великое дело. Для изменения канонического обряда, складывавшегося веками, и одобрения исправленных книг требовалось благословение Церковного собора. И в 1654 году патриарх и царь созывают такой собор, который проходил в царских палатах.

На соборе патриарх Никон предложил одобрить переведенные церковные книги с греческих и древнерусских оригиналов и установить единый порядок богослужений. Собор утвердил предложенную патриархом реформу. По реформе изменились некоторые религиозные правила. Верующим предлагалось креститься не двумя, а тремя пальцами, были заменены некоторые иконы. Вносились изменения в церковные обряды, в одежду священников. Изменились тексты некоторых молитв и церковных песнопений. Эти реформы вызвали сопротивление части духовенства и мирян. Появилось течение так называемых старообрядцев, которые не подчинились Никону и придерживались старых правил и обрядов. В русской церкви

возник раскол. Самым непримиримым противником нововведений патриарха стал протопоп Аввакум.

А. Д. Кившенко (1851—1895)

Суриков

«Боярыня Морозова»

Попрощаться с утренней Москвою
Женщина выходит на крыльцо.
Бердыши тюремного конвоя
Отражают хмурое лицо.

И широким знаменьем двуперстым
Осняет шапки и платки.
Впереди — несчитанные версты
И снега, светлы и глубоки.
Перед ней склоняются иконы,
Люди — перед силой прямоты
Яростно земные бьют поклоны
И рисуют в воздухе кресты.

И над той толпой порабощенной,
Далеко и сказочно видна,
Непрощающей и непрощенной
Покидает торжище она.

Точно бич, раскольничье распятье
В разъяренных стиснуто руках,
И гремят последние проклятья
С удаляющегося возка.

Так вот и рождаются святые —
Ненавидя жарче, чем любя.
Ледяные волосы седые
Пальцами сухими теребя. [8, 45]

Варлам Шаламов

Женский элемент в расколе

Аввакум часто говорить о Троице совершенно не божественного происхождения, Этим именем он называет трех женщин, игравших важную роль внутри зарождавшейся коммуны. Он называет эту троицу также «святою, блаженною и мученическою» или символизирует их в трех драгоценных камнях: в яхонте, в изумруде и в яшме. Это были Федосья Морозова, урожденная Соковнина. Ее сестра княжна Евдокия Урусова и жена одного стрелецкого полковника Мария Данилова. Все они подпали под влияние некоей Маланьи, монахини того Вознесенского монастыря, где Аввакум пользовался

одно время влиянием, это была таинственная личность, о которой до нас не дошли точные сведения.

Выйдя замуж в семнадцать лет и овдовев в тридцать, боярыня Морозова познакомилась с Аввакумом двумя годами позже по его возвращении из Сибири, и уже вся преданная строгому соблюдению религиозных обрядов, при громадной религиозной экзальтации, она была одной из самых горячих сторонниц «апостола». Морозовы были очень близки к трону. Зять царя, брат мужа Федосьи Прокопьевны, Борис Иванович покрывал свою семью блеском этого союза и престижем совершенно исключительного положения. Высокопоставленные при дворе, обладая значительным состоянием, ее родители пользовались самою завидною участью, но Федосья Прокопьевна никогда ею не пользовалась.

Удаленная от общественной жизни, московская женщина не имела, вне религии и нравственности, другой сферы, где бы она могла эволюционировать, проявить какую-либо деятельность. Домострой заключал ее в круг, откуда должно было ее вывести лишь новаторское течение семнадцатого века, проломив стену древней традиции. Но было неизбежно, что и она смутилась на пороге нового мира, который призывал ее и что эмансипация сначала смутила, а затем вооружила против нее печальные затворы мрачных покоев.

Федосья Прокопьевна была убежденной сектанткой и горячей сторонницей аскетической жизни. После молитв и благочестивых чтений с самого раннего утра, она посвящала долгое время пунктуальному исполнению своих обязанностей хозяйки дома. Внимательно относясь как к нуждам, так и к проступкам своей многочисленной челяди или своих крестьян, она прибегала по отношению к ним к правам патриархальной юрисдикции, «наказывая одних палками», по свидетельству Аввакума, «побуждая других добротой и любовью к исполнению воли Божией». Остаток своего времени она посвящала благотворительности. Она пряла, ткала полотно и шила рубахи, раздавая их нищим на улицах Москвы. Тайком, сопровождаемая верною служанкою, она посещала по ночам тюрьмы и госпитали и распределяла помощь и натурою и деньгами.

Большая часть ее имущества оказалась поглощенной такою благотворительностью. Она разделила остаток его между огромною толпою своих гостей обоего пола, собравшихся в ее дворце, больных, увечных и идиотов, среди которых находилось два юродивых, Феодор и Киприан, призванные сыграть известную роль в истории Раскола. Федосья Прокопьевна ела вместе с ними из одной чаши. Она уделяла свои заботы всем, сама обмывала раны некоторых из них и кормила их из своих рук.

Она носила на себе власяницу, проводила часть ночи в молитве и даже отказалась прибавлять мед в свой квас. Аввакум в свое пребывание в Москве, а позже, переписываясь с нею из Пустозерска,

в этом смысле направлял эти самостоятельные наклонности молодой женщины. «У нас тут иногда не бывает воды, а мы между тем живем, — писал он ей, — почему же вы лучше нас, хотя и боярыня? Бог разостлал одно небо над нашими головами». Это, однако, не мешало ему быть очень чувствительным к щедрой денежной помощи, которую боярыня оказывала его семье. Не переставая прославлять по этому поводу щедрость благотворительницы, он все-таки не воздерживался от грубостей, напоминая ей при случае, «что у бабы волос долог, да ум короток». Он был по своему ловкий куртизан.

При таком образе жизни Федосья Прокопьевна мало-помалу была вынуждена порвать все другие связи дружбы или даже родства. Княгиня Урусова избежала такой немилости, лишь после того, как последовала примеру своей сестры; но та не могла простить своему двоюродному брату, Михаилу Ртищеву, его снисходительный отзыв о Никоне. Желая совратить ее с намеченного ею пути, он попробовал указать на интересы ее единственного сына, карьеру которого она рисковала скомпрометировать.

— Я люблю больше Христа, чем моего сына, — ответила она.

Когда этот сын вырос, его мать, в 1671 году, тайно постриглась в монахини под именем Феодоры и оставила управление своим домом. Эта тайна не могла долго сохраняться. Через год, когда Алексей праздновал свой брак с Наталией Нарышкиной, боярыня Морозова отказалась принять участие в празднествах, и внимание государя было направлено на маленькую группу женщин, где до сих пор свободно производилось исповедание и распространение Раскола. Долго задерживаемая гроза наконец разразилась. Князь Петр Урусов, не зная о том, что и его жена принимает участие в опальной общине, сообщил ей, что Федосья Прокопьевна будет арестована. Княгиня попросила позволения пойти проститься со своего сестрою и уже более ее не покидала. Их обеих арестовали ночью, увезли в подземную тюрьму, потом разделили. Переходя из одной тюрьмы в другую, проходя мимо царского дворца и думая, что Алексей смотрит на нее, Федосья Прокопьевна подняла с усилием свою руку, отягченную цепями, и осенила себя двуперстным крестом.

Обе сестры жили около года, заключенные в двух монастырях, где строго охранялись, и несмотря на это находили средство видаться друг с другом. Более или менее преданные расколу, сторожа и монахини ухитрились не выполнять приказов своих начальников. Некоторые священники из их лагеря даже посещали арестованных, и по легенде даже сам Алексей часто ездил в тот монастырь, где была заключена княгиня Урусова. Подолгу простаивая под окнами ее кельи, он сожалел ее, говоря, что не знает, действительно ли она страдает за правду.

Из всех своих богатств боярыня Морозова не сохранила ровно ничего. Все было конфисковано. Сын ее умер с горя. Она же не сла-

бела. Назначенный еще недавно патриархом, новгородский митрополита Питирим, вмешался в ее пользу и льстил себя надеждой, что приведет ее на добрый путь.

— Вы не знаете, что это за женщина, — сказал ему Алексей. Впрочем попытайтесь!

Патриарх истощил все свое красноречие с Федосьей, мягко предлагая ей исповедаться и причаститься.

— Мне некому исповедаться, ни причаститься.

— Есть достаточно священников в Москве!

— Ни одного хорошего!

— Я вас сам исповедаю...

— Вы ничем не отличаетесь от других; у вас тиара римского папы.

Одев свои священные одежды, Питирим велел принести святое муро. Оно служило для исцеления людей, одержимых безумием. Боярню Морозову пришлось внести в комнату патриарха. Она говорила, что не в состоянии держаться на ногах. Но она притворялась, потому что не хотела оставаться стоя перед никонианцами. В 1667 году во время собора, судившего его, Аввакум тоже сделал вид, что хочет лечь. Вдруг крутицкий митрополит в качестве ассистента патриарха подошел к ней с жезлом, омоченным в священное масло, и хотел с нее снять головной убор. Федосья Прокопьевна вскричала:

— Не трогайте мена! Не заставляйте погибнуть бедную грешницу!

Она так сильно отбивалась, что, согласившись с царем и уступая своему гневу, Питирим велел выгнать вон «бешеную». По словам Аввакума, стрельцы, караулившие несчастную, выполняя приказание, вытащили ее во двор, схватив ее за цепь, висевшую у ней на шее, «да так, что она пересчитала головою все ступени лестницы».

В свою очередь княгиня Урусова подверглась той же пытке, но, сорвав покрывало, покрывавшее ее голову, что считалось в то время бесстыдством, она вскричала:

— Что вы делаете, бесстыдные люди! Разве не видите, что я женщина?

На следующую ночь обе сестры, как и Мария Данилова, были подвергнуты допросу в присутствии князей Ивана Воротынского и Якова Одоевского и дьяка Думы, Иллариона Иванова. Раздетые до пояса, они подверглись вздергиванию на дыбу и испытанию огнем, но не проявили ни малейшей слабости. С вывихнутыми руками, со спинами, покрытыми ужасными ранами, они оставались три часа на снегу, не обратившись, по свидетельству Аввакума, ни с одной жалобой к своим мучителям.

Алексей был смущен, патриарх высказался за применение закона, и монахиня Маланья объявила своим сотоваркам, что они будут

неприменно сожжены. Но было не так легко применить к Морозовой такое наказание! Бояре взволновались, и Печерский монастырь, где была заключена Федосья Прокопьевна, стал предметом тревожных манифестаций. Перед его воротами ежедневно происходили бурные собрания. Сестра царя, особенно нежно любимая им Ирина, упрекала Алексея в жестокости, припоминала ему заслуги Бориса Морозова, в котором он видел второго отца. Судя по легенде, Алексей еще раз пытался перейти к увещаниям. Один стрелецкий капитан получил приказ предложить Федосье только поднять руку с тремя сложенными пальцами, обещая ей, что в таком случае царь пришлет ей свою собственную карету с великолепными лошадьми и свитой из бояр для возвращения домой.

— У меня были великолепные экипажи, — возразила она — и я о них не сожалею. Велите меня сжечь: это единственная честь, которой я не испытала и которую сумею оценить.

Этот эпизод кажется сомнительным, по крайней мере в подробностях. Государь, без всякого сомнения, послал бы для выполнения поручения более достойного посредника. Но Федосья не была сожжена. Ее отправили в Боровск вместе с обеими подругами. Три эти женщины там жили изолированно в тюрьмах, вырытых в земле, в землянках и, так как они упорно держались своего, то им давали с каждым днем все меньше пищи. Страдания их возбудили общую симпатию, а в недрах Раскола Аввакум деятельно восхвалял их достоинства. Сравнивая их теперь с «стоглазыми херувимами», с «шестикрылыми серафимами» и еще с Афанасием Александрийским и св. Григорием, он почти дошел до их обоготворения. Особенно Федосья возбуждала, в нем удивление и страстное поклонение. Уделяя ей особое место в «единстве божественной троицы», назвав ее благословенной среди всех женщин, он сравнивал ее с Христом и примешивал к этим крайним гиперболам более простые звуки, исходившие из глубины его сердца.

— «Милый друг, живы ли вы еще или вас сожгли, или задушили? Я ничего не знаю, я ничего не слышу! Жива ли она? Или она мертва?»

Литература

1. *Волошин, М.* Избранные произведения. — М. : Советская Россия, 1988. — С. 159—161.
2. *Евтушенко, Е.* Избранные произведения. Т. 1. — М. : Художественная литература, 1975. — С. 414—418.
3. *Забелин, И. Е., Костомаров, Н. И.* О жизни, быте, нравах русского народа. — М. : Просвещение, АО «Учебная литература», 1996. — С. 333—337.
4. *Кузьмин, А. И.* Военная героика в русском народном творчестве. — М. : Просвещение, 1981. — С. 36—37, 41.
5. *Пушкин, А. С.* Собрание сочинений В 10 т. Т. 2. — Л. : Наука, 1977. — С. 300—303.

6. *Рылеев, К.* Путешествие в страну поэзии. — Лениздат, 1979. — С. 66—69.
7. *Чистяков, А. С.* История Петра Великого. — Изд-во Буклет, 1992. — С. 34—42, 144—164, 180—184.
8. *Таламов, В.* Стихотворения. — М. : Советский писатель, 1988. — С. 45.

Софья

Стрелецкое сказание о царевне Софье Алексеевне

Как за чаркой, за блинами
Потешались молодцы.
Над потешными полками
Похвалялися стрельцы:

«Где уж вам, Преображенцы
Да Семеновцы, где вам, —
Мелочь, Божий младенцы,
Нам перечить, старикам!

С слободой своей немецкой
Да с своим царем Петром
Мы, мол, весь приказ стрелецкий,
Всех в бараний рог согнем!

Всех — и самую царевну...»
«Нет, уж тут, голубчик, врешь!
Нашу Софью Алексевну
Обойдешь да не возьмешь!

Даром что родилась девкой —
Да иной раз так проймет
Молодецкою издевкой,
А как в духе, да взмахнет

Черной бровью соболиной —
Пропадай, богатыри!
Умер, право б, за едино,
Если б молвила: умри!..

Грех бывал и между нами.
Как о вере вышел спор,
И ходили с чернецами
В царский Кремль мы на собор.

Бунтовское было дело!
Да ведь сладила! Как раз
Словом вышибить умела
Дурость всякую из нас!

Будем помнить мы дни оны!..
Вышли наши молодцы;
Впереди несут иконы
Со свечами чернецы...

Не сказали бы, так узнала б
Вся Москва их: старики!
Не наотмашь, низко на лоб
Надевали клобуки;

Не развалисты в походке,
А согбенные идут;
Не дерут, разиня глотки, —
Тихим голосом поют;

Лица постные, худые,
Веры точно, что столпы...
Уж не толстые, хмельные
Никоньянские попы!..

Умилился люд московский,
Повалил за ними, прет,
И на площади кремлевской
Что волна забил народ.

А уж там, во Грановитой,
Все нас ждут: царевны, двор,
Патриарх, митрополиты,
Освященный весь собор.

Старцы свечи возжигали,
И Евангелье с крестом
На амвоны полагали,
И царевне бьют челом:

“Благоверная царевна!
Солнце Русския земли!
Свет София Алексевна,
Государыня! Вели,

Чтоб у нас быть рассмотренью
С патриархом о делах
По церковному строенью
И о Никоновых лжах!

Процветала церковь наша,
Аки райский крин, полна
Благодати, яко чаша
Пресладчайшего вина!

Утверждалася на книгах,
Их же имем от мужей.
Проводивших жизнь в веригах
И в умертвии страстей;

Их же чтением спасались
Благоверные цари,
И цвели, и украшались
По Руси монастыри;

Но реченный Никон волком
Вторгся в оный вертоград
И своим безумным толком
Ниспроверг церковный лад!

Аки римская блудница,
На Драконе восседа,
Рек «Несь Бога! (кровопийца!)
Аз есмь Бог, и вся моя!»

И святые книги рушил...
Ну и начал все мутить...»
Патриарх их слушал, слушал,
Подымался говорить, —

Да куда!.. Из-за владыки
Ну выскакивать попы...
Брань пошла, мятеж и крики!
На дворе — ревут толпы,

Вкруг царевен — натерпелись
Уж бедняжки! — мужики,
Чернецы орут, зарделись,
Поскидали клобуки,

Все-то с взбитыми власами,
Очи кровью налиты.
И мелькают над главами
Палки, книги и кресты!..

Ждет царевна не дождется,
Чтоб затихли, то вперед,
Словно лебедь, к ним рванется,
Образумливать учнет.

«Замутили царством бабы, —
Голосят кругом, — ахти!
Государыням пора бы
В монастырь давно идти!»

Слыша то, и глянув гневно,
И отвинув трон золотой,
Вся зардевшись, царевна
Удалилась в свой покой,

С барабанным вышли боем
Из Кремля мы: вдруг приказ —
Чтоб к царевниным покоям
Выслать выборных тотчас.

Ночью, с фонарями, ровно,
Тихо вышла на крыльцо.
Так-то ласково-любовно
Обратила к нам лица.

Видел тут ее я близко:
Белый с золотом покров,
А на лбу-то — низко, низко
Вязь из крупных жемчугов...

«Если мы вам неуютны, —
Говорит, — весь царский дом,
Мы объявим всенародно,
Что из царства вон уйдем!

У Волохов иль Цесарцев
Где-нибудь найдем приют...
Вы сменяли нас на старцев,
Давних сеятелей смут, —

Пусть на них падет и царство!
Но в вину не ставьте нам,
Коль соседи государство
Все растащат по клочкам.

Коль Поляки с ханом крымским
Русь поделят меж собой:
Поклоняйтесь папам римским!
Басурманьтесь с Татарвой!

Мы в церквах положим вклады
И поклонимся мощам,
Да и с Богом!»... Всей громадой
Пали мы к ее ногам.

«Что ты, матушка, какое
Слово молвишь, — говорим; —
Слово — самое пустое!
Нешто мы того хотим!

Знаем мы, без государей
Каковы дела пойдут.
Заедят народ бояре
Да в латинство поведут!..

Все те старцы — лиходеи!
Чтобы пусто было им!
Нешто мы архиереи?
Что мы в книгах разглядим?
Ты уж смилуйся, пожалуй,
Хоть жалеючи земли!..
А за грубость — нас до малу
Жестоко казнить вели!»

Ждем: что скажет?.. И сказала:
«Встаньте! верных Россиян
Вяжу в вас! Я так и знала!..
Бойся ж нас ты, крымский хан!..

Пир готов, а в гости будем!»...
Мы — «ура!» на весь народ,
А она начальным людям
«Выйти, — крикнула, — вперед!»

И велит дьякам приказным
Награждать кого казной,
А кого именем разным,
Соболями аль землей,

А кого боярским саном,
А для прочих молодцов,
Говорить: «Три дня быть пьяным
С наших царских погребов!»

И была гульба в столице!
Будет помнить царский град!..
Чернецы ж сидят в темнице,
И сидят, стрельцов корят:

«Так-то веру отстояли
Вы, стрелецкие полки!
Прогуляли, променяли
На царевы кабаки!»

Ладно, братцы! Ши вам с кашей!
Что, брат, скажешь? хороша?..
Лучше нет царевны нашей!
Вот, как есть, совсем душа! [4, 105—107]

История Петра Великого

Неудовольствие стрельцов выразилось еще в царствование царя Феодора. Оно не утихло и после его смерти. Напротив: шестнадцать стрелецких и один солдатский — Бутырский полк написали челобитные, жалуясь на своих полковников, и шумными толпами окружили дворец.

Бояре испугались грозных кликов буйной, вооруженной толпы и, не разбирая, кто прав, кто виноват, отставили полковников, приказали насчитанные на них стрельцами деньги взыскать с них, а самих за притеснения стрельцов наказать батожем. Началась кровавая расправа. Толпы стрельцов теснились перед Разрядною избою, где полковников держали на правее; т. е. били палками часа по два, пока они не уплачивали поданных на них счетов, которые иногда доходили до 2000 рублей, или червонных. Все делалось как бы по приказанию правительства, но в действительности по прихоти стрельцов, потому что полковников держали на правее, пока стрельцы не скажут: довольно!

В таком настроении были стрельцы; их не трудно было взволновать еще больше и двинуть даже на законные, выше поставленный лица. Честолюбивая царица Софья и ее родственники и приверженцы, Милославские, воспользовались этим настроением буйных стрелецких полков.

Царица Софья ненавидела свою мачеху Наталью Кирилловну и ее родственников, Нарышкиных и боярина Матвеева; кроме того, ей хотелось самой сделаться правительницей государства, устранить Петра и управлять Русью вместо неспособного, больного Иоанна. Буйство стрельцов, их расправа с полковниками указали ей путь, которым она может достигнуть власти. Она в слободы посылала доверенных людей, которые распускали слух о том, что Петр — царь незаконный, что престол следует по всем правам старшему брату, что Нарышкины злобствуют на стрельцов и, как только Матвеев возвратится из ссылки, взыщут с них за все бесчинства и жестокости с полковниками.

Стрельцы готовились к бунту. Когда Матвеев вернулся в Москву, у заговорщиков, Хованского, Милославских и других, все было готово: медлить нельзя было; Матвеев был опасный враг; ему нельзя было дать времени осмотреться и принять меры против стрельцов. День убиения царевича Димитрия, 15 Мая, был назначен, как день бунта. Утром рано по стрелецким полкам проскакали Милославский и Толстой с криком:

— Нарышкины задушили царевича Иоанна. Идите в Кремль на службу царскую! Спасайте Русь!

Стрельцы выбежали из своих домов, ударили в набат, вооружились, взяли пушки и с барабанным боем, без полковников и полу-

полковников двинулись в Кремль, при неистовых криках и ругательствах. Матвеев в это время был в царской думе и вместе с боярами сходил с лестницы, чтобы отправиться домой; но на лестнице встретил его князь Урусов со словами:

— Стрельцы и солдаты бунтуют; они вошли в Земляной город и идут в Белый.

Матвеев поспешно пошел назад в царские покои и сказал царице об угрожающей опасности; немедленно Стремянному полку дано было приказание запереть все кремлевские выходы и входы, но было поздно: стрельцы уже овладели воротами.

Набат, барабанный бой и неистовые крики раздавались в Кремле. Матвеев и бояре послали за патриархом: он пришел вместе с посланным; между тем бояре и царица положили вывести царя и царевича на крыльцо, показать их стрельцам и таким образом отнять у непокорных причину к буйству. Царица взяла царя за руку одной рукой, а царевича другой, и вместе с ними, с патриархом и боярами вышла на Красное крыльцо. Это неожиданное зрелище поразило толпу и она притихла.

— Что ж это такое? — говорили в толпе, — царевич жив? Да правда ли это? Нет ли тут подлога? Нет ли обмана? — слышалось со всех сторон.

Несколько стрельцов притащили лестницы, приставили их к крыльцу, взлезли на них и, приставив лицо к самому лицу царевича Иоанна, спрашивали:

— Впрямь ли ты царевич Иоанн Алексеевич? Кто из бояр-изменников тебя изводит, кто хочет погубить тебя?

— Меня никто не изводит, никто губить не хочет, и я ни на кого жаловаться не могу! — отвечал Иоанн.

Эта минута могла спасти многих; стрельцы колебались; они видели, что их обманом завлекли в Кремль; они готовы были возвратиться домой. Заговорщики не дремали, они видели, что стрельцы колеблются и готовы отступить, и ежели в этот день ничего не выйдет, то надобно будет от всего отказаться, потому что в другой раз стрельцов не поймашь на тот же обман. В задних рядах послышались крики:

«Да, царевич еще жив, но его хотят извести, пусть выдадут царских недоброхотов и изменников Матвеева и Нарышкиных». «Нарышкин Иван примеривал уже царский венец, он хочет быть царем на Руси, смерть ему, изменнику!»

Это была искра, воспламенившая остывающих мятежников; к ним сошли бояре уговаривать и успокаивать их, но они волновались пуще прежнего и обратились с требованием, чтобы великий государь приказал выдать им бояр Ю. А. Долгорукого, князя Г. Ромодановского, М. Ю. Долгорукого, Кириллу Полуектовича Нарышкина, отца царицы и ее брата, Артамона Сергеевича Матвеева,

И. М. Языкова и многих других бояр. На это им отвечали, что этих бояр теперь пег в Кремлевских палатах и потому их выдать нельзя; но этот отказ раздражил стрельцов, и они начали кричать. Князь Черкасский принял усовещивать их, но они затолкали его и разодрала на нем кафтан. В это мгновение Матвеев сошел с крыльца, подошел к решетке и начал говорить с ними; он припомнил им, как стрельцы всегда верно служили царю, как укрощали бунты, как всегда были правдивы и храбры и как его удивляет их теперешний мятеж, которым они готовы помрачить свою прежнюю славу. Слова Матвеева подействовали, буйные крики затихли, и многие просили Матвеева, чтобы он замолвил за них слово перед царем и оправдал их. Напрасно Хованский делал стрельцам знаки, чтобы они бросились на Матвеева, — они не двигались с места, и Матвеев возвратился на лестницу, чтобы донести царице о том, что делалось.

Однако заговорщики не теряли времени: они отобрали самых отчаянных и свирепых стрельцов и повели их в обход через сени Грановитой палаты и Красное крыльцо, в тыл к Матвееву. В то же время и князь Михаил Долгорукий своею горячностью испортил общее дело; он на них раскричался тоном начальника, бранился, приказывал тотчас разойтись по домам и грозился жестоко наказывать непокорных. Стрельцы не любили и не уважали Долгорукого; этот начальнический тон, эти ругательства раздражили их; они вышли из себя, вломились на крыльцо, схватили Долгорукого и сбросили его вниз на острия подставленных копий, и полумертвого изрубили бердышами. Толпа опьянела при виде первой крови; в то же мгновение, из сеней Грановитой палаты на Красное крыльцо взбегают рассвирепевшие стрельцы, схватывают Матвеева; царица и князь Черкасский хотели защитить его, но стрельцы вырвали его у них из рук и сбросили на площадь, где его изрубили в мелкие куски.

Патриарх было захотел остановить убийц, заговорил с ними, но ему отвечали: «Не нужно нам никаких советов, мы сами разберем, кто нам надобен, кто нет!» и, наклонив копыя, с шумом и гамом бросились во дворец отыскивать изменников. Наталья Кирилловна, вся в слезах, схвативши сына, ушла в Грановитую палату; вслед за нею все разбежались, так что все двери и входы Кремлевские остались незащищенными.

Стрельцы бегали по дворцу и искали Нарышкиных. В комнатах царицы Натальи Кирилловны они нашли карлика, по прозванию Хомяка, и, приставив копьё к его горлу, спросили: где скрываются Нарышкины? Он отвечал:

— Афонасий Нарышкин спрятался под престолом церкви Воскресения на Сенях!

Стрельцы радостно вскрикнули, гурьбою побежали в указанную придворную церковь, вытащили несчастного из под престола, выволокли на паперть и изрубили в куски. Еще одного

Нарышкина, Ивана Федоровича, нашли в его доме и тоже убили. Кроме того истребляли всех бояр, на которых за что-нибудь сердились, и таким образом погибли десятки несчастных жертв. По большей части несчастного выводили к безоружному, оторопевшему простому народу и спрашивали: любо ли?

На ответ — любо! сверкали мечи и бердыши, и остатки изрубленного волокни на Красную площадь; при этом перед телом шли стрельцы и с насмешкою кричали: «Расступитесь! Дайте место: идет боярин Артамон Сергеевич, или: едет князь Ромодановский, Долгорукый, или: дорогу — едет думный боярин!» и т. д.

Брат царицы, Иван Кириллович, отец ее Кирилла Полуектович и сын несчастного Матвеева, Андрей Артамонович, скрывались во дворце; сначала в комнате маленькой царевны Натальи Алексеевны, потом в комнатах царицы Марэы Матвеевны; место, где они прятались, было известно одной только постельнице Клушиной.

На рассвете, 17 мая, Клушина тайно отвела Нарышкина и Матвеева в темный чулан, завалила их перинами и, по совету Матвеева, оставила дверь отворенною настезь, чтобы не возбудить подозрения стрельцов, ежели бы они опять пришли отыскивать. В этот день стрельцы и народ опять хлынули в Кремль и на этот раз неотступнее прежнего требовали выдачи Нарышкина, грозясь перебить всех слушников-бояр и говоря, что без него не уйдут из Кремля; «ежели его не выдадут добром, то разыщут его сами, и тогда пусть все на себя плачутся!»

Испуганные бояре, на коленях, со слезами просили царицу пожертвовать братом для спасения царства и избавить всех их от смерти. Царица долго колебалась, наконец, подошла к брату и отдала дело на его решение. Благородный молодой человек решился своею смертью искупить жизнь отца и других родных и согласился идти на смерть. Его отвели в церковь Спаса за золотою решеткою; здесь шла обедня, его исповедали, причастили Св. Тайн и особоровали, как умирающего; по совету царевны Софьи, ему в руки дали образ Богородицы, надеясь, что убийцы из-за иконы пощадят несчастного. Царица обвила руками шею брата и, судорожно рыдая и прижимая его к груди, прощалась с ним; у нее не доставало силы оторваться от него; она знала, что его ожидает мучительная смерть. Прощание сестры с братом показалось испуганным боярам слишком продолжительным, и седой, хилый князь Одоевский воскликнул:

— Сколько вам, Государыня, ни жалеть, а все-таки придется отдать его; а тебе, Ивану, отсюда скорее идти надобно, а то вам всем придется погибнуть из за тебя.

Молодой Нарышкин ни слова не отвечал, а только высвободился из объятий царицы и твердою поступью пошел на церковную паперть. Лишь только стрельцы увидели его, как встретили неистовыми криками:

«А, вот он, изменник! Он хотел известить царей! В застенки его, пусть скажет, кто были его помощники, пусть признается, каким способом хотел изводить царевича!» Нарышкина схватили, поволокли в Константиновский застенок и пытали; но молодой страдалец вынес все мучения и ни на себя, ни на кого другого ничего не показал. Измученного страдальца из застенка вытащили на площадь и изрубили.

Во все время стрельецких неистовств, простой народ толпился на площади и, когда стрельцы спрашивали: любо ли? покорно отвечали: любо! и махали шапками. Кто не кричал и шапкой не махал, или кто выказывал сожаление, того били и заставляли кричать.

Стрельцы видя, что правительство, запуганное и слабое, соглашается на все, предъявляли Наталье Кирилловне все новые и новые требования.

Измученная, лишенная родных и приверженцев, Наталья Кирилловна соглашалась на все и думала только о том, как бы уберечь жизнь сына; незначительное число приверженных ей бояр уже бежали из Москвы и прятались в своих поместьях. Честолюбивая Софья верно рассчитала; она могла воспользоваться следствием произведенного ею волнения и захватить верховную власть. Пользуясь общим смятением, она спокойно и твердо давала приказания; она знала, что на ее стороне стрельцы и бояре партии Милославских. Стрельцам она приказала раздать по 10 р. на человека и пожаловала им название верной — надворной пехоты; начальство над ними отдала князю Хованскому, человеку отсталому, с предрассудками, но хитрому и честолюбивому.

Неизвестно, по чьим проискам от стрельцов опять явились выборные люди, захватили с собою купцов и посадских и объявили, что пришли за тем, чтобы просить царствовать обоим братьям вместе и так, чтобы первый царь был старший — Иоанн, а второй — Петр, но в конце просьбы, очень униженной, было прибавлено: ежели добром не исполнять их челобитья, то — опять придут с оружием.

Собрали совет и после многих толков решили, что требование очень разумное, лучше всего быть двум царям; когда один пойдет на войну, другой будет дома управлять царством. Мая 26 положено было: «царствовать обоим братьям вместе», и колокол — Вестник дал об этом решении знать всей Москве. Стрельцы и по церквам, и на площадях объявляли, что — «Отныне на Руси два царя: Иоанн, как старила, первый царь, а Петр, младший, второй царь». Стрелцов, между тем, ежедневно угощали в Кремле: каждый день по два полка. Когда оба царя были объявлены народу, стрельцы потребовали, чтобы вместо Натальи Кирилловны, по малолетству Петра и болезни Иоанна, государством управляла царевна Софья, и к ней послано было посольство просить ее принять на себя «тяготу правления». Она сначала отказывалась, но наконец снизошла

на просьбы и приняла титул и власть Правительницы. И так, все самые заветные желания ее исполнились.

Казалось бы, все покончено, но стрельцы были не спокойны, они чувствовали, что поступили противозаконно и что рано; или поздно, но за избиение бояр им придется отвечать. К тому же их за глаза называли бунтовщиками, крамольниками и убийцами. Это им не нравилось и они подали новую челобитную, в которой защищались от этих названий и выписывали вины перебитых ими бояр. В заключение просили, чтобы на Красной площади поставлен был столб с обозначением имен всех убитых бояр и с ясным указанием вины, за которую стрельцы их убили; а для окончательного оправдания их, стрельцов, пожаловать им оправдательным грамоты с красными печатями; в грамотах запрещалось бы верную надворную пехоту называть бунтовщиками, крамольниками, убийцами, изменниками и не порочить их никакими другими обидными названиями.

И эта просьба стрельцов была уважена; столб на Красной площади был поставлен, грамоты с царскою печатью розданы в полки. [10, 34—42]

Чистяков

1698-й год (посмертное)

Мглистый свет очей во мгле не тонет,
Я смотрю в него, и ясно видно мне,
Как в кровавой пене бьются кони
И Москва в трезвоне и огне.

Да, настало время быть пожарам
И набату, как случалось встарь,
Ибо вере и законам старым
Наступил на горло буйный царь.

Но Москва, бессильней крымских пленниц,
На коленях плачет пред царем,
И стоит гигант-преображенец
Над толпой с тяжелым топором.

Мне от дыбы страшно ломит спину,
Колет слух немолчный скрип подвод,
Ибо весь я страшно отодвинут
В тот суровый и мятежный год.

Православный люд в тоске и страхе
Смотрит на кровавую струю,
И боярин на высокой плахе
Отрубает голову мою.

Панихида — и в лампадном чаде
Черные, закрытые гроба.
То, что я увидел в мглистом взгляде,
Есть моя минувшая судьба.

Лев Гумилев, 1934

Суриков

«Утро стрелецкой казни»

В предсмертных новеньких рубахах,
В пасхальном пламени свечей
Стрельцы готовы лечь на плаху
И ожидают палачей.

Они — мятежники — на дыбе
Царю успели показать
Невозмутимые улыбки
И безмятежные глаза.

Они здесь все одной породы,
Один другому друг и брат,
Они здесь все длиннобороды,
У всех один небесный взгляд.

Они затем с лицом нездешним
И неожиданно тихи,
Что на глазах полков потешных
Им отпускаются грехи.

Пускай намыливают петли,
На камне точат топоры,
В лицо им бьет последний ветер
Земной нерадостной поры.

Они с пророком Пустосвятом
Увидят райский вертоград,
Они бывалые солдаты
И не боятся умирать.

Их жены, матери, невесты
Бесслезно с ними до конца,
Им место здесь — на Лобном месте,
Как сыновьям, мужьям, отцам... [11, 43]

Варлам Шалимов

ХРИСТОС И АНТИХРИСТ

Восьмилетний Тихон остался круглым сиротою на попечении старого дядьки Емельяпа Пахомыча. Ребенок был слаб и хил;

страдал припадками, похожими на черную немочь; отца любил со страстною нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца, сказывал Тихону, будто бы отец уехал по делам в далекую Саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил как тень в огромном опустелом доме и сердцем чуял беду. Наконец, не выдержал. Однажды, после долгих тщетных расспросов, убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то время не было в живых, его казнили вместе с отцом Тихона.

У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, кое-как набросанными, полунагими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодеркой яме, куда сваливали вместе со всякою поганью и падалью: таков был указ царя. Из бойниц Кремлевских стен торчали бревна; бесчисленные трупы висели на них «как полти» — соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце.

Безмолвный народ целыми днями толпился на Красной площади, не смея подходить близко к месту казней, глядя издали. Протеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возле Лобного места, в лужах крови, длинные, толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по тридцати человек сразу, клали на них головы в ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходявших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцы рубили головы. Недовольный их работою — руки неумелых палачей дрожали — царь велел привести к столу, за которым пировал, двадцать осужденных и тут же казнил их собственноручно под заздравные клики, под звуки музыки: выпивал стакан и отрубал голову; стакан за стаканом, удар за ударом; вино и кровь лились вместе, вино смешивалось с кровью.

Тихон увидал также виселицу, устроенную наподобие креста, для мятежных стрелецких попов, которых вешал сам всешутейший патриарх Никита Зотов; множество пыточных колес с привязанными к ним раздробленными членами колесованных; железные спицы и колья, на которых торчали полуистлевшие головы: их нельзя было снимать, по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздухе стоял смрад. Вороны носились над площадью стаями. Мальчик взгляделся пристальнее в одну из голов. Она чернела явственно на голубом прозрачном небе с нежно-золотистыми и розовыми облаками: вдаль — главы Кремлевских соборов горели как жар; слышался вечерний благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все — и небо, и главы соборов, и земля под ним шатается, что он сам проваливается. В торчавшей на спице мертвой голове с черными дырами вместо вытекших глаз узнал он голову отца. Затрещала барабанная дробь. Из-за угла выступила рота преображенцев, сопровождавшая

телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах, с горящими свечами в руках, со спокойными лицами. Впереди ехал на коне всадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, но страшно. Это был Петр. Тихон раньше никогда не видел его, но теперь тотчас узнал. И ребенку показалось, что мертвая голова отца своими пустыми глазами смотрит прямо в глаза царю. В то же мгновение он лишился чувств. Отхлынувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы не заметил его старик, давнишний приятель Пахомыча, некто Григорий Талицкий. Он поднял его и отнес домой. В ту ночь у Тихона сделался такой припадок падучей, какого еще никогда не было. Он едва остался жив.

Григорий Талицкий, человек неизвестный и бедный, живший перепискою старинных книг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть Антихрист. Как обвиняли его впоследствии во время розыска, «от великой своей ревности против Антихриста и сумнительного страха стал он кричать в народ злые слова в хулу и поношение государя». Сочинив тетрадки *О пришествии в мир Антихриста и о скончании свеча*, он задумал напечатать их и «бросать листы в народ безденежно» для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе — Антихристе, о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Москве, также участвовал в этих беседах. Маленький Тихон слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки, в запустелом доме собирались и каркали: «Приближается конец века, пришли времена лютые, пришли года тяжкие: не стало веры истинной, не стало стены каменной, не стало столпов крепких — погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие: загорится вся земля и выгорит в глубину на шестьдесят локтей за наше великое беззаконие».

Д. С. Мережковский

Петр I

Стансы

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,

Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь прашуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он незлобен. [6, 307]

А. С. Пушкин

Петру Великому

Россия, в славу облеченна,
Куда свой взор ни обратит,
Везде, весельем восхищенна,
Везде труды Петровы зрит.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр

Он, древний мрак наш побеждая,
Науки в полночь водворил;
Во тьме светильник возжигая,
И в нас благие нравы влил.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр

Как бог, великим проведеньем
Он все собою озирал;
Как раб, неслышанным раченьем
Он все собою исполнял.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр

Прошел землями и морями,
Учился сам, чтоб нас учить;
Искал беседовать с царями,
Чтоб после всех их удивить.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр

Ко скипетру рожденны руки
На труд несродный простирал;
Звучат доднесь по свету звуки,
Как он секирой ударял.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр

Его младенчески забавы
Родили громы наконец;
А посреди военной славы
Он был отечества отец.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр

Лучи величества скрывая,
Простым он воином служил;
Вождей искусству научая,
Он сам полки на брань водил.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Вселенну храбрость устрашала,
Как он противных поражал;
Вселенну милость утешала,
Как он плененных угощал.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Владыка будучи полсвета,
Герой в полях и на морях,
Не презирал давать отчета
Своим рабам в своих делах.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Венцы, триумфы, колесницы
Не для себя он учреждал;
Отличность, блески багряницы
Заслуг в награде полагал.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Был в вере тверд и ей послушен;
Певец он сам был алтарей;
Средь зол, средь благ великодушен,
Нелестный друг своих друзей.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Монархам возвращал короны,
Законы подданным писал;
Что должны делать миллионы,
Собой всем образ подавал.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Чрез горы проточил он воды.
На благах грады насадил:
Довольство ввел в свои народы,
С Востоком Запад съединил.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Он, истины любя уставы,
Хранил нелицемерный суд;
Поднесь его полезны нравы
Ко благоденствию ведут.
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

Поднесь вселенну изумляет
Величие его чудес;
Премудрых ум не постигает
Не бог ли в нем сходил с небес?
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр!

О Россы, славой лучезарны!
О род героев и собор!
Петру вы будьте благодарны,
Да ввек Петру гремит ваш хор!
Неси на небо гласы, ветер:
Бессмертен ты, великий Петр! [1, 65—67]

Г. Р. Державин, 1776

НАЧАЛО РУССКОГО ФЛОТА. ПЕТР I КАТАЕТСЯ НА БОТИКЕ ПО РЕКЕ-МОСКВЕ. 1868 г.

Не в одних потехах проходили отроческие годы царя Петра I. Быстрый, пытливый ум его не мог удовлетвориться теми скудными познаниями, которые переданы были ему Никитой Зотовым. Первый учитель царевича Петра — подъячий Никита Зотов был человек малообразованный, учил царевича по старине. Не много пользы принесли Петру занятия с Зотовым, ДЛИ хотя он навсегда сохранил к своему первому учителю доброе расположение и за то, что тот ему передал. После того, как Зотов прекратил занятия с Петром, шестнадцатилетнему царю удалось подыскать нужных учителей, с помощью которых он стал заполнять пробелы своего образования. Не получив от окружающих объяснения, для чего нужен один из попавших ему в руки инструментов, Петр обратился к голландцу Францу Тиммерману, жившему в Немецкой слободе, находившейся недалеко от села Преображенское. Тот объяснил назначение инструмента (астролябии) и прибавил, что для обращения со многими по-

лезными приборами необходимо изучить арифметику и геометрию. Петр, не медля, стал прилежно учиться у Тиммермана этим наукам, а также артиллерии и фортификации, т. е. науке о крепостях. Петр полюбил Тиммермана и почти не расставался с ним, выведывая у него все, что тот знал. Этот же Тиммерман помог вместе с другими иностранцами завести «потешный» флот из судов, построенных по европейским образцам.

Однажды, в 1868 году, гуляя с Тиммерманом в селе Измайлове, под Москвой, Петр забрался в амбары, где хранились старые ненужные вещи, принадлежавшие его двоюродному деду Никите Ивановичу Романову. Здесь между всяким хламом Петр увидел сломанную лодку особого устройства, совсем не похожую на те, которые он видел раньше. Тиммерман объяснил ему, что это лодка английская, называется — бот, что на таком боте можно плавать на парусах не только по ветру, но и против ветра. По просьбе Петра Тиммерман отыскал в Немецкой слободе корабельного мастера Карштен Бранта. По приказанию Петра он починил бот, сделал мачту, приделал паруса, спустил бот на воду Измайловского пруда. Бот стал плавать в разные стороны, по ветру и против ветра. Молодой царь был в восторге, и плаванье на старом кораблике стало любимым его занятием. Плавая со своими учителями Тиммерманом, Брангом и Зотовым по Яузе и Москва-реке, Петр очень скоро понял, как управлять парусами, и наслаждался, когда бот мог плыть почти против ветра. Тихие подмосковные реки скоро оказались для Петра узкими и мелкими. Вместе со своим потешным флотом, построенным Брантом, Петр перебрался в 1689 году на Плещеево озеро под Переславлем-Залесским, а затем в Архангельск, ближе к настоящим морским просторам.

Таким образом старый знаменитый ботик — «дедушка русского флота» — пробудил в оном царе любовь к мореплаванию и положил начало отечественному кораблестроению.

Л. Д. Кившенко (1851—1895)

НАЧАЛО РЕГУЛЯРНОГО ВОЙСКА В РОССИИ. ПОТЕХИ МОЛОДОГО ПЕТРА I. 1687 г.

Будущий российский император Петр I родился в ночь на 30 мая 1672 года.

После смерти царя Федора Алексеевича, старшего брата царевича Петра, в 1682 году царями были провозглашены Петр и его болезненный сводный брат Иван. Управление страной по молодости обоих царей было вручено старшей сестре Софье Алексеевне. Царица же Наталья Кирилловна уехала с сыном Петром в Преображенское, в трех верстах от Москвы.

Живя в Преображенском, Петр Алексеевич начал свою игру в «потешные», которая была для него и школой самообразования.

Ища развлечения для игры и забав, он набрал себе ватагу сверстников — детей дворцовых служителей и некоторых приближенных бояр и дворян. Обследовав кладовые Преображенского, Петр обнаружил в них ржавые ружья и пистолы. Множество полезных для мальчишеских игр вещей — шлемы, латы и другую военную амуницию — ему привозили из Оружейной палаты. Он одел и вооружил свое войско, которое прозвали «потешным», т. е. созданным для царской потехи. Оно объединило многих будущих полководцев и государственных деятелей, а пока — юношей, играющих в войну. Петр стал с ними играть в солдаты и проводил в этих потехах целые дни. Состав потешного войска был очень пестрым. В строю рядом с князем М. М. Голицыным стоял А. Д. Меншиков, сын придворного конюха. Сам царь Петр в потешном войске проходил все чины, начав с барабанщика. Постепенно из этих мальчишек образовались «потешные полки», которые были названы по двум подмосковным селам Преображенским и Семеновским. В них стали поступать уже и взрослые молодые люди (1687 г.). Первым записавшимся в Преображенский полк был придворный конюх Сергей Бухвостов. Его Петр всегда называл впоследствии «первым солдатом Русской армии». Со временем для «потешного» войска сшили специальную форму: для преображенцев — зеленую, а для семеновцев — синюю. Позже вся петровская гвардия оделась в форму зеленого цвета. Мундиры были сделаны по европейскому образцу. Солдатская форма почти не отличалась от офицерской. Офицеры носили золотые галуны, нагрудный знак в виде полумесяца и трехцветный шарф на поясе. В селе Преображенском были построены: потешный двор, потешная съезжая изба для управления командой, потешные артиллерийские склады и конюшни. Вообще это полудетское войско было миниатюрной копией настоящей армии. Обучали потешных солдат иностранцы, еще при царе Алексее Михайловиче поселившиеся в московской Немецкой слободе. В потешном войске они занимали офицерские должности. Под их командой отряд совершал походы в окрестностях Преображенского, строил и осаждал потешные крепости. Так, на реке Яузе была построена крепость, городок Плесбург, который защищали и осаждали с применением пушек и всех приемов осадного искусства. Когда потешные выросли, из них вышли отличные солдаты, хорошо знавшие военное дело.

А. Д. Кившенко (1851—1895)

СОБЫТИЯ ЖИЗНИ, СОБЫТИЯ ИСТОРИИ

Заграничные путешествия

Особенно понравилась Петру живая, остроумная курфюрстина Софья Шарлотта; он на память обменялся с нею табакеркою.



Когда Петр уже освоился и развеселился, принцессы уговорили его позволить придворным войти в зал. Как скоро дамы и кавалеры наполнили зал, царь приказал одному из своих приближенных стать у дверей и никого не выпускать и сам начал угощать вином всех поочередно; он велел принести большие стаканы, сам наливал и подавал их придворным: мужчины принуждены были, в угоду ему, выпивать по три и по четыре стакана, а дамы по одному; принцессы тоже пили вместе с ним, по его просьбе, по московскому обычаю, стоя, за здоровье царя, курфюрста и свое собственное.

Для большого удовольствия и для того, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на Петра пение, курфюрстины велели позвать итальянских певцов и певиц, нарочно привезенных с собою, и заставили их петь. Петр слушал очень внимательно, поднес стакан вина лучшему певцу, но объявил, что особенной любви к музыки у него нет.

— Может быть, вы лучше любите охоту? — спросила курфюрстина.

— Нет, отец мой был страстный охотник, но я к этой забаве не чувствую никакой склонности; но зато очень люблю плавать по морю, строить корабли и пускать фейерверки! — При этом он показал принцессам свои руки, покрытый мозолями и огрубевшие от работы.

После ужина принцессы хотели посмотреть, как пляшут по-русски и велели позвать русских музыкантов; но Петр не хотел начать танцев, если сами принцессы не покажут ему, как они танцуют; они охотно согласились исполнить его желание и сами открыли бал с своими придворными, потом начали вместе с Петром танцевать русскую, Лефорт объяснял позы и движения. Русская пляска понравилась принцессам, и бал продолжался до 4 часов утра. Петр был очень весел и любезен; он взял принцессу Софию — Доротею (будущую королеву прусскую, мать Фридриха II), тогда еще десятилетнюю девочку, за уши, приподнял и поцеловал ее два раза и при этом измял ее головной убор; целовал также и брата ее Георга, бывшего впоследствии английским королем.

Из Коппенбурга Петр далее поехал вместе с посольством; но у реки Липпе опять оставил его и в лодке спустился далее, пробрался к Рейну и по нем, с 18 человеками волонтеров, поплыл в Голландию. В первой голландской гостинице русских рассматривали с любопытством, потому что весть о приближавшемся великом посольстве царя русского уже дошла до Голландии, и его там ожидали с нетерпением. Петр по каналам и по рукаву Рейна отправился к Саардаму, или Заандаму — местечко на северо-западе от Амстердама. Всех своих спутников царь оставил в Амстердаме, взяв с собою только шестерых, в том числе царевича Имеретийскаго, Гавриила и Александра Меншиковых, своих любимых Преображенских плотников —

бомбардиров и с ними поплыл к Саардаму на лодке. Ночь 7 августа застала его неподалеку от места назначения, и он, к величайшей досаде своей, должен был остановиться. На другой день на рассвете царь поплыл дальше; под городом в Форзане он заметил знакомого; на лодке ловил рыбу бывший в России кузнец Кисть: Петр окликнул его; Кисть не верил глазам своим и остолбенел от удивления, когда в одежде голландского плотника — красной Фризовой куртке, белых холщевых шароварах, с круглой клеенчатой шляпой на голове, увидел перед собою царя Московского. Удивление его еще усилилось, когда царь сказал ему:

— Ну, товарищ Кисть, я твой жилец и прошу тебя дать мне у себя в доме квартиру!

— Царь, я беден, жить тебе в моей лачуге не пристало, да и свободной комнаты у меня нет.

— Все равно, отдай мне чулан какой-нибудь: неужели ты один занимаешь весь дом?

— Что у меня за дом? просто хижина: в одной половине я сам живу с женою, а в задней половине живет у меня вдова поденщика. Петр настоял на том, чтобы эта задняя часть дома была приготовлена для него, дал задаток; Кисть причалил и опрометью бросился домой, чтобы исполнить царскую волю; за семь гульденов он уговорил вдову очистить квартиру.

Царь с своими спутниками пока вошел в гостиницу Выдры. День был воскресный; народ толпился на улицах. Русский костюм царских спутников привлекал внимание, и в народе слышались вопросы: «Кто они? Откуда? Какого звания? Зачем приехали?»

— Мы простые плотники, ищем работы; за тем только и приехали!

Из гостиницы Петр отправился в дом к кузнецу Кисту. Это был простой деревянный дом в два окна, разделенный перегородкой на две небольшие комнаты, с изразцовою, разрисованною печкою, для приготовления пищи; у Петра была глухая каморка для кровати и чулан при входе в сени, где он сохранял свои плотничьи инструменты. Дом находился в самой уединенной части Саардама. Петр нашел, что помещение очень хорошо, и первую ночь ночевал в своем новом дворце.

Он с нетерпением ожидал рассвета и в понедельник рано утром отправился в лавку, накупил себе плотничьих инструментов и в то же утро записался плотником на корабельной верфи Линста Рогге в Бейтензане, под именем Петра Михайлова.

Простой плотник

— Ежедневно, с восходом солнца, отправлялся он на работу и не отставал ни в чем от простых плотников; работал без отдыха и перерыва до полудня; тут он заходил в какую-нибудь гостиницу, или хар-

чевню, обедал или отправлялся к какому-нибудь семейству саардамских корабельных плотников, уехавших в Москву. В их потомстве до сих пор сохранились предания о том, что делал, что говорил у них царь Московский. У одной старухи он выпил стакан вина, у другой обедал; третья пришла к молодому, красивому московскому плотнику разузнавать о своем муже, той он отвечал:

— Он хороший и прилежный мастер, я хорошо его знаю, потому что рядом с ним строил корабль.

Голландка недоверчиво посмотрела на царя и спросила:

— Разве ты тоже плотник?

— Да, я плотник, — отвечал царь.

Чаще других заходил Петр к вдове умершего и Москве искусного корабельного мастера Клауса Муша. Не задолго до приезда чудного плотника, она получила от русского царя подарок в 500 гульденов; она догадывалась, что и Петр Михайлов не простой плотник, и потому убедительно просила его при случае сказать Московскому царю, что она его благодарит за помощь, оказанную ей: помощь эта облегчила ей тяжесть первого устройства после потери мужа. Петр обещался слово в слово передать царю ее благодарность и охотно остался у нее обедать.

В свободное от работ время, русский плотник ходил по фабрикам и заводам; все осматривал со вниманием и вникал в мельчайшие подробности; иногда его вопросы ставили мастеров в недоумение, иногда они не умели отвечать на его вопросы, или не хотели, и тогда отделялись грубою выходкою от навязчивого и любопытного плотника. Очень часто он сам брался за дело и всегда показывал большую ловкость и переимчивость. Однажды он был на бумажной фабрике, под фирмою Кох, осматривал все производство работ, долго приглядывался к приемам мастера черпальщика и наконец попросил у чего форму, взял ее, проворно из чана черпнул массы сколько нужно, стряхнул и выкинул превосходный лист, без малейшего недостатка. Мастер похвалил его за ловкость, а он подарил ему талер на водку. С таким же вниманием и любопытством осматривал он лесопильни, маслобойни, бумагопрядильни, сукновальни и другие мельницы, наполнявшие Заанландские деревни. Он помогал строить крупчатку для купца Кальфа; она существует до сих пор, под названием крупчатки великого князя.

На другой день после приезда в Саар дам Петр купил для себя за 40 гульденов лодку, на которой катался каждый вечер после работы.

Но приемы иностранного плотника, его замечательная красота, привычка повелевать, нетерпеливые движения, гнев, по временам вырывавшийся у него во время противоречий, все показывало, что он не принадлежит к тому сословию, в котором он находился. Голландцы и особенно голландки не могли поверить, чтобы человек с такою необыкновенною наружностью был простой плотник, и им

хотелось узнать, кто он? Они начали наводить расспросы, с любопытством следили за каждым его шагом и очень часто надоедали ему.

От женщин молва о том, что Петр Михайлов не простой плотник, распространилась, и вскоре дознались, кто он такой.

Один саардамский плотник, отправившийся в Москву, написал своему отцу, что в Голландию отправляется великое русское посольство и в его свите находится сам царь; что он много наслышался о Саардаме и наверное побывает в нем; узнать его не трудно по приметам: он очень высокого роста, у него голова трясется, он очень часто размахивает правой рукой и у него есть небольшая бородавка на правой щеке. Отец плотника с письмом этим пришел к цирюльнику, и они вместе читали и перечитывали его, соображая, уж нет ли царя среди этих на днях прибывших плотников; в это время дверь цирюльни отворилась, и вошли шестеро иностранцев; один из них говорил с жаром и размахивал правой рукой; остальные приметы тоже подходили, и цирюльник разгласил о своем открытии. Но дело это казалось до того неправдоподобным, что никто верить не хотел, и многие с расспросами обратились к Кисту: он хранил тайну и твердо отвечал, что у него в доме живет простой плотник; но жена его, бывшая при разговоре, с досадою слушала уверения мужа и воскликнула:

— Терпеть не могу, когда ты говоришь неправду!

Молва росла, во всем находила пищу, а Петр по-прежнему работал на верфи; однажды, наработавшись до полного утомления, он возвращался домой и по дороге купил себе много слив, высыпал их себе в шляпу и шел, кушая их, по дороге. К нему пристала толпа мальчишек и начали просить у него слив; некоторым он дал по несколько слив, другим ничего не дал, он забавлялся тем, что первые радовались, дразнили вторых, а те сердились; но они начали бранить Петра, потом бросать в него песком, грязью и камнями, и кидали так метко и так много, что Петр должен был спрятаться в гостиницу Трех Лебедей; его рассердила дерзость мальчишек, он приказал тотчас позвать бургомистра.

Бургомистр явился к Петру и расспросил как все было, извинился перед ним, посоветовался с другими членами управы и обнародовал следующее распоряжение: «Бургомистры к своему сожалению узнали, что дерзкие мальчишки осмелились бросать грязью и камнями в знатных чужестранцев, которые у нас гостят и хотят быть неизвестными; мы строжайше запрещаем такого рода своеволие, под опасением жестокого наказания».

В тот же день на мосту, через который Петру надобно было идти, чтобы попасть в дом Киста, поставили караул, с приказанием не позволять народу толпиться и надоедать путешественнику; это еще более подтверждало слухи, что в Саардаме живет русский царь.

Молва о царе-плотнике дошла и до Амстердама; один богатый фабрикант, бывавшей в Архангельске и много раз принимавший царя в своем доме, послал в Саардам своего главного приказчика посмотреть, точно ли царь там. Когда приказчик донес ему, что царь действительно в Саардаме, негоциант немедленно отправился туда сам встретил царя, взглянул на его матросскую куртку, снял перед ним шляпу, низко поклонился ему и с изумлением воскликнул:

— Вы ли это, ваше величество?

— Вы сами видите, что я! — ласково отвечал царь, пригласил его к себе в дом и долго разговаривал с ним. Потом вместе пошли на верфь, и Петр купил себе за 450 гульденов красивый и прочный буер и сам приделал к нему новый бугшприт. Моряки удивлялись с каким старанием и с каким искусством царь приделал бугшприт и как отлично исправил всю оснастку буера.

«И у нас будет флот...»

Весь следующий день Петр провел на воде. Но любопытные голландцы всюду подкарауливали его и всюду следовали за ним. Он решился пристать к берегу, причалить к плотине, отделявшей Немецкое море от залива, но и тут стояла сплошная толпа любопытных. Петр, однако ж, причалил, ловко выскочил на берег; толпа сомкнулась вокруг него, и он должен был проталкиваться. Петр рассердился, глаза его грозно сверкнули, а тут один мещанин, Корнелий Марсен, с разинутым ртом, выпученными глазами, неотвязнее прочих лез к нему и не давал ему дороги; царь раза два отталкивал его, но тот все вывертывался и его глупая рожа опять торчала перед Петром; он рассердился и дал пощечину Марсену. В толпе раздался хохот и послышались слова: «Браво Марсен! Ты пожалован в рыцари!» — и с этих пор его постоянно называли рыцарем Марсеном. Петр протолкался через толпу и заперся в гостинице, где и просидел до самого вечера, и ушел к себе домой только поздно вечером, когда вес народ уже разошелся.

В Саардаме приготавливалось любопытное зрелище: спуск большого корабля, принадлежавшего знакомому Петра, купцу Кальфу. Корабль подводили обыкновенно к плотине, посредством машин поднимали его на саженную насыпь плотины, переталкивали через вал в 150 футов ширины и по другую сторону спускали его опять в воду; это была в высшей степени трудная и опасная операция; ею преимущественно занималась особая компания, которой платили от 50 до 250 гульденов за корабль, смотря по величине его. Городское начальство пригласило Петра присутствовать при этом любопытном зрелище; ему сказали, что для него и для его приближенных нарочно устроено место, огороженное палисадом, чтобы народ не мешал ему, и что городская стража будет отгонять слишком назойливых. Кальф кроме того пригласил Петра на обед. Царь

охотно согласился посмотреть на перетаскивание корабля, но отказался от обеда.

В назначенный день, рано утром, народ начал стекаться к месту, и все предосторожности магистрата оказались напрасными: палисад опрокинулся, городскую стражу разогнали и затолкали; несметные толпы народа, подвижными массами своими, наполнили не только улицы, но и дома, и крыши, и заборы; царь видел, что пройти нельзя и, к величайшему сожалению, решил остаться дома. На следующий день, Петр, отправляясь в Амстердам, опять едва протолкался сквозь толпу, пробираясь к своей яхте.

Присоединяясь к посольской свите, Петр присутствовал при всех торжествах, какими встретили в Амстердаме русское чрезвычайное посольство; Штаты не поскупились и назначили, сверх положенных в подобных случаях сумм на прием посольств, еще 10 000 гульденов.

Особенно понравилось Петру примерное морское сражение в заливе Эй, под начальством опытного адмирала Схейя, заключившее все торжества, данные городом Амстердамом по случаю посещения русского царя. Все парусные суда, какие можно было собрать, выстроились в две боевые линии, при входе в залив. Петр, вместе с бургомистрами и послами, приехал на богатоукрашенной яхте ост-индской компании. Флот приветствовал царя залпом из всех орудий, а за тем начались морские эволюции с непрерывною пушечною пальбою с береговых батарей и с судов; по словам очевидцев, облака дыма заслоняли солнце, и от пушечного грома ничего нельзя было слышать. Царь не вытерпел, не мог оставаться спокойным зрителем; он с яхты перешел на военный корабль и постоянно направлял его туда, где огонь был сильнее.

В Амстердаме Петр записался плотником к корабельному мастеру Герриту-Класу Полю, на верфи ост-индской компании, и разместил своих волонтеров по разным работам, для изучения корабельного дела. «Спальники, — писал Петр Виниусу, — посланные мною раньше, выучились употреблению компаса, не побывав на море, и собрались было ехать домой в Москву, думая, что выполнили поручение; но адмирал наш и я об этом рассудили иначе и приказали им на корабле отправиться к устью Эльбы, чтобы на деле познакомиться с морем и с компасом во время плаванья».

Первые три недели пребывания Петра на верфи прошли в подготовки материалов, и только 9 сентября он собственноручно заложил фрегат в 100 футов длиною, во имя апостолов Петра и Павла, и на следующий день написал об этом митрополиту: «Мы теперь живем в Нидерландах, в городе Амстердаме; живы и здоровы вашими молитвами; исполняя слово Божие, сказанное Адаму, трудимся в поте лица своего; делаем это не из нужды, а для того, чтобы изучить морское дело, чтобы по возвращении оставаться победителями над врагами имени Господня и освободить христиан из-под

ига нечестивого, чего я до последнего дыхания своего не перестану желать».

Петр работал, как простой плотник, и беспрекословно исполнял всякое приказание своего мастера. Однажды, один знатный англичанин нарочно приехал в Амстердам, чтобы посмотреть на знаменитого плотника; он пришел на верфь и просил мастера показать ему царя в это время Петр сидел на бревне и отдыхал; другие плотники тащили тяжелое бревно; мастер крикнул ему:

— Петр, плотник Саардамский! что же ты сидишь и не поможешь своим товарищам?

Петр тотчас встал и подставил свое плечо под бревно, которое несли.

В течение многих десятков лет рабочие на верфи рассказывали своим женам и детям о том, как Петр работал, как искусно он владел инструментами, какую необыкновенную силу выказывал и как иногда утомленный садился на обрубок дерева, вытирал пот, катившийся с лица его, сидел опустив топор между коленями и разговаривал с товарищами, шутил и рассказывал им разные занимательные случаи. Любопытные ежедневно приходили посмотреть на знаменитого работника и поговорить с ним; он разговаривал охотно, когда, обращаясь к нему, говорили просто: Piter timmerman (Петр-плотник), но отворачивался и не отвечал, когда обращались к нему с словами: Ваше Величество или Государь! Но он постоянно дорожил временем и избегал длинных разговоров; после короткого отдыха опять принимался за дело.

Так проходил целый день, но и ночью Петр не отдыхал достаточно; с каждою почтою из Москвы приходили кипы бумаг, писем и дел; все надобно было прочесть, обдумать, решить и на все отвечать. Он издали продолжал следить за общим ходом дел, писал приказания, и в то же время находил время отвечать на веселые письма своих ближних бояр и каждую пятницу отсылал свою корреспонденцию в Москву. Иногда не успевал отвечать на частные письма, тогда просил не печалиться, писал, что он здоров, а не пишет частью за недосугом, частью за отлучкой для знакомства с тем, чего нет в России, частью за «Хмельницким» (за пирами). Волю свою боярам правителям он всегда выражал ясно, твердо, и очень часто резко.

В Голландии Петр занимался не одним кораблестроением: с бургомистром Витзенем и Лефортом ездил он в Утрехт, чтобы повидаться и познакомиться с голландским штатгальтером и Вильгельмом Оранским, английским королем. Витзену было поручено все показывать царю и повсюду провожать его, а это было дело не легкое; Петр все хотел знать, все видеть; он подробно осмотреть китоловные суда и все производство на них, ни один чан, ни один котел для жира не ускользнул от его внимания. Он ходил, по госпиталям, по воспитательному дому, бывал на фабриках, в мастерских,

ко всему руку прикладывал и всегда выказывал ловкость и проворность.

Анатомия

Он познакомился, при помощи Витзена, с тогдашними знаменитыми учеными в Голландии. Особенно понравился ему знаменитый профессор анатомии — Рюйш.

Рассказывают, что царь остановился, как пораженный громом, когда в первый раз увидел знаменитый анатомический театр этого ученого; с любопытством рассматривал его и, когда подошел к стеклянному ящику, в котором сохранялся труп набальзамированного Рюйшом дитяти, не мог оторваться от него: дитя лежало, как живое, с улыбкой, точно будто спит и видит что-то хорошее во сне. Петр не верил, что дитя мертвое: Рюйш открыл стеклянную крышку и только прикосновением царь убедился, что это труп; царь наклонился и поцеловал дитя. Долго оставался Петр в этом привлекательном для него кабинете, и впоследствии часто бывал у Рюйша, обедал у него запросто и присутствовал на его лекциях, ходил с ним в госпиталь Св. Петра, смотрел, как он исследует болезни, как обращается с больными; он так часто ходил в госпиталь, что для него была нарочно сделана отдельная дверь, с целью избавить его от назойливости любопытных, преследовавших его повсюду. Следы этой двери до сих пор существуют. Петр и впоследствии помнил о Рюйше, переписывался с ним и посылал ему редких животных, какие ему случалось находить. Рюйш с своей стороны писал ему, как удобнее сохранять пойманных животных, как кормить личинки насекомых, или гусеницы, как накалывать бабочек и пересылать их.

Во время своей поездки в Лейден, Петр познакомился с другим знаменитым профессором медицины Бургавом и также осматривал его анатомический кабинет; в нем не было отвращения к трупам; он долго стоял перед одним из них, у которого мускулы были раскрыты для того, чтобы насытить их терпентином.

Голландские провожатые не успевали удовлетворять любознательности своего великого гостя; он с жадностью хотел все знать, все видеть. Каждый новый предмет поражал его, он останавливался и спрашивал: «Что это такое? Я должен это видеть!» Никакие отговорки, никакие убеждения, никакие опасности его не останавливали, он все рассматривал, все исследовал, всему учился, все замечал. Даже ночью, во время путешествия, он не мог оставаться без дела. Иногда темный контур какого-либо здания или мельницы поражал его, он останавливал экипаж, приказывал зажигать фонари, факелы и при свете их осматривал предмет, возбудивший его внимание.

И опять флот

Петр в Амстердаме перепробовал много новых для него искусств и мастерства; он даже пробовал гравировальное искусство и до сих

пор в Петербургской Публичной Библиотеке сохраняется оттиск гравюры, сделанной Петром, под руководством художника Шхонебека; на гравюре опять выражается господствующая мысль Петра: торжество христианской религии над мусульманской, — в овальной рамке изображен ангел с крестом и пальмовой ветвью в руках, ногами он попирает рог луны и турецкие бунчуки; оригинальный оттиск этой гравюры сохраняется в амстердамском музее, и на нем современная надпись на голландском языке: «Петр Алексеев, великий русский царь награвировал это иглою и крепкою водкою, под надзором Адриана Шхонебека, в Амстердаме, в 1698 году, в спальне своей квартиры на верфи ост-индской компании; на гравюре можно приметить поправки, сделанные искусною рукою Шхонебека».

Из Москвы Петр получил приятные для него известия: постройка кораблей кумпанствами быстро подвигалась; военные предприятия и постройка крепостей на юге шли успешно; из Швеции получено в подарок 300 пушек для зарождающегося флота, другие пушки там заказаны; но этого еще недостаточно было для того, чтобы спустить флот; его надобно было оснастить, найти опытных капитанов и порядочных матросов; на Петре лежала трудная обязанность найти и закупить все нужное за границей, но для этого требовались большие деньги, а их не доставало у Петра. Царь решился просить помощи у Голландии и послы его отправились в Гагу; в свите отправился сам царь, оставив на несколько дней свои работы. Послов приняли торжественно, Петр у богатой Голландии не просил денег, а только просил дать ему опытных и надежных капитанов и матросов, кроме того оружия, боевых снарядов, полотна и канатов, обещаясь за все щедро заплатить впоследствии. Купцы-правители осыпали посольство любезностями, обещаниями, но из своих торговых видов не хотели ссориться с Турцией и под предлогом, что их финансы в настоящую минуту расстроены войной с Францией, отказались помочь царю; но дали ему право самому отыскивать мореходцев, покупать оружие и всякого рода корабельные припасы, заключать контракты и сделки с голландскими купцами.

Между тем постройка фрегата быстро подвигалась и приходила к концу. Ноября 16 он был торжественно спущен, в присутствии послов и всех городских властей. Но Петр был еще недоволен знанием, приобретенным на верфи; он изучил кораблестроение практически, но ему хотелось иметь более обширные, теоретические знания, и он обратился к Витзену с просьбою, найти ему такого учителя, который научил бы его по чертежам строить корабли всяких размеров и чтобы по рисунку можно было узнать, какой ход у него будет. Нашли такого учителя, но после нескольких дней занятий с ним, Петр убедился, что знаний у его учителя слишком мало, что он не может объяснить ему все так подробно и ясно, как бы ему хотелось, и учитель, наконец, чистосердечно признался Петру, что

он многого на чертеже сам не понимает и показать ему не может, и что на верфях корабли по большей части строятся по привычке, а не по науке.

Петру стало грустно, что он предпринял такое дальнейшее путешествие и все-таки не достигнул желаемых результатов. В таком настроении духа посетил он купца Яна Тессинга в его загородном доме; за обедом, несмотря на общее оживление, веселые разговоры и музыку, Петр сидел хмурый и молчаливый; его старались развеселить, но напрасно; тогда хозяин обратился к нему с вопросом:

— Саардамский мастер! скажи мне, отчего ты сегодня так не весел?

Петр не вытерпел и высказал мысль, его занимавшую, и сожаление о неудовлетворительности знаний, им приобретенных. За столом сидел один англичанин, он услышал слова Петра и сказал, что у них в Англии кораблестроение достигло высшей степени совершенства, что корабельная архитектура, как и всякая другая, имеет свои определенные правила, что она подчиняется геометрическим вычислениям и законам, и что полный курс кораблестроения можно пройти в самое короткое время по чертежам и вычислениям. Это известие очень обрадовало Петра, и он тут же задумал предпринять путешествие в Англию.

Петербург

Устье и все течение Невы с незапамятных времен принадлежали России, а именно Великому Новгороду, и все острова в устье, как например Фомин остров, нынешняя Петербургская сторона, и вообще вся местность от Ладожского озера до Финского залива назывались Водьской пятиной. Но по мирному договору, известному под названием Столбовского, вся эта местность, как и многие другие, сделались шведскою собственностью и русские названия малопомалу истребились и заменены были чухонскими.

Селений больших в устьях Невы не было, кроме нескольких, разбросанных в лесах, болотах и топях, рыбацких хижин. Страна вся была пустынная, заросшая лесом и кустарником; при юго-западном ветре вода поднималась в Неве и заливала всю местность; жители покидали свои бедные хижины и где на лодках, где пешком спасались на Дудергофские высоты.

Когда Ниеншанц достался русскому войску, тотчас составили совет и возник вопрос: укрепить ли Канцы (Ниеншанц), или отыскать место более удобное и ближе к устью Невы, следовательно — к морю.

Ниеншанц осмотрели внимательно, нашли в нем много неудобств и после зрелого обсуждения положено было скрыть шведские укрепления и построить новую крепость ближе к взморью. Для выбора места Петр вместе с знатнейшими приближенными своими сел в лодки и поплыл осматривать острова, образованные устьями

Невы; во время этого плавания, у Петра родилась мысль в этом уединенном, но удобном месте заложить большой торговый город; болота и непроходимые леса не испугали Петра; он говорил, что лес не может быть препятствием; его надобно вырубить и бревна пойдут на постройки, следовательно леса не придется возить издалека.

Небольшой низменный остров Заячий или Енисари, лежащий на Большой Неве против нынешней Петербургской стороны показался Петру удобным и он избрал его для новой крепости.

Есть предание, что Карл XI подарил знатному шведскому вельможе, графу Стенбоку, участок земли в устье Невы. Граф осмотрел свое новое владение; оно ему понравилось по своей дикости и он построил мызу, назвав ее Lust-holm (увеселительный остров), и населил ее шведами и окрестными финнами. Но не прошло трех лет, осенью вода поднялась в Неве необыкновенно высоко, вышла из берегов, затопила все селение и все перепортила. Графу стало досадно; он не захотел опять устраивать и поправлять вред, нанесенный водою, все покинул на произвол судьбы и место назвал Teufels holm (чертов остров) и навсегда покинул берега Невы.

Петр избрал Заячий остров для крепости, как место, самую природой хорошо защищенное глубокими невскими рукавами, заменявшими обыкновенные крепостные рвы. Петр собственноручно положил первое основание земляной Петропавловской крепости, в день Св. Троицы 16 Мая 1703 года. Чтобы работы шли быстро и стройно, надобно было во-первых много рук; для этого из Новгорода и ближайших пограничных уездов вызвано было множество плотников и каменщиков; работали солдаты и согнанные отовсюду местные жители; крепость сначала строили деревянную и только несколько лет спустя вывели каменные стены. Во-вторых, чтобы работы шли стройно, царь крепостные бастионы назвал по именам приближенных; начиная с правой стороны от нынешних Петровских ворот были бастионы: Государев, Нарышкина, Трубецкого, Зотова, Головкина и Меншикова, и надзор за работами каждого бастиона был поручень тому, чьим именем он назывался.

Работа закипела в пустынной, молчаливой местности; топоры стучали в лесу: Петр прорубал окно в Европу; местность болотистая, но удобная своею близостью к морю восхищала его; он ее называл раем (парадизом). Препятствий к исполнению его замыслов было много; ни землекопных, ни плотничьих орудий, ни телег, ни тачек не было достаточно, и согнанный народ должен был многое делать руками: на себе таскали бревна, горстями собирали землю в полу своего кафтана и таскали ее, куда нужно было.

В день своего ангела Петр заложил основание первой деревянной церкви, во имя Св. Апостолов Петра и Павла. Через десять месяцев она была готова. Церковь была небольшая, но, по словам иностранцев, красивая; снаружи она была окрашена желтою краскою, под

мрамор. Колокольня была высокая, остроконечная; на ней повешено было несколько колоколов и к ним нарочно был приставлен искусный звонарь, который каждый час ударял в колокол, чтобы по числу ударов знать, который час; но сперва он должен был вызванивать какую-нибудь мелодию, чтобы привлечь внимание работающих.

Постройка деревянной крепости была окончена в четыре месяца и могла уже встретить неприятельское нападение. По середине крепости был прокопан канал, чтобы, в случае осады, не было недостатка в воде. По обеим сторонам его были выстроены четыре ряда домов, крытые, по примеру финских, дерном или берестою. На Государевом бастионе, на высоком шесте развивался крепостной флаг; по праздничным дням, вместо него поднимали царское желтое знамя с русским двуглавым орлом, который в клювах и в лапах держал четыре моря: Белое, Каспийское, Азовское и Балтийское; первые два принадлежавшие исстари России, а последние два, — приобретенные Петром.

На другой стороне канала, против церкви стоял небольшой дом коменданта и близ него — дома гарнизонных офицеров; по южную сторону церкви, там, где теперь дом коменданта, была большая гауптвахта, с маленькою площадкою, называвшеюся плясовою; на ней наказывали солдат.

Кроме упомянутых строений были еще: дом плац-майора, арсенал, провиантские магазины, дом для священника и церковного причта, для аптеки и докторов, казармы и еще несколько других строений. Подъемный мост соединял крепость с Петербургским островом. Каждый день, после утренней зари, как сигнал для работ, поднимали крепостной флаг при пушечном выстреле; в 10 часов опять стреляли из пушки, чтобы люди шли обедать, а вечером, после вечерней зари, опять стреляли из пушки, чтобы рабочие шли по домам.

В то самое время, когда строилась крепость, чтобы быть как можно ближе к работам, Петр в 200 сажнях от крепости, на месте, где стояла бедная рыбацья хижина, велел построить для себя царский дворец, сохранившийся и до сих пор под именем Домика Петра Великого. В нем всего только две небольшие комнаты, разделенные узкими сенями и кухнею. Внутри они обиты полотном и просто выбелены, без всяких украшений; в комнатах та же простота. Снаружи домик был выкрашен на манер голландских, под кирпич; крыша покрыта дощечками, в виде черепицы; оконные рамы из свинцовых желобков. На крыше были укреплены по середине — мортира, а по обоим концам конька — две пылающие бомбы, но и та и другая — деревянные, выкрашенные.

Недалеко от дворца Меншиков построил для себя более обширный и великолепный дом, но тоже деревянный; в нем Петр принимал иностранных послов, отчего его иногда называли посольским домом; в нем давались торжественные обеды и пиры. Далее за до-

мом Меншикова, на берегу Большой Невки построили себе дома Головкин, Брюс, Шафиров, да разбросаны были шалаши рабочих и сараи для них на зимнее время.

Подле крепостного моста находилось еще здание, куда и царь, и все вельможи, и простые рабочие заходили выпить рюмку водки и закусить; это была гостиница Остерия, впоследствии получившая название Австерии четырех фрегатов; здесь продавали вино, пиво, мед, табак и карты. За Остериею, на севере, были наскоро построены лавки — торговые ряды.

Без флота удержать нового завоевания нельзя было, поэтому, лишь только работы были распределены и пущены в ход, Петр занялся устройством Флота: в новгородском воеводстве, на реке Сясе устроена была верфь, с которой в 1703 году спустили три шнявы и до 300 различных перевозных барок.

Петербург как бы выростал из земли по мановению волшебника, но его надобно было защищать с твердой земли и с моря; вице-адмирал Нуммерс с 9 кораблями стоял в устье Невы; на него нападать нельзя было за совершенным недостатком военных судов. Шведский генерал Крониорт с значительным войском стоял на реке Сестре; чтобы защититься от нападения со стороны Невы, Петр на мызу Васильевского острова в том месте, где теперь Биржа, на Стрелке поставил батарею; а сам с сухопутным войском и с конницею пошел на Крониорта. Этот свой окончившийся победою поход — Петр собственноручно описал Ромодановскому, одному из своих приближенных.

Когда больше нельзя было ожидать немедленного нападения шведов, Петр занялся постройкою кораблей; он поехал на берега Свири в Лодейное поле, где строились под наблюдением брата Александра Даниловича Меншикова фрегаты и другие военные суда.

Петр собственноручно заложил там одну шняву и приказал доделывать ее через 13 недель после него.

С 1 августа 1703 года начался спуск судов, выстроенных на верфи Лодейного поля; спущена шнява *Wilkommen* в честь Меншикова, приехавшего в тот день. Через неделю спущен фрегат *Штандарт*; Петр, под своим личным наблюдением, оснастил его и пошел на нем к Петербургу; это был царский фрегат и Петр почти не расставался с ним: плавал по Неве и только выжидал отступления Нуммерса, чтобы выйти в Финский залив. В начале октября Петр разъезжал на *Штандарте* по Ладожскому озеру, когда получил от Меншикова письмо, в котором тот доносил ему, что Нуммерс, стоявший в устье Невы, ушел, должно быть на зиму.

Это известие обрадовало Петра и он тотчас поплыл к Петербургу; по Неве уже шел лед; несмотря на это, Петр сел на яхту и вышел в море. Низменный остров Котлин или Ретусари, находящийся в 25 верстах от Петербурга, обратил на себя внимание Петра: несмо-

тря на льдины, плывущие по реке, царь с лотом в руках внимательно измерял морскую глубину вокруг острова. Он нашел, что на севере, со стороны Финляндии, много мелей и камней, и поэтому, плавать кораблям с той стороны неудобно; но напротив с южной — фарватер совершенно хороший и удобный. В изобретательном уме Петра явилась мысль укрепить остров и посредством этого затруднить доступ к Петербургу; на Котлине выстроить сильную крепость и на пушечный выстрел от нее к югу, на берегу выстроить другую крепость, так чтобы вполне защитить Петербург с моря, «как бы Дарданеллами», — говорил Петр.

Затем забота о средствах защиты Азовского моря против турок призвала его в Воронеж, но это нисколько не изглаживало у него однажды появившейся мысли. Из Воронежа Петр прислал Меншикову модель крепости, сделанной им собственноручно, чтобы яснее выразить свое намерение. Он приказал, не теряя времени, приняться за дело: пока лед стоит на Неве, опустить в назначенном месте деревянную крепость, нагрузив ее землею и камнями, и поставить на нее несколько пушек. Из огромных деревьев, при сильном зимнем холоде, построены были ящики, вышиною в 10 футов, наполнены камнями и опущены в воду. В начале мая 1704 года Петр освящал новую крепость; с митрополитом Иовом он приехал на яхте, осмотрел работы, остался доволен, при себе поставил батарею из 4 пушек и назвал морское укрепление Кроншлотом, или Коронным замком. В продолжение трех дней длилось торжество; на Котлине острове, на том месте, где впоследствии построен был Кронштадт сделана была батарея в 60 пушек.

Кроншлотскому коменданту даны приказания самые строгие: указано, как защищаться, как стрелять из пушек; приказано защищаться до последнего человека. Указано не доверять незнакомым кораблям и пушечным выстрелом заставлять их останавливаться, чтобы посылать подробно разведывать: какой корабль, откуда идет и зачем; осматривать каждый корабль, нет ли где тайно запрятанных людей, оружия или военных припасов. Указано, каких почестей цитадели требовать от проходящих кораблей, но больше всего приказано опасаться неприятельских брандеров и собственного огня.

Иностранцы не мало удивились, когда узнали от наших посланников, что у Петра на Балтийском море уже есть флот из 20 кораблей и фрегатов и 78 галер и судов меньшего размера, а, главное, что в 6 милях от Петербурга, на острове Котлине, есть укрепление, и на самом фарватере построена крепость, со множеством пушек, и построена она зимою, в жестокий мороз, из дерева и камней, и теперь уже вооружена пушками.

В январе 1724 года император издал новый указ, в котором указал монашеству новый круг деятельности; он исторически изложил в указе происхождение и развитие монашества, указал, что каждый

человек обязан приносить какую бы то ни было пользу отечеству, и что даже стремление к уединению и молитве не избавляет человека от этой обязанности, и вследствие этого предписал синоду разделить всех монахов на две категории и поставить им две цели: 1) одни должны служить страждущему человечеству, 2) другие образовать из среды себя властей церковных, доступных исключительно монашествующим. Первым монахам вменялось в долг ходить за больными, ранеными воинами, за нищими, которых предполагалось помещать в монастыри, по два и по три человека на монаха, призывать покинутых младенцев, заводить при монастырях школы. Некоторые монахи должны были обрабатывать земли, отведенные к монастырям, чтобы трудом своим промышлять себе хлеб. Таким образом, по предположению Петра, монастыри превратились бы в госпитали; богадельни и приюты. То же самое предполагалось и для женских монастырей: монахини должны были прислуживать бедным, дряхлым и больным и кроме того воспитывать сирот, для чего отделены были некоторые монастыри; в иные Петр послал искусных мастериц с прядильного двора, чтобы учить молодых монахинь прядильному мастерству. Для приготовления ученых монахов предполагалось учредить две семинарии, одну в Петербурга, другую в Москве. Кроме того ученые монахи еще должны были писать книги для распространения истин религиозных в народе.

Петр принимал также разные меры для улучшения положения и для распространения образования среди белого духовенства. Так, он постановил, чтобы волею или неволею, но дети всех церковнослужителей поступали в школу.

Общественный образ жизни еще в Москве потерпел большие изменения с той минуты, когда женщины перестали быть затворницами, когда старый русский костюм заменился европейским. Но перемена эта в Москве находила много противников; вековые привычки трудно сбрасывались в местах, где жили отцы и деды по старине, где странно было видеть модный европейский костюм рядом с душегрейкой и сарафаном старой боярыни.

Нравы

За то в Петербурге Петр наслаждался своей новой европейской столицей; тут и костюмы все европейские, и дома построены без теремов, с окнами на улицу; самый Невский проспект, улица длинная, прямая, широкая, вымощенная плитами и камнем, не напоминал узких кривых улиц Москвы. Пленные шведы проложили Невский проспект, вымостили его, усадили длинной прямой аллеей с лужайками по сторонам и каждую неделю мели его.

Прочных построек было еще немного, но все, какие были, носили отпечаток европейской архитектуры: у домов вход бывал не со двора, а прямо с улицы. Жители Петербурга составляли как бы

одно большое семейство, веселились и работали вместе, под надзором царя. Петр от ранней молодости любил общественные увеселения и характер этот невольно сообщился жителям новой столицы.

Немецкие музыканты в полдень играли на трубах и на флейтах. На Троицкой площади стояла аустерия, гостиница, куда, следом за Петром, или и сами собою ежедневно приходили почетные члены города и правительственные лица, чтобы выпить рюмку водки и закусить; здесь же, перед аустерией, делали обыкновенно фейерверки и иллюминации. Тут же, на открытом воздухе, устроен был дощатый сарай, и в нем давали театральные представления.

В торжественные праздники, около пяти часов пополудни, на Царицыном лугу выстраивались гвардейские полки, и сам царь угощал их вином и пивом. В саду у фонтана сидела царица с своим двором, и надобно сказать, что европейские обычаи здесь уже вполне вытеснили старые русские: двор великолепием костюмов не уступал любому германскому двору. За то личный двор царя был прост; у него все придворные чины заменялись деньщиками. В саду угощение тоже было очень незамысловатое; пили вино и пиво; и то и другое гренадеры приносили в больших деревянных чанах. Высшее духовенство участвовало в этих праздниках и веселилось не меньше остальных гостей. Летом в открытой галерее сада, со стороны Невы, начинались танцы и продолжались до полуночи.

В день полтавской битвы, на площади Троицкого собора обыкновенно раскидывали палатку с походною церковью. Петр надевал тот самый костюм, какой на нем был в день победы, т. е. зеленый кафтан с красными отворотами, с кожаной черною португеей; на ногах — зеленые шерстяные толстые чулки и старые изношенные башмаки, в правой руке пика, под левою мышкою старая шляпа.

Самое сильное угощение бывало в день спуска корабля; тут обыкновенно вино лилось рекою и Апраксин и Данилыч (Меншиков) выпивали лишнее. Апраксин заливался слезами, а Данилыч падал на стул, на скамейку и засыпал мертвым сном.

Одно из любимых общественных удовольствий в парадизе было катанье по Неве. У жителей Петербурга, для удобнейшего сообщения по большой реке, были парусные и гребные суда, полученные по большей части из казны безденежно. Вся эта ручная флотилия называлась Невским флотом; у нее был свой адмирал. Но воскресеньям, или когда вздумается, в известном месте выставлялся флаг с пушечным выстрелом. Немедленно весь Невский флот распускал вымпела и флаги; паруса и весла сверкали на солнце, и вся флотилия собиралась к крепости; кто не являлся — платил штраф. Царь с царицею и со всеми детьми принимали участие в этом катанье; у многих богатых людей на лодках бывал хор музыкантов или песенников; катанье продолжалось по несколько часов и отменялось только по причине сильного восточного ветра.

Маскарады были тоже не только общим, но даже обязательным для всех увеселением; распределялось, кому в каком костюме являться. Из Петровских вельмож гостеприимством и хлебосольством отличался особенно Апраксин; нигде не угощали так радушно, нигде так много не пили; сам хозяин внимательно следил за гостем и, ежели тот не пил, подходил к нему, кланялся в пояс, просил сделать ему честь, не обидеть его, и когда гость наконец склонился на просьбу хозяина, то он радостно восклицал.

Столько же обязательным общественным увеселением, как общее катанье по Неве, были ассамблеи. В 1718 году были изданы правила, относительно собрания ассамблей. Это собрание вольное, или ассамблея, учреждалось не только для забавы столичных жителей, но и для дела, потому что тут можно было видаться с кем угодно и переговорить о деле.

Хозяин дома, где назначалось быть ассамблее, или письмами, или вывескою, или другим каким знаком давал знать, что дом его готов принять гостей и к нему может идти всякий знакомый и незнакомый, мужчина и дама. Ассамблея начиналась в 5 или в 4 часа пополудни и продолжалась до 10 ч. вечера. Хозяин не был обязан встречать и провожать гостей, или угощать их; мог даже не быть дома. Но он обязан был очистить несколько комнат, приготовить столы, свечи, игры на столах, питье для тех, кто попросит. Каждый мог приезжать и уезжать когда угодно в назначенное для ассамблеи время. Всякий на ассамблее делал, что хотел: мог сидеть, ходить, играть, курить и пить; вставанье, провожанье и всякие другие церемонии строго запрещались, под опасением штрафа великого орла, т. е. вместо штрафа надобно было выпить огромный кубок вина. Только при первом появлении и при отъезде — присутствующие кланялись. В ассамблеи могли ходить, начиная с высших чинов до обер-офицеров и дворян; туда же допускались знатные купцы и начальные мастеровые люди; слугам и лакеям в ассамблеи входить не позволялось; они должны были оставаться в сенях. Дамы участвовали в ассамблеях, и там иногда бывали танцы.

Таким образом Петр воспитывал народ свой! Он своею деятельностью хотел пробудить деятельность своего народа, он его учил и заниматься, и веселиться. Ему хотелось, чтобы все окружающие работали и веселились от избытка сил душевных, как он. [10, 34—380]

Петр I

Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.

Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи, — все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей.

Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы — в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.

Наваривали лапы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Смахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпкой) ковырял в углях, приговаривал:

— Не ленись, не ленись, поддай...

Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно длинными клещами поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое — наварка такой большой части...

Жемов, — обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:

— Берись... Слушай... (И — Петру.) В самый раз, а то переждем... (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались... Давай!..

Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальной. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов — уже шепотом:

— Нагибай, клади... Клади плотнее... (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся веником стал смахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что же ты! Давай!

— Есть.

Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне, — едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил.

— Плотнее! — крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу, Жемов постукивал молотком — так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.

Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:



Что ж, бывает, Петр Алексеевич... Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то, — так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела... [9, 378—379]

А. Н. Толстой

Вступление

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, тонким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;

Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Новы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих модных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.
Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра! [6, 274—276]

1

— Государь ты наш батюшка,
— Государь Петр Алексеевич,
Что ты изволишь в котле варить?
— Кашицу, матушка, кашицу,
— Кашицу, сударыня, кашицу!

2

— Государь ты наш батюшка,
— Государь Петр Алексеевич,
А где ты изволил крупы достать?
— За морем, матушка, за морем,
— За морем, сударыня, за морем!

3

— Государь ты наш батюшка,
— Государь Петр Алексеевич,
— Нешто своей крупы не было?
— Сорная, матушка, сорная,
— Сорная, сударыня, сорная!

4

— Государь ты наш батюшка,
— Государь Петр Алексеевич,
А чем ты изволишь мешать ее?
— Палкою, матушка, палкою,
— Палкою, сударыня, палкою!

5

— Государь ты наш батюшка,
— Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет крутенька?
— Крутенька, матушка, крутенька,
— Крутенька, сударыня, крутенька!

6

— Государь ты наш батюшка,
— Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет солона?
— Солона, матушка, солона,
— Солона, сударыня, солона!

— Государь ты наш батюшка,
 — Государь Петр Алексеевич,
 А кто ж будет ее расхлебывать?
 — Детушки, матушка, детушки,
 Детушки, сударыня, детушки! [8, 154—155]

А. К. Толстой, 1861

ВОЕННАЯ ГЕРОИКА

Большой интерес представляют исторические песни XVIII в. Развитие фольклора в России отразило сдвиги, происшедшие это время в экономической и политической жизни страны. Одно из центральных мест в истории России первой четверти столетия занимает Северная война (1700—1721 гг.). Она открыла новый этап в истории России, оказала большое воздействие на развитие национального сознания, в то же время послужила началом целой серии войн, которые пришлось вести народам России в XVIII столетии.

Русский народ сложил песни о Полтавском сражении, о взятии русскими войсками Шлиссельбурга, Риги. С другой стороны, в песнях отразилось разорение народа, восстание стрельцов, крестьянская война под руководством Булавина.

Чем же отличаются исторические песни XVIII века от песен, предшествующих столетий? Изменился прежде всего главный герой песен — им стал простой рядовой солдат и собирательный образ коллектива. В России появилась регулярная армия, с ее сознанием сражение в фольклоре не представляло теперь сумму поединков отдельных воинов, как это было раньше в Древней Руси. Отныне исход сражения решали объединенные усилия множества людей, сведенных в воинские подразделения, скованных единой воинской дисциплиной и действовавших по законам современной военной науки. К солдатам, как к главной силе, теперь обращаются военачальники. В песне «Из славного города из Пскова» Б. П. Шереметев перед боем спрашивает солдат и драгун, могут ли они «...супротив неприятеля постояти». Солдаты говорят, что готовы «...един за единого умерети».

В песнях дается обобщенный образ битвы, выигранной солдатами, применяется древнее сравнение боя с пашней. Распахана Шведская пашня, Распахана солдатской белой грудью Орана Шведская пашня Солдатскими ногами. Боронена Шведская пашня Солдатскими руками. Посеяна новая пашня Солдатскими головами. Поливана новая пашня Горячей солдатской кровью.

Близкую картину изображают и украинские песни:

Чорна роля [земля] заорана, Кулями заяяна, Бшимплом зволожена, І кровью сполощена.

«Чтобы русские солдаты больше полюбили знамена, под которыми они сражались, — писал один из военных историков

XVIII века, — он [Петр] дал русским полкам имена русских земель, и в полку было знамя с гербом той земли, которой назывался полк. Через это солдат почитал себя принадлежностью государства так как служил в полку, носившем имя одной из частей государства».

В исторических песнях XVIII века солдат знает себе цену. В песне «Петр Первый и молодой драгун» солдат осмеливается бороться с самим царем, причем победу одерживает солдат.

В исторических песнях этой эпохи война изображалась как реальное, бытовое явление, обычное для солдата. Точно отмечалось место, где произошло сражение, называлось имя военачальника, рассказывалось о вооружении войска, о движении воюющих армий, об использовании того или иного оружия: «Запалила тут Шереметева пехота из мелкого ружья из мушкетов. Как не гром перед тучей грянул: Троил пушка разрядилась. У боярина сердце разъярилось. Не сыра земля расступилась. Не сине море всколебалось. Примыкали штыки на мушкеты; Бросили ружья на погоны. Вынимали острые сабли, Преклонили булатные копыя. Гнались за швецким генералом до самого города до Дерпта...»

Народ рассказал и о репрессиях Петра I и его правительства. Сохранился целый цикл песен о восстании стрельцов. В них сочувственно изображаются рядовые стрельцы и их руководители. Стрельцы поэтически сравниваются с «зеленым садом», который царь хочет «выжечь, вырубить». В одной из песен Петр I говорит стрелецкому начальнику:

Ох ты гой еси стрелецкий атаманушка! И нет от меня вам милости, Ступай, сбирал стрелецко свое войско, Гони ты их на Красну площадушку, А которых на поле Куликово то:

Об отношении армии к нему поэтически поведано в песне «Солдат оплакивает кончину Петра I»: Ах ты батюшко светел месяц. Что ты светишь не по-старому, Не по-старому, не по-прежнему, Все ты прячешься за облаки, Закрываешься тучей темною. Что у нас было на святой Руси, В Петербурге в славном городе, Во соборе Петропавловском, Что у правого крылоса, У гробницы государевой, Молодой солдат на часах стоял, Стоючи, он призадумался, Призадумавши, он плакать стал, И он плачет, что река льется, Возрыдает, что ручья текут, Возрыдаючи, он вымолвил: «Ах ты матушка, сыра земля, Расступися ты на все стороны, Ты раскройся, гробова доска, Развернися ты, золота парча, И ты встань, проснись, православный царь, Посмотри, сударь, на свою гвардию, Посмотри на всю армию. Уж все полки во строю стоят,

Все полковники! — при своих полках. [2, 42—47]

ХРИСТОС И АНТИХРИСТ («отец и сын»)

Опять послышались голоса, опять зарделась в темноте красная, точно кровавая, точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела

сына с отцом в месте, слишком узком, чтобы разойтись. У царевича и тут еще мелькнула было отчаянная мысль — спрятаться, проскользнуть или опять шмыгнуть зайцем в кусты. Но было поздно. Петр увидел его издали и крикнул:

— Зоон!

По-голландски зоон значит сын. Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе, не только по-голландски, но и по-русски.

Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана, — на Петре был сильно поношенный темно-зеленый Преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами, — потом жесткую мозолистую руку.

— Спасибо, Алеша! — сказал Петр, и от этого давно не слыханного «Алеша» сердце Алексея дрогнуло. — Спасибо за гостинец. В самую нужную пору пришелся. Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавил, бурей на Ладоге разбило. Так, ежели б не твой подарок, с новым-то фрегатом и к осени бы, чай, не управились. Да и лес — от — самый добрый, крепкий что твое железо. Давно я этакого изрядного дуба не видывал!

Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Порецкой волости Нижегородского края, давно уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда, в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву, как раз вовремя, и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых, услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя — знал, что и эта услуга, так же как все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную, мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большею суровостью.

И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилось от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что «всегда для батюшки рад стараться», и хотел еще раз поцеловать руку его. Но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо, с полными, почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усиками, — «как у кота Котабрьса», говорили шутники, — с прелестною улыбкою на извилистых, почти женственно-нежных губах; увидел большие темные, ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины; почувствовал с детства знакомый запах — смесь крепкого кнастера, водки, пота и еще какого-то другого не противного, но грубого солдатского

казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате — «конторке» отца; почувствовал тоже с детства знакомое, жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посередине, такую странную, почти забавную на атом грозном лице; ему казалось, а может быть, снилось только, что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением: «совсем, как у бабушки!»

Ему семнадцать лет — те годы, когда на прежних московских царевичей, только что «объявленных», люди съезжались смотреть, как на «дивовище». А на Алешу уже взвален труд непосильный: ездит из города в город, закупает провиант для войска, рубит и сплавляет лес для флота, строит фортеции, печатает книги, льет пушки, пишет указы, набирает полки, отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертной казни, почти ребенок, над такими же ребятами, как он, «без всякого пардона, чинит экзекуцию», сам накрепко смотрит за всем, «дабы фальшиво не было», и посылает батюшке точнейшие реляции.

От немецких склонений к болверкам, от болверков к попойкам, от попок к сыску беглых — голова кругом идет. Чем больше старается, тем больше требуют. Ни сроку, ни отдыху. Кажется, издохнет от усталости, как загнанная лошадь. И знает, что напрасно все — «на батюшку не угодит никто ничем».

В то же время учится, как школьник. «Недели две будем твердить одного немецкого языка, чтоб склонениям в твердость было, а потом будем учить французского и арифметики. А учение бывает по вся дни».

Наконец, надорвался. В январе 1709 года, и великие морозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украину, в город Сумы, пять полков, которые сам набрал, и которые должны были участвовать в Полтавском бою, по дороге простудился, заболел и несколько недель пролежал без памяти — «отчаян был в смерть».

Очнулся в солнечный день ранней весны. Вся комната залита косыми лучами желтого спета. За окнами еще снежные сутробы. Но с ледяных сосулек уже падают капли. Журчат весенние воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песня жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежнее, милое, полное нежностью.

— Светик мой родненький, легче ли?..

Не имея сил ответить, Алеша только улыбается.

— Ну, слава Богу, слава Богу! — крестится отец благоговейно. — Помилвал Господь, услышал молитвы мои. Теперь, небось, поправишься!

Царевич узнал впоследствии, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствия и дал обет построить церковь во имя св. Алексия человека Божия.

Наступили радостные медленные дни выздоровления. Алеше казалось, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, исцеляют его. В блаженной истоме, со сладостной слабостью в теле, целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые страшные милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую, улыбку женственно-тонких, извилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия, точеную из слоновой кости табакерку, с надписью: *Малое, только от доброго сердца*. Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз, бывало, как взглянет на нее, — что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу, пронзит ему сердце.

В другой раз, тихонько глядя сыну волосы, Петр проговорил смущенно и робко, точно извиняясь:

— Ежели сказал я тебе, или сделал что огорчительное, то для Бога, не имей о том печали. Прости, Алеша. В трудном житии и малая противность приводит в сердце. А житие мое истинно трудно: не с кем ни о чем подумать! Ни единого помощника!..

Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками, и весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо:

— Батя милый, родненький, люблю, люблю!..

«Сын. Изволь быть к нам завтра на Зимний двор. — Петр».

Алексей не испугался, не удивился; как будто заранее знал об этом свидании — и ему было все равно.

В ту ночь приснился царевичу сон, который часто снился ему, всегда одинаковый.

Сон этот связан был с рассказом, который слышал он в детстве.

Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребенное в трапезе церкви Николы-на-Столпах и пролежавшее семнадцать лет в могиле тело врага своего, друга Софьи, главного мятежника, боярина Ивана Милославского; открытый гроб везти на свиньях в Преображенское и там, в застенке, поставить под плахою, где рубили головы изменникам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника; потом разрубить труп на части и зарыть их тут же, в застенке, под дыбами и плахами — «дабы, гласил указ, оные скаредные части вора Милославского умножаемою воровскою кровью обливались вечно, по слову Псаломскому: *Мужа кровей и льсти гнушается Господь*».

В этом сне своем Алексей сначала как будто ничего не видел, только слышал тихую-тихую, страшную песенку из сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему сказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенный в козлика, зовет сестрицу Аленушку; но во сне, вместо «Аленушка», звучало «Алешенька» — грозным и вещим казалось это созвучье имен:

Алешенька, Алешенька!
Огни горят горячие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят тебя зарезати.

Потом видел он глухую пустынную улицу, рыхлый талый снег, ряд черных бревенчатых срубов, свинцовые маковки старенькой церкви Николы-на-Столпах. Раннее, темное, как; будто вечернее, утро. На краю неба огромная «звезда с хвостом», комета, красная, как кровь. Чудские свиньи, жирные, голые, черные, с розовыми пятнами, тащат шутовские сани. На санях открытый гроб. В гробу что-то черное, склизкое, как прелые листья в гнилом дупле. В луче кометы бледные маковки отливают кровью. Под санями тонкий лед весенних луж хрустит» и черная грязь брызжет, как кровь. Такая тишина — как перед кончиной мира, перед трубой архангела. Только свиньи хрюкают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске, св. Дмитрия Ростовского, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо: *Мужа кровей и льсти гнушается Господь*. И царевич знает, что муж кровей — сам Петр.

Он проснулся, как всегда от этого сна, в ужасе. В окно глядело раннее, темное, словно вечернее, утро. Была такая тишина — как перед кончиною мира.

Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Афанасьича:

— Вставай, вставай, царевич! К отцу пора!

Алексей хотел крикнуть, вскочить и не мог. Все члены точно отнялись. Он чувствовал тело, свое на себе, как чужое. Лежал, как мертвый, и ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснулся. И в то же время слышал стук в дверь и голос Афанасьича:

— Пора, пора к отцу!

А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как бляенье козлика, пел над ним тихую-тихую, страшную песенку:

Алешенька, Алешенька!
Огни горят горячие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят тебя зарезати.

Такая тоска напала на Алешу, что он готов был разможжить себе голову о стену.

Вдруг, в темноте, кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать ему руки — точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат Преображенской гвардии, случайный товарищ Алешы по караулу, тайный раскольник.

Старик смотрел ему в глаза с такую любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою, и плакал, и шептал, словно молился за него.

— Государь царевич, свет ты наш батюшка, солнышко красное! Сиротка бедненький — ни отца, ни матери. Сохрани тебя Отец Небесный, Матерь Пречистая!..

Отец бивал Алешу не раз, и без чинов кулаками, и по чину дубинкою. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому, по Домострою о. Сильвестра, советника царя Грозного, сыноубийцы:

«Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, донележе растет; аще бо жезлом его биеша, то не умрет, но здравее будет».

Алеша чувствовал животный страх побоев — «убьет, искалечит» — но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. «Ну, что ж, бей! Не меня, себя срамишь» — как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно-покорным и бесконечно-дерзким взглядом.

Но, должно быть, отец догадался об этом; он прекратил побои и придумал злейшее: перестал говорить с ним вовсе; Когда Алеша сам заговаривал, — молчал, точно не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он, чувствовал его всегда, везде, и с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством — такую жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог.

Это молчание было конец всего. Дальше — ничего, кроме мрака, и во мраке — мертвое, неподвижное, точно каменная маска, лицо батюшки, каким видел он его в последний раз. И мертвые слова из мертвых уст: «Яко уд гангранный отсеку, как со злодеем поступлю!»...

Нить воспоминаний оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха; так же синеют белые башни соборов; золотые главы тускло серебрятся в черном звездном небе; млечный путь слабо мерцает. И в дуновении, горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с неба на землю сходит предчувствие вечного сна — тишина бесконечная.

Царевич испытывал в это мгновение как будто усталость всей своей жизни; спину, руки, ноги, все члены ломило; кости ныли от усталости.

Хотел встать, но не было сил, только руки поднял к небу и проstonал, точно позвал Того, Кто мог ответить:

— Боже мой! Боже мой!..

Но никто не ответил. Молчанье было на земле и на небе, как будто и Отец Небесный покинул его, так же, как земной.

Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал, сначала тихо, жалобно, как плачут брошенные дети; потом — все громче и громче, все безумнее. Рыдал и бился головой

о камни и кричал от обиды, от возмущения, от ужаса. Плакал о том, что нет отца — и в этом плаче был вопль Голгофы, вечный вопль Сына к Отцу:

Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?

Вдруг услышал, как тогда, зимнею ночью, на карауле, что кто-то в темноте подошел к нему, склонился и обнял. То был о. Иван, старый ключарь Благовещенский.

— Что ты, родимый? Господь с тобой! Кто обидел тебя, светик мой?..

— Отец!.. Отец!.. — мог только простонать Алеша.

Петр любил Петергоф не меньше Парадиза. Бывая в нем каждое лето, сам наблюдал за устройством «плезирских садов, огородных линий, кашкад и фонтанов».

«Одну кашкаду, — приказывал царь, — сделать с брызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, как стекло; пирамиду водяную сделать с малыми кашкадами; перед большого, наверху, историю Еркулову, который дерется с гадом седмиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода; также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадьми, у которых изо ртов пойдет вода, и по уступам делать тритоны, яко бы играли в трубы морские, и действовали бы те тритоны водою, и образовали бы различные игры водяные. Велеть срисовать каждую фонтанну, и прочее хорошее место в першпективе, как французские и римские сады чертятся».

Была белая майская ночь над Петергофом. Взморье гладко, как стекло. На небе, зеленом, с розовым отливом перламутра, выступали черные ели и желтые стены дворцов. В их тусклых окнах, как в слепых глазах, мерцал унылый свет зари неугасающей. И все в этом свете казалось бледным, блеклым; зелень травы и деревьев серой, как пепел, цветы увядшими. В садах было тихо и пусто. Фонтаны спали. Только по мшистым ступеням кашкад, да с ноздревых камней, под сводами гротов, падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в нем белели, как призраки, бесчисленные мраморные боги — целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли, у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь, подобную ночному дню Аида, в этих бледных тенях теней умершей Эллады была бесконечная грусть. Как будто, воскреснув, они опять умирали уже второю смертью, от которой нет воскресения.

Над низеньким стриженным садом, у самого моря, стоял кирпичный голландский домик — государев дворец Монплезир. Здесь также все было тихо и пусто. Только в одном окне свет: то горела свеча в царской конторке.

За письменным столом сидели друг против друга Петр и Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как в эту ночь, казались прозрачно-бледными.

В первый раз, по возвращении в Петербург, царь допрашивал сына.

Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку.

— Кто из светских, или духовных ведал твое намерение к противности, и какие слова бывали от тебя к ним, или от них к тебе?

— Больше ничего не знаю, — в сотый раз отвечал Алексей.

— Говорил ли такие слова, что я-де плюну на всех — здорова бы мне чернь была?

— Может быть, и говаривал спяна. Всего не упомяну. И пьяный всегда вирал всякие слова и рот имел незатворенный, не мог быть без противных разговоров в кумпаниях и такие слова с надежи на людей бреживал. Сам ведаешь, батюшка, пьян-де кто не живет... Да это все пустое!

Он посмотрел на отца с такую странною усмешкою, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший.

Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу.

— Твоя рука?

— Моя.

То была черновая письма, писанного в Неаполе, к архиереям и сенаторам, с просьбой, чтоб его не оставили.

— Волей писал?

— Неволей. Принуждал секретарь графа Шепборна, Кейль. «Понеже, говорил, есть ведомость, что ты умер, того ради, пиши, а буде не станешь писать, и мы тебя держать не станем» — и не вышел вон, покамест я не написал.

Петр указал пальцем на одно место в письме; то были слова: «Прошу вас ныне меня не оставить ныне».

Слово ныне повторено! было дважды и дважды зачеркнуто.

— Сие ныне в какую меру писано и зачем почернено?

Не упомяну, — ответил царевич и побледнел. [5, 368, 369, 332, 354, 492, 521]

Д. С. Мережковский

ПОЛТАВА

(Отрывок из поэмы)

...Горит восток зарею новой,
Уж на равнине, по холмам

пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули,
В кустах рассыпались стрелки.

Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки;
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжелой твердостью своею
Ее стремление крепит.

И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирив,
Прервали свой голодный рев.
И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ, и радостен как бой.

Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В временах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный
Полудержавный властелин.

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волнение.
Казалось, бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой. Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груды,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит;
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,

Как роем черной саранчи.
Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает. [6, 213—216]

*А. С. Пушкин,
1828—1829*

ПОЛТАВСКИЙ БОЙ. ШВЕДЫ ПРЕКЛОНЯЮТ ЗНАМЕНА ПЕРЕД ПЕТРОМ I. 1709 г.

Все войны Петра I были направлены к одной цели — расширить границы государства Российского до морских берегов и открыть свободные морские пути. В этом он видел залог успехов России.

Петр обратил взоры на Балтийское море, берегами которого русские когда-то уже владели. Но все эти земли были завоеваны шведами еще в Смутное время. А на Балтийском море господствовал сильный флот шведского короля Карла XII. Петр решил завладеть берегами Балтийского моря. 19 мая 1700 года Россия объявила войну Швеции. Вначале русские потерпели поражение под Нарвой — вследствие неустройства своей армии, состоявшей из новобранцев. Карл, считая русских окончательно побежденными, пошел на польского короля Августа II и целых шесть лет пробыл в Польше.

Петр I извлек серьезные уроки из поражения под Нарвой и горячо принялся за укрепление вооруженных сил страны. Срочно были набраны и обучены новые войска. Уже в 1702 году русские войска одержали ряд побед в Прибалтике. Скоро Петр, пробился к давно желанному морю и на одном из островов в устье Невы заложил, 16 мая 1703 года, город, названный Санкт-Петербургом.

К 1707 году Карлу XII удалось разгромить польские войска. Королем Польши стал ставленник Швеции Станислав Лещинский.

Летом 1708 года войска Карла XII вторглись в пределы России. Наступление Карла XII шло через Гродно, Могилев в Малороссию (Украину), где ему была обещана помощь казацким гетманом Иваном Мазепой. Но Мазепе не удалось поднять против Петра I всей Малороссии, он привел к Карлу только небольшой отряд казаков. Гетманом Левобережной Украины единодушно был избран полковник И. Скоропадский, а изменник Мазепа предан был проклятию во всех церквах.

Весной 1709 года шведы осадили город Полтаву. Небольшой гарнизон и жители крепости в течение двух месяцев героически отражали атаки врага. Петр I часть войск направил в Польшу, чтобы



помешать Лещинскому прийти на помощь Карлу XII, а сам с главными силами подошел к Полтаве, решив дать шведам генеральное сражение. Русские выбрали удобное поле и создали укрепленный лагерь.

На рассвете 27 июня 1709 года началась битва. Русские встретили противника перекрестным оружейным огнем с редутов и мощным артиллерийским ударом. Затем на шведов обрушилась конница под командой А. Д. Меншикова. Петр во время сражения оставался под огнем неприятеля и сам распоряжался действиями войск. Пули сыпались вокруг него градом, седло, шляпа и кафтан его были прострелены, поврежден и крест на груди, но сам он оставался невредим. В 11 часов сражение закончилось. Шведское войско было разбито наголову и остатки его взяты в плен. Раненый король с изменником Мазепой бежал в Вендоры. По окончании битвы к Петру со всех сторон съезжались русские генералы и офицеры. Радостный царь перед каждым из них преклонял свой меч и поздравлял с победой. К нему в это время привели шведских пленных — фельдмаршала Реншельда, министра Швеции Пипера, принца Вюртембергского, генералов Гамильтона, Шлиппенбаха. Петр принял их ласково, приказал не отнимать у них шпаги и отвести в русское укрепление.

*А. Д. Кившенко
(1851—1895)*

Надпись к статуе Петра Великого

Се образ изваян премудрого героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.

Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних сопостатов;
И, словом, се есть Петр, отечества отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько оларей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец. [3, 189]

*Ломоносов,
между 1743 и 1747 гг.*

Литература

1. *Державин, Г. Р.* Оды. — Лениздат.
2. *Кузьмин, А. И.* Военная героика в русском народном творчестве. — М.: Просвещение, 1981. — С. 42—43, 47—48.

3. *Ломоносов, М. В.* Стихотворения. — М. : Советская Россия, 1984. — С. 189.
4. *Майков, А.* Стрелецкое сказание. Русская старина. — М., 1990. — С. 105—107.
5. *Мережковский, Д. С.* Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. Христос и антихрист. — М. : Правда, 1990. — С. 368—369, 332—335, 520—521, 492—493, 524—525, 696, 697.
6. *Пушкин, А. С.* Собрание сочинений. В 10 т. — Л. : Наука, 1979. — Т. 2. С. 307 ; Т. 4. — С. 213—216, 274—276.
7. *Пушкин, А. С.* Собрание сочинений. В 10 т. Т. 1. — М. : Правда, 1980. — С. 154—155.
8. *Толстой, А. К.* Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. — М. : Правда, 1980. — С. 154—155.
9. *Толстой, А. Н.* Собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. — М. : Художественная литература, 1984. — С. 378—379.
10. *Чистяков, А. С.* История Петра Великого. — Изд-во Буклет, 1992. — С. 34—42, 144—184, 202—205, 231—241, 478—483.
11. *Шаламов, В.* Утро стрелецкой казни. Стихотворения. — М. : Советский писатель, 1988. — С. 43.

Дворцовые перевороты

МЕНШИКОВ В ССЫЛКЕ

Летопись первая Государева невеста

Мощно, велико ты было, столетие! Дух
веков прежних
Пал пред твоим алтарем ниц и безмол-
вен, дивясь.
Но твоих сил не достало к изгнанию
всех духов ада,
Брызжущих пламенный яд чрез мно-
готысящный век.

*А. Н. Радищев.
Ос്മнадцатое столетие*

Никто не уповай на веки,
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них...

*Михаил Ломоносов.
Псалом № 145*

Глава первая

По самому краю гиблого света течет стылая Сосьва-река. А куда течет — неведомо, и там, за рекой, пусто, только зверь пушистый сигает. Вот на этом-то берегу, распевая псалмы и богохульствуя, одинокий старик с полудня копал могилу.

Ненастно было...

— Ай-ай, дел наделал — всего и не упомнишь! Зато и был он князь двух империй (Российской и Римской), генералиссимус и орденА Андрея Первозванного кавалер. Сердечный друг, «мин херц Данилыч», его высокое сиятельство Алексашка Меншиков — на краю света, в армяке мужичьем, бородатый и страшный, и вот... видит бог: копает могилу!

Для дочери. Для Марьюшки. Для царевой невесты.

— И вознесо-ох избранна-аго-о, — пропел Меншиков сипло.

А в могиле было ему даже хорошо: не обдувал ветер, что забегает с тундры, не виднелись из ямы постылые крыши Березова-городка. Только чистые облака над головой старика — плывут и плывут в неизвестное.

Под вечер вернулся Данилыч к себе в домишко, что срубил саморучно (бревна-то в два венца клал, окошки-то в кругляк вывел — на зависть одичалым березовцам). Семейство опального князя, выплакивая глаза, сумерничало в нетопленых горницах.

Всего двое и остались: сын его Санька да девка малая — тоже Александра. Супругу-то свою, Дарью Михайловну, еще под Казанью навеки оставил — на самом берегу Волги зарыл ее, когда в ссылку обозом тянулись.

— Будет вам! — цыкнул Меншиков на детей. — Пряники-то писаны на Москве остались. И скулить — неча... Мой грех вижу в том, что не отведали вы ранее горбушки серенькой.

Раздул лучину — прошел к покойнице. В кедровом гробу, обитом сукном изнутри, покоилась царская невеста — княжна Марья. А жития ей было осьмнадцать лет. И хвори она никакой не знала — просто тоска приключилась. «В Москву, — плакала перед смертью, — в Москву бы мне...» Торчал теперь из кружев остренький носик, а губы раскрылись в смерти — губы, царем недавно целованные.

Меншиков подул на замерзшие пальцы, долго и неумело вдевал серьги в занемевшие мочки покойницы. Вдел кое-как, и затрясся в рыданиях гордый подбородок:

— Эх, Марьюшка... быть бы тебе императрицей! Почто не отдал я тебя за Сапегу? Жила бы в Польше... Внука бы мне... внука!

После погребения не мог Данилыч отойти от дочерней могилы. Все на другой берег Сосьвы посматривал. А там синел корчеватый лес да стелились вдали тобольские тундры — края постылые, жуткие, безлюдные... И сказал сыну и дочке с лаской:

— Детушки, вы домой ступайте. Не то озябнете, чай! А сам примерился глазом, сразу помолодевшим. Лопатой отсек добрую сажень и торопко начал копать другую могилу. Рядом с дочерней — только пошире, только поглубже... Страшно стало, и в рев ударились княжата:

— Тятенька, тятенька! Не пужайте нас, миленькой... На што вторую-то грабстаете? Ой, горе нам, сырм Меншиковым...

Данилыч знай копал — быстро и сноровке.

— Не вам, не вам, — ответил. — А имени несчастному моему!

И вскорости правда слег. Сначала интерес к еде потерял.

Пил только воду с брусникой.

Лежа на полатах под шубами, начитывал Данилыч мемуар свой, а княжата записывали. Память не изменяла временщику: баталии да кумпанства, виктории громкие да ретирады стыдные — все он помнил... Все! А однажды поманил к себе сына поближе:

— Глуп ты, чадушко, но смекни. Деньги-то мои при банках надежных лежат — в Лондоне и Амстердаме. Смотри же, Санька: как бы тебе на дыбе из-за них не болтаться...

Юный князь вяло шевельнул бесцветными губами:

— Сколько ж там у нас, тятенька?

— Да миллионов с десять, почитай, набезит... Велик грех!

Тоненько и горестно заплакала дочка:

— Ой, лишенько! Оскома от клюкв и брусник здешних, вишенок бы мне московских из садика... Желая я на Москве показаться!

Вспомнил тут Данилыч, как отказал жениху ее, принцу Ангальт-Дассаускому, потому как мать его была аптекарской дочкой.

— Терпи, — сказал. — Да за казака ступай здешнего. Что прынци, что казак — едина доля тебя ждет, бабья...

В конце короткой тобольской осени, когда метельные «хивуса» залепили снегом окошки, почуял Меншиков смерть и выпростал из-под вороха шуб свою жилистую руку.

— Вот она... пришла, стало быть, за мною! Ну, так ладно.

Велел камзол нести да брить себя. Без бороды, принаряженный, стал он тем, каким его ранее знали. Даже глаз с искрой сделался — будто в знатные годы. Губы, всегда скупые, размякли, добраея.

И все замечал с одра смертного. Эвон паутинка в уголке ткется, у лампадки фитилек гаснет, мышонок корочку в нору себе прячет. Вот и мышонок сей жить останется. Березовская мышь — не московская: что она знает-то? «А я, князь светлейший, помираю вдали от славы и палат белокаменных... Обида-то какая! — содрогнулся всем телом, — Мыши — и той завидую...»

— Прощайте все, — произнес внятно.

Над ним склонился сын — в грудь отца вслушался:

— Поплачь, сестричка: изволили опочить во веки веков наши любезные тятеньки, Александры Данилычи... Но глаз временщика открылся снова — круглый.

— Еще нет, — сказал Меншиков. — За мной слово остатнее. Не раз, детушки, помянете вы дни опальные, яко блаженные! И завещаю вам волю отцовскую: подале от двора царева живите. Не со-владать вам... Вот и все. А теперь — плачьте!

Матвей Баженов, мешанин Тобольской губернии, хоронил грозного временщика... В мерзлую землю, посреди голубого льда, поставили тяжелую гробовину и засыпали землей пополам со снегом. Великие сибирские реки, во едину ночь морозами смиренные, уже звонко застыли: открылся до Москвы путь санный — тысячеверстный.

Петр II

Долго едет казак на заиндевелой лошадке. Гремят в котелке мерзлые куски щей, наваренных бабою на дорожку, да стучаются в мешке вкусные пельмени. У редких станков ямских пьет казак горячую водку. Корявым пальцем достает из лошадиных ноздрей острые сосульки. Коль не вынешь их — кобыла падет, а казак пропавает.

Больше месяца ехал служивый по сверкающему безлюдью снегов. Но вот потянуло дымком над долиною Иртыша: Тобольск — пупок всей Сибири, город важнецкий, при губернаторе и чиновном люде. За щекой у казака пригрелся серебряный рубль. Ух, и загуляет же казак на раздолье кабаков тобольских, вдали от жены и урядника!

Но допрежь вина — дело. В сенях канцелярии казак сбросил гремящую от мороза доху, ружьецо курком к стенке прислонил и достал пакет из-за теплой пазухи.

— Эй, люди! — объявил казак. — Дело за мной государево да спешное. Во Березове-городке на Аксинью-подзимницу скончал живот свой поругатель царя и отечества бывший князь Меншиков, персона известная... На чью руку мне депеш о том скласть?

А до Москвы от Тобольска еще более двух тысяч верст. Медленно движется обоз из Сибири: посылают соболей да серебро в казну царскую — ненасытную; везут кяхгинскую камку да черный чай, зашитый в кожаные «шири» Под полстью храпит в возке крытом пьянственный поручик (командир обозный). Иной час протрезвеет и гаркнет в лютую морозную ночь:

— Эй, наррроды дикие! Водки бы мне... Хо-адно. Грустно. Москва же это время жила сумбурно и лиходейно, во хмелю, в реве охотничьих рогов, в драках да плясках. «Эй-эй, пади!» — И по кривым улицам пронесется, давя ползунов-нищих, дерзкий всадник на запаренной лошади. Бок о бок с ним проскачет князь Иван Долгорукий, а за ними гуртом дружным (с белыми соколами, что вцепились когтями в перчатки) промчатся с гиком да свистом доезжачие, кречетники, псари, клубушечники...

И падет народ по обочинам: то сам царь — его величество Петр Второй, внучек Петра Первого да Великого. От плоти царевича Алексея, что казнен был гневливым батюшкой, урожденный. А в Воскресенском монастыре, средь кликуш и юродивых, еще доживала свой век его бабка — царица Евдокия Лопухина.

Год 1729-й — год на Руси памятный: канун раздоров, крамол боярских и разливов крови российской...

Ждите, люди, беды народной — беды отечественной!

Времечко-то ненадежное — без ласки к людям, без приветности душевной. Вот и воронья на Москве стало много. Старые люди крестились походя: «К беде, стал быть, коли каркают». Ивашке Козлятину, что у Ильи-пророка на Теплых Рядах дьяконствовал, опять виденьице было: будто бы покойный царь Петр Алексеич из гроба восстал, а от дыхания его так и пышет. Ивашка в приказе Преображенском пытан был и на огне ленивом, плетьюми дран, показал допытчикам: мол, так оно и было... восстал и пышет!

Приказ Преображенский тот вскоре уничтожили, и притихло бы вроде все: ни тебе «слова», ни «дела». Только у рогаток замшелые дониконианцы на люд прохожий двумя перстами грозилась. О Страшном суде покрикивали сердито: «Нонешний Синод — престол антихристов, скоро вера сыщется, и будет людям жить добро, да не долго!» А в кружалах и фартинах царских грамотеи книжные шепотком подметные письма читали. В них о райской землице сказано было. Есть, мол, такая за Хвалынь — морем, идти до нее надобно сорок дён, не оборачиваясь. А коли обернулся, милок, то и пропал...

Крестьянство пребывало на Руси в великом оскудении: войны Петра I прошлись податями по мужицким хлевам да сусекам. Пovyбили скотинку, повымели мучицу. Армия тоже притомилась в походах. Изранилась, поизносилась. Люди воинские от семей отбились — блудными девами пробавлялись. А на базарах дрались, воровали и клянчили калеки — обезноженные, обезрученные, стенами крепостными при штурмах давленные, порохом паленные... Всякие!

Дорого дались России победы азовские, на лукоморьях Гиляни каспийской да в землях Свойских — полуночных. Теперь офицерство промеж себя толковало так-то:

— Ныне малость и отдохнем! Государь пока младехонек, войны не учнет. Лисичку где на охоте пымает — и рад! Да и Верховный совет тайный, слава те господи, к миру склонен...

А напившись тройной перцовой (которая горит — свечку поднеси), рвали на себе мундиры жиденького суконца, рубили шпагами по тарелкам, плакались горько и себя жалели:

— Мало, што ли, погигло да потопло нашего корени — дворянского? На што нам Питерсбурх да галеры мокрые? Не нанимались в каторгу, чтобы грести по морю веслами... Виват шляхетство!

И правда, Петр II от моря Балтийского отъехал подальше. Как явился в Москву на коронацию, так и остался в покоях дворца Лефортовского, на слободе Немецкой; в уши ему дудели бояре:

— Вот, осударь, Москва-матушка — куды-ы там до нее Питеру, что на болотах ставлен. Тамо-тко и дух гнилой, чухонский. И дичи

той нету, а у нас — эвон: из окна стебай лебеда любого — еще десять летит к тебе, чтобы вашему величеству угодить...

Царь-отрок на Москве прижился и закапризничал:

— Что это умники, словно гуси лапчатые, о водах Балтийских пекутся? Не хочу плавать флотски, как дедушка! Велите на площадях указ мой под барабан бить: чтобы под страхом наказания свирепого не болтать никому — вернусь в Питерсбурх или нет! Мое то дело, государево: где желаю, там и живу...

Кляня русские порядки и бездорожье, кутаясь в меха и одеяла, иноземные посольства тоже потянулись в Москву. Поближе к интригам двора, к теплым печам московского боярства, к варварской музыке бестолковых куртагов, к широкоплечим русским красавицам.

Петербург опустел. Замело сугробами едва намеченные перспективы. От Невского монастыря да с чухонской Охты забежали прямо в «парадиз» волки и выедали из будок сторожевых собачек. Иногда рвали в клочья и запоздалого путника. Флот получил из Москвы грозный приказ: «Далеко не плавать!»

В один из дней москвичи проснулись от грохота. По кривым проулкам, дребезжа станками, тянулся громыхающий обоз. Это переехал в Москву и Монетный двор. Где власть — там и деньги. А следом за станками ехали великие возы с великими бочками. Везли в этих бочках не рыбу — везли архивы Двенадцати коллегий. Без бумаг, как и без денег, не стало житья русскому человеку.

Петру II было тогда всего четырнадцать лет. Дядькою при нем состоял князь Алексей Григорьевич Долгорукий, а воспитание царя-отрока было поручено вице-канцлеру — барону Андрею Ивановичу Остерману, который иногда прокрадывался в двери императора.

— Ваше величество, не пора ли нам занятия продолжить?

Но барона силком выталкивал прочь дядька царя.

Ступай с богом, Андрей Иваныч, — говорил Долгорукий. — Кака там учеба? Каки еще занятия? Вчера только пороша выпала... Собаки с вечера кормлены... по первопутку волка травить едем!

Глава вторая

И по ночам в честные дома вскакивал гость — досадный и страшный...

Князь Мих. Щербатов

Спит Москва боярская, развалилась дворами в темноте сугробов, в тупиках переулков, что бегут от Мясницкой вдоль Тверской-Ямской — аж к лукавому на кулички. Одинокой искрой светится окошко на самом верху Сухаревой башни. Редко проползет в тени заборов хожалый, да хорошо (мертвецки!) спится пьяницам, которых утречком божедомы соберут в одну братнюю могилу — без родства,

без племени. И крест водрузят упившимся — один крест на всю братию!..



От рогатки вдруг заголосил страж города:

— Кто едет? Не худой ли человек? А то — вертай вспять...

На сытых лошадях под золотыми попонами ехали от заставы трое в масках, словно разбойники. «Эть!» — сказал один и кистенем вмах уложил стража в сугроб, отлетела в сторону алебарда...

— Куды далее? — спросил другой, постарше да в седле поусядистее. — Сказывают, будто у Салтыковых девки хороши больно.

— Запирают их, — отвечал третий. — Да и собаки злые...

Кистенями взмахивая, ехали далее. Фыркали лошади.

— Чей дом сей? — спросил всадник, самый юный и верткий.

— Апраксиных, кажись...

— Ломай! Тута девки живут, нами еще не мятые...

Старший грузно обрушил забор. Самый юный — худой и тонкий, с голосом петушка — приказывал, а двое покорно его слушались. Взвизгнула отбитая ставня. Тишком влезли через окно в девичью. Старший двери сторожил, а молодые пошли мять девок...

Снаружи — на крик! — ломилась уже хозяйская дворя. Ворвался народ с дубьем и плетками. Впереди всех (лютый, в слезах) насакивал хозяин, граф Апраксин:

— Бей, убивай разбойников... Я в ответе! Огня, огня...

Вздули огонь, и Апраксин, раскорячив босые пятки, вдруг начал стелиться по полу. Так и пластался, словно раздавленная жаба. И светилось лицо вельможи умильной радостью:

— Ваше величество, почто через окошко жалуете? Завсегда и с параду принять рады... Ай и молодечество, государь! Вот и выпала благодать нашему дому-то...

Разом упало дубье, вмиг опустились плети. Скинув маску, стоял юный отрок — император. Друг его, князь Иван Долгорукий, штаны подтягивал, а возле дверей ухмылки строил егермейстер Селиванов.

Таились от людей и от света девки — порушенные...

— Брысь, подлые! — шипнул на них Апраксин. — Вы, дуры, еще благодарить бога должны... Честь-то! Честь-то кака!

И просил гостей неожиданных откусать чем бог послал. Прошел царь с любимцами своими к столу. Наливки разные пробовали. Юный царь вина не любил.

— Чу, — сказал он, — тихо... Музыка-то откуда идет?

Притихли за столом. А из глубин дома всплакнула флейта.

Повела осторожно. Так и тянуло на нее, словно в сон, и спросил князь Долгорукий хозяина:

— Уж не у тебя ли играют, граф?

— Ей-ей, — заерзал старый вельможа, хитря. — Ума не приложу. Видать, гостьюшки дорогие, это из дому Салтыковых слышать...

Но царь встал, на потолок указывая:

— Не ври! Вот тут.., веди в покои верхние!

Апраксин снова пластался перед царем:

— Ваше величество, смилуйтесь... Женишка моя, старуха... А человек ейный — на што он вам, молодцам экиим?

— Сказывай — где? — прикрикнул император...

Упали засовы с дверей. Потаенные. Коптила свеча. Прикованный длинной цепью, сидел на полу белобрысый малый в бархатном кафтане. И держал перед собой флейту — нежную, сладкоголосую.

— Ты кто? — спросил царь узника. — Музыкант?

— Нет, — отвечал парень, брэнча цепью. — Я есть куафер графини Апраксиной... Землепашец провинции Нарвской, зовут же меня: — Иоганн Эйхлер... А что играю — так скушно мне!

Ванька Долгорукий цепь поднял с пола.

— Тяжела, — сказал. — А за што ты в железах сиживаешь?

— Сижу на цепи, потому как ведаю женский секрет своей госпожи, и боится она, как бы не выдал я!

— Каков секрет? Говори прямо... Я — царь твой!

— Парик ей делаю, — ответил Эйхлер, низко кланяясь.

— Давно ль прикован ты?

— Пятый уж годочек пошел, как света белого не вижу...

Царь взялся за цепь, и (длинная-длинная) она повела его из темницы. Змеей уходила цепь под двери спальни графини. Хмельная компания вслед за Петром гуртом вломилась в опочивальню: озорник Долгорукий откинул пуховые одеяла: хмурясь от света яркого, старуха Апраксина сослепу тыкалась в подушки, а голова у нее была — гладкая, как колено...

— Отомкни цепь, — велел Долгорукий хозяину. — Бабьи секреты не в нашу честь. Мы люди веселые, охотные, а до старух нам дела нету. Прощай, граф! Да отвори конюшни свои — нам лошадь нужна...

Со двора Апраксиных отъехали уже четверо: позади всех жадно дышал ветром чухонец Иоганн Эйхлер; торчала из-под локтя его флейта — жалостливая...

На рассвете четыре всадника, пришпоривая усталых коней, тишком въехали в подмосковное имение Горенки.

Рассвет наплывал со стороны Москвы, сиренево сочился в берегах Пахры-реки, осенял застывшие в покое леса. За окнами старой усадьбы в Горенках вьюжило — мягко и неслышно. Господская домовина, поскрипывая дверьми, угарно дымилась печками спозаранок.

Алексей Григорьевич князь Долгорукий (гофмейстер и кавалер) с трудом перелез через супругу, что была поперек себя шире, и нехотя зевнул на иконы.

— Ишь ты, — жене буркнул. — Развалила бока-то... Вставай! Уже кафу варят, чую, быдго в Варшаве живем... О, хосподи!

Свечной огарок раскис за ночь, в опочивальне было мутно и едко. В одном исподнем князь юркнул в сени, с писком разлетелся перед боярином челядные девки.

— Я вам... Кыш-кыш! Глаза-то куда растопырили?

В соседней вотчине князей Голицыных (за рекою, в Пехро-Яковлевском) уже усердно названивали к заутрене. «Богомолы... умники!» — думалось Алексею Григорьевичу, который никого из Голицыных не жаловал: рознь ветхозаветная, еще от пращуров. Две древние фамилии (Долгорукие от Рюрика, Голицыны от Гедимины) исстари перед царями свары устраивали.

В дальних покоях князь Долгорукий приник к дверной щели. На широкой постели, в обнимку, словно братья, спали его сын Ванька с императором. Порхал над их головами огонек лампадки. Из лукошка под кроватью вылезли малые кутята, в теплых потемках трепали один другого за уши.

И сладостно обомлел Алексей Григорьевич: «Вот счастье-то! Сам государь-император с Ванькою моим дрыхнет... Мне бы честь эту!» — позавидовал отец сыну. Собрал князь одежонку царскую, что была второпях разбросана. Не поленился — и сыновью поднял. Низы кафтанов прощупал: полы мокрехоньки, видать, снова на Москву для тайных забав ездили. «Ну не дурень ли Ванька? Ему бы приваживать царя к фамилии нашей, а он... Пора уже, — решил князь. — Пора навечно приковать царя к дому нашему...»

С такими мыслями вернулся в опочивальню.

— Ваньку-то, — сказал князь жене, — драть бы надобно по старой науке — вожжами...

— Попробуй выдери, — усмехнулась княгиня. — Сынок-то наш обер-камергер. Да чином по гвардии выше тебя залетел, батька.

— Вроде и так, мать, — согласился князь Алексей. — Да шалить стали много, жалобы слышать на Москве... Собак вот покормим еще с денек и на охоту снова отведем. Надобно нам государя оттянуть подале от забав и соблазнов московских.

Прасковья Юрьевна враз поскучнела:

— О дочерях-то подумал ли? Девки наши, словно доезжачие панские, по лесам и берлогам так и ширяют. Никакого политесу не стало. Личики на ветру обсохли, воланы закрутить некогда, бедным.

— Оно и ладно, — ответил князь, о своем размышляя.

— Кому ладно-то? — наседала княгиня. — Три дщерицы на выданье, а на Москве показаться не могут: будто леший худой по охотам их таскает... Всех женихов растеряем мы за отбытием нашим!

Алексей Григорьевич мигнул с опаской:

— А его величество... чем не жених нашей Катьке?

— Эва! — заплескала княгиня руками полными. — Болтаешь ты, батька родный, попусту. Проморгал ты, светик: Катеньку нашу граф Миллезимо из послов цесарских давно выглядывает. И домок себе за Яузой снял, чтобы к Лефортову быть поблизости...

— Дипломату сему, — посулил князь, — перешибу ноги палкой. Вот и пущай до Вены своей на костылях пляшет!

— Уймись, батька мой ненаглядный, — укоряла его княгиня с нежностью. — Ни свет, ни заря, не пимши, не емши, а ты уже и вожжи и палку помянул... Миллезимо-то — чай, видывал? — кавалерчик сахарный. Умен — страсть как! Катенька сама глаз на него вострит...

— А ты, дура генеральная, что дуре Катьке потакаешь!

— Так какого же тебе еще жениха надобно?

— Через ручей за водой к реке не ходят, — отвечал ей муж. — На што Катьке кавалер сахарный, коли в светелке у нас сам император врястяжку спит... Смекнула?

Прасковья Юрьевна затряслась двойным подбородком:

— Будет залетать-то тебе! Не ты ли помогал Меншикова сожрать с его невестушкой? То-то, гляди, князь-душа: на каждого волка в лесу по ловушке... Попадешься и ты на зуб к Остерману!

— Я-то? — загордился Алексей Григорьевич. — Да моего Ваньку от царя никакой Остерман не отклеит. Вся гвардия — вот здесь, под рукой у меня! Любого раздавлю — только сок брызнет...

Долгорукий накинул кафтан с пуховым подстегом, вынул кружева из манжет — широкие, ясновельможные, из польских земель вывезенные. И приник к испуганному лицу жены своей:

— Ведомо тебе буди, княгинюшка, что дому Романовых не приывать к нашей фамилии! Вспомни-ка — кто была жена царя Михаила Федоровича? — Долгорукая... То-то! Уразумела теперь?

Прасковья Юрьевна так и бухнулась перед иконами:

— Господи! Простишь ли князя моего в гордыне великой? Вознесся он... во грехах своих и алчности вознесся!

За окном просветлело солнечно, от старой Владимирской дороги, обсаженной вязами, запели по морозцу мужицкие дроги, и коронованный отрок проснулся.

— Вань... а Вань, — стал он тормошить Ивана Алексеича. — Князинька, друг сердешный... Да когда же ты откроешь гляделки свои? Что делать сегодня станем?

Долгорукий разлепил глаза, провел ладошкой по большим красным губам. Лоб его был бледен и чист — без морщинки.

— Что делать сей день? — спросил, потягиваясь. — Надо бы вашему величеству иной раз о заботах государства своего потужить!

— Что ты, друг мой, — поскучнел царь. — Умней барона Остермана не будешь. Да и члены совета Верховного даром, што ли, хлеб свой едят? Вот и пусть об России беспокойство имеют... А мне испанский лука де Лириа обещался мулов подарить, да не везут все мулов. Боюсь я — не обманет ли меня пука испанский?»

— Мадрид далече, — отвечал князь Иван. — А моря бурные. Один корабль дука напротив Ревеля разбило. Дука без денег, долги вокруг кошеляет. Мы с дукой в приятелях, он мне тоже андалузских лошадей обещал, да корабли ныне редко приходят...

Долгорукий подавал царю одежды, но обувать его не стал:

— Сами, ваше величество... Чай, не маленькие! Царю было лень с пряжками возиться, он башмаки отшвырнул.

— Ладно, — сказал. — И в валенцах хорошо побегаю сегодня.

— Фриштыкать чем будете? — спросил его куртизан.

— А совсем не буду сеvodни... Не хочется! Вчера объелся!

— И не надо, коли так. Еще живее обед проглотим...

Петр радостно запрыгнул на подоконник:

— Хорошо как здесь... Милы мне Горенки ваши! Князь Иван раскрыл скляницу, достал горстку перьев.

— Ваше величество, — сказал учтиво, — но и в Горенках делами беспокою... Кой месяц уже бумаги важные по лесам блуждают!

— Ой, Иван Алексеич, неужто ты меня за стол приневолишь?

— Коли вы меня, государь, и вправду любите, то... садитесь. Бумагам важным, министрами уже одобренным, апробации учинить от вас надобно. И меня пожалейте: люди придворные, завистливые и без того клеветают, будто мы, Долгорукие, вас по охотам таскаем, от дел государственных вовсе избавили...

Ласковым таким манером залучил царя за бумаги. А сам встал за спиной его, подсказывая — быть или не быть по сему. Из-под пера, свирепо брызгаясь, выбегали пауки подписей: Петрь, Петрь, Петрь...

— К делу ярыжному не прилежу душою, — сказал царь, перо отбрасывая. — И горазд не люблю писать чернильно... Сбегаю-ка я лучше до псарен, а ты поставь подписи под руку мою. Сам знаешь!

И кубарем катился отрок-царь по лестницам — в хрусткие сугробы. Лес вдали, там олени и кабаны, — вот рай-то! Растирая щеки, хваченные морозцем, домчал император до псарни — особый дом, большой, вровень с усадебным (охота Долгоруких испокон веков славилась). А навстречу царю — егермейстер Селиванов, в ранге полковничьем, в мундире сукна зеленого, сам пьян и весел.

— Ай да государь! — орал еще издали. — Как раз овсы варим, собак чтобы потчевать... Не желаете ли, ваше величество, бурду собачью мешать в корыте?

Тысячная свора борзых и гончих встретила царя голодным лаем. Император сразу заспешил: кидал жаркие поленья в печи. [14, 6—18]

Остерман

«Бытие Руси, — говорил Остерман, — определяется наличием немцев в России: главные посты заняты нами — значит, Россия на пути к славе, посты заняли русские — значит, Россия пятится к варварству...» Но такие речи слышали одни земляки его.

Сын пастора из Вестфалии, Генрих Иоганн Остерман недолго в Иене науки штудировал. Вокабулы кое-как постиг, а метафизики не смог объять разумом. Куда деться бедному студиязу?.. Старший братец Остермана — Христофор Дитрих (или Иван Иванович) уже прижился в России: на селе Измайловской обучал он дочерей царя Иоанна Алексеевича «благолепию телесному, поступи немецких учтивств и комплиентам галантным». Бедный студияз Генрих Остерман тоже нанялся к русскому адмиралу Корнелиусу Крюйсу: ботфорты ему чистил да пиво студил. И адмирал в настроении похмельном вывез Остермана В Россию, где его и стали величать Андреем Ивановичем... Давно это было!

А сейчас Остерману уже под пятьдесят. Он вице-канцлер империи, он начальник главный над почтами, он президент Коммерц-коллегии, он член Верховного тайного совета... Жарко стреляют печи в старобоярском доме Стрешневых, на дочери которых женат вице-канцлер. Андрей Иванович сживает в креслах на высоких колесах. Шлепая ладонями по ободам, покатывает себя по комнатам. Блеск русского самодержавия озаряет чело барона...

Коптят тонкие сальные свечечки — вице-канцлер бережлив (копит на старость). Ноги укрыты пуховым пледом, очень грязном. Над бровями — зеленый зонтик, чтобы глаза бесстыжие прятать. Служба у Остермана наитончайшая — конъюнктуры при дворе и козни европейские занимают его воображение. Отсюда, из душных стрешневских покоев, Остерман — как паук — тклет незаметную паутину, в которой скоро запутается, противно и липко, все Русское государство.

Захлопали двери внизу дома, потянуло туманцем.

— Марфутченочка моя... пришла, — обрадовался барон.

Марфа Ивановна, баронесса Остерман, боярыня дородная, породы столбовой, знатной. Под стать мужу своему — грязная. И характером — побирушка...

— Вот пильсын моему Ягану! Левенвольде шлет!

Остерман на лету поймал апельсин — дар из завоеванной Гилляии. Понюхал волшебный плод, уже побывавший в кармане курляндца.

— Вижу, что Марфутченочка любит своего старого Ягана, — сказал он ласково (на языке русском, добротнo и хорошо скроенном).

Вице-канцлерша подпихнула под него плед, откатила коляску поближе к печкам, прожаренным так, что плюнь — зашипят. Слов нет, очень любила Марфа Ивановна своего немца. Да и было за что любить: не пьянствует ее Яган, не кочевряжится и не шумствует, как иные. Знай себе тихо и благочинно ведет разговоры с людьми иноземными...

— Что видела, Марфутченочка? Что говорят на Москве?.. Вести были дурные: случай с Миллезимо возмутил Немецкую слободу. Дипломаты и без того жаловались — месяцами не было аудиенции при дворе, Петр круглый год на охоте, в отъездах дальних, Долгорукие всем скопом своих сородичей заслонили от мира царственного отрока. А теперь посол венский, граф Франциск Вратислав, будет просить сатисфакции. Посланники выражали Остерману возмущение поступком Долгоруких. Но вице-канцлер уже загородился от них козырьком и стал говорить столь невнятно, что сам себя уже не понимал:

— Поскольку его величество император цесарский благоволит к государю нашему, надлежащее удовлетворение при том, что граф Вратислав болен апоплексически, для нас весьма прискорбно,

но его величество властен, как самодержец, отдавать любые указы, для чего и почту себя обязан...

Великий канцлер Головкин в дела не вмешивался — давно уже политикой ведал Остерман, и многие пытались в тарабарщине его разгадать великий смысл и мудрость. Вратислав первым понял, что сатисфакции не будет, и вызвал посрамленного Миллезимо к себе.

— Ваши дурацкие выстрелы, — сказал посол, — раздались кстати для Долгоруких. Свадьба состоится, но ваша голова никак не пролезет в жениховский венец... Все! Собирайтесь-ка в Вену...

Перед сном к Миллезимо проникла сама княжна Екатерина Долгорукая. Со слабым стоном (куда и гордость ее девалась?) припала она к ногам красивого венца.

— Умоляю, — шептала, — скорее увезите меня отсюда. Меня продают... Уедем, уедем. Я так буду любить вас! Но только не оставляйте меня здесь одну...

— В уме ли вы? — оторопел Миллезимо. — Я облечен доверием его величества императора Карла; ссора наших дворов... Нет, нет! Умоляйте не меня, а своего отца!

Княжна губу выпятила, блеснул ряд зубов — мелких.

— Стыдитесь, сударь. — ясно выговорила она. — Княжна Долгорукая, презрев резоны чести и благородства, пришла к вам любви просить, как милости... А вы? О чем говорите девице несчастной? Будьте же рыцарем... Варшавские кавалеры, — добавила с ядом, — те вот так никогда не поступают!

— Уходите скорее, — растерялся Миллезимо. — Боже, как вы неосмотрительны. Нам следует учиться осторожности...

Долгорукая выпрямилась во всю свою статью — в надменности.

— Ах, трусливый шваб... ну, ладно! — прошипела она. — Ты еще подползешь ко мне, словно уж... На коленях! Чтобы руку мне целовать, как русской царице!

Миллезимо в страхе побежал будить болящего графа Братислава, желая поведать ему об очередной конъюнктуре.

— Вы, кажется, толковый дипломат, — похвалил его посол. — Но, великий боже, до чего же вы — дрянной кавалер!

— Я люблю ее! — воскликнул Миллезимо.

— Увы, — вздохнул посол отворачиваясь, — так не любят...

Петр II

Царедворец гордый и лукавый, князь Алексей Григорьевич Долгорукий страстно нюхал воздуха весенние — подталые... Чем пахнут? Царь-отрок в свою родную тетку влюблен, в цесаревну Елизавету Петровну: сколько уже костров с нею в лесах спалил, у ног ее вздыхал да вирши писал любовные. И, чтобы соблазна царю не было, еще по снегам раскисшим умчал Долгорукий царя из Москвы — травить зайцев по слякоти, по лужам, по брызгам. К ночи император

от усталости, где упадет, там и спит. Зато никаких теток в голове — только придет подушку поправить княжна Катерина, тому батюшкой своим наученная...

Царская охота двинулась к Ростову, а от Ростова — на Ярославль: бежали, высунув языки, многотысячные своры гончих, ревели в пущах рога доезжачих, взмывали в небеса, косо выглядывая, белые царские кречеты. А под вечер раскинуты шатры на опушках, до макушек берез полыхают костры. Городам же, возле коих удавалась охота, юный Петр II дарил грамоты с похвалой о русаках и медведях — с печатями и гербами, как положено.

Только в июне, в разгар лета, вернулся государь на Москву — прямо в Лефортово. Длинноногий, высохший от бесконечной скачки, заляпанный грязью до пояса, царь (в окружении любимых борзых) взбежал на высокое крыльцо.

— Жалость-то какова! — огорчился царь. — Хлеба мужицкие поднялись в полях высокие — мешают мне забаву иметь...

Но утром — царь еще и глаз не открыл...

— Ваше величество, — доложили ему, — кареты поданы.

— А куда нужда ехать? — спросил, зевая.

— Вас уже в Горенках жгут: огненная потеха готовится...

Внизу дворца сидел Остерман — стерег пробуждение царя, как ворон падали.

— Некогда, Андрей Иванович! — крикнул ему на бегу император. — Видит бог: не до наук мне ныне. Потом вот уж, погоди как вернусь, ты меня всему сразу научишь...

Громы с молниями трясли небеса над Москвою: вокруг гibli в пожарах мужицкие деревни, полыхали дворянские усадьбы. Много ли зальешь огня молоком от черной коровы? Жарко было, до чего же душно! Ну и лето выпало... Свистали в лесах разбойные люди, жестокий град побивал хлеба, иссушило их солнце...

О, Русь! Русь!

Все лето 1729 года прошло в охотничьих азартах, а под осень замыслили Долгорукие новый поход на медведей и зайцев.

Теперь они вводили царя за 400 верст от Москвы — подальше от слободы Немецкой, прочь от красивой тетки-цесаревны. Шли на косога да косолапого, как на войну ходят, — с причтом церковным, с музыкантами и канцелярией. Только денег вот на ходу не чеканили, но зато указы посылали с дороги. Открывал шествие караван верблюдов, навьюченный грузами: котлы и овес, шатры и порох, серебро для стола и прочее.

Хатунь — Серпухов — Скопин — Лимоново — Чернь видели царя в этом походе своими глазами. Дальше, дальше! В леса берложные, в бурелом чащобный, в гугук свиный, туда, где лешие бродят... Одичалый и грубый, коронованный мальчик нехорошо ругался, капризничал, привередничал. Пробились на подбородке царя пер-

вые волосы, разило от него сермяжным потом, лошадьми, порохом да псиной. По вечерам — пьян! Так-то вот Петр охотился за зверьем, а Долгорукие охотились за царем...

Затянуло Россию дождями, и когда раскисли поля, завернули обратно — на Москву. Громадные обозы трофеев тянулись за царем на подводах: кабаньи туши, медвежьи окорока, жалобные лани, пушистые рыси, горою лежали убитые зайцы, которым даже счет потеряли. А на въезде в Москву, у заставы, придворные поздравляли царя с богатой добычей. Петр вздыбил жеребца под собой и, оборотясь в седле, нагайкой указал на карету, спешащую за ним:

— Дивную дичь затравил я: звон везу двуногих собак!

А в карете той ехала мать Долгорукая с тремя дочерьми.

Так что молод-молод, но царь все понимал!

Печально оголились леса, разволокло унылые проселки... По вечерам садились Долгорукие вокруг стола, рассыпали перед царем карты. Играли однажды в бириби — на поцелуй: кто выиграет, тот княжну поцелует. И конечно же, так сдали карту в марьяже, что его величество выиграл. Княжна Катерина уже и губы подставила — на целуй! Но шлепнул царь карты и... ушел. Колыхнулись свечи в высоких шандалах. Зловещее почудилось тут Аnekсею Григорьевичу, и тогда позвал он в Горенки двоюродного брата своего, князя Василия Лукича: дипломат тертый, иезуитством славен.

Где, что, как — расспросил, сразу загорелся, и начал Лукич альянс любовный сколачивать крепко. Тому и природа способствовала: дожди все плыли, шумело в трубах, на двор не выйдешь, зато уютно сидеть во Ираке. В туманных зеркалах ослепительно вспыхивали драгоценные камни, а матовая белизна плеч женских казалась точеной — словно мрамор... До чего же хорошо грезится о любви под тонкое пение флейты Иогашки Эйхлера!

А княжна Екатерина Алексеевна, после казуса того с женишком цесарским, замкнулась. Повзрослела. Еще больше вверх вытянулась. На губах же ее — ухмылка, ко всему презренная. «Не привелось, — размышляла Катька, — графинею Миллезимо стать, так буду на Руси императрицей. И тот красавчик подползет, как миленький... Хорошо бы ему туфлю к носу приставить: целуй, невежа!»

Василий Лукич научил племянницу свою — как девице вести себя в положениях заманчивых. Чего надо бояться, а чего не следует, коли попросят нескромно. Сначала Катька еще краснела, дядю слушая, а потом перестала...

И часто встречался Петр с княжною в местах притемненных, где даже свеч не было. Но смутен был в эти дни князь Иван.

— Гляди, сестрица, — сказал он как-то, — не обожгись. Негоже так: чужой грех с цесарцем царевым именем покрыть хочешь!

Екатерина заголила перед ним грудь и шею свою:

— Устала я от злодейств ваших! Не от тебя ли, братик, синё вот тут? Это за венца мово... А вот, гляди, от батюшки память! Это чтобы царицей я стала, всем вам на радость. А случись мне царицей быть, так я батюшку со света сживу... Тебя же, братец, в Низовой корпус сошлю — гнить тебе, Ванька, на Гиляни!

— Гадюка ты, — сказал Иван, но отступился...

В один из вечеров (уже похолодало) Алексей Григорьевич, прибаутничая, разливал вино. Петр чарку не взял — морщился.

— Не лежит душа моя к винному питию, — сказал.

— Ах, государь! — лебезил воспитатель. — Что бы вам уважить свово учителя? Чай, потчую-то ваше величество от сердца...

Князь Иван злодейство почуял, поднял лицо сумрачное:

— Папенька, стоит ли государя, к вину приневоливать? Час уже поздний, его величеству опочивать бы...

Тут князя Ивана в сенцы позвали — вроде бы ненароком. А там братцы его (Николашка, Алешка да малолеток Санька) принялись дубасить его. Били да приговаривали:

— Не мешай счастью нашему! Плохо будет, коли заперечишь...

Палки побросали потом — и кто куда. Фаворит поднялся, о притолоку дверную паричок от пыли выбил. У зеркала постоял, синяки разглядывая, припудрил и снова в покои вернулся. А там отец его хныкал — все еще уговаривал царя:

— Знаю, ваше величество, не люб я вам стал. Паче того, обида моему дому, что у Юсуповых вы полбутылки выпили да похваливали. У лука де Лириа сами винца просить изволили...

Князь Иван, со зла на своих родичей, полную чашу вина выглотал. Император глянул на него и сказал:

— Коли ты пьешь, от тебя не отстану... Потешим боярина!

Пили и княжны. Прасковья Юрьевна охмелела — увели ее. А старик знай себе подливал царю да прибаутничал. Иван Алексеевич придвинул к отцу свою посудину.

— В остатний раз хлебну, — сказал, — и спать уйду...

Ушел. Разморились княжны — их тоже наверх отослали. Алексей Григорьевич и не заметил, как пропал царь из-за стола. Отыскал он его на дворе. Под дождем холодным, весь мокрый, стоял мальчик-император внаклонку. Его рвало. Долгорукий царя повлек за собой.

— Ничего, — говорил, — сейчас на постельку ляжете...

Петр провис на его руках, мотало его в разные стороны.

— Лошадей, — бормотал, — запрягай...

Старый князь втолкнул царя в сени, что вели прямо в опочивальню княжны. На цыпочках вернулся Алексей Григорьевич к себе, а жене сказал молитвенно:

— Благодари бога, Прасковья... Быть дочери твоей пятой от корени царского — корени благословенного!

— Отведи обиду... Да уж больно любопытен я, теперича и спать не буду. Ух ты поведай мне — кто же был сей старичок?

Солдат выпил. И рассказал:

— Старичок сей есть генерал Ушаков. А по имени Андрей. А по батюшке Иваныч. И был главный живодер в Канцелярии тайной... Государево «слово и дело» сыскивал! Ни детей малых, ни баб не жалел. Кровь сосал, а жидами закусывал... Потому, — загрустил солдат, — мне из Москвы бежать надо аж до самого синего моря, ибо Ушаков сей зело памятен и меня завсегда здесь сыщет!

Первопрестольная шушукалась:

— Царь женится... Обвели его Долгорукие. Доколе же нам, шляхетству, терпеть их норов боярский?

Ждали, что царь на Москву вернется — день рождения своего в Лефортове справить. Да принять поздравления, по обычаю. Но и тут вышло иначе: Петр II дал в этот день бал в Туле... А что Тула? Смешно сказать: на берегу речки Упы обкурили кое-как домишко, чтобы тараканов изгнать, даже припасов для стола не нашлось. Мажордом вышел, жезлом в пол стукнул и гостям объявил:

— Почтенные господа! Конжурация такая: стола нетути, а есть буфеты, возле коих его величество и просит благородное тульское шляхетство откушать по собственному соизволению...

Туляки все глаза на невесту царскую пропилили:

— Да их три, никак? Какая же из них середняя?

Алексей Григорьевич, спесив и глуп, давал пояснения:

— В зачатии законном породил я сыновей четырех, а дочерей трех, из коих наблюдать вы, судари, всех сразу честь имеете! Средняя, меж Анной и Аленой, и есть та, коя богом самим в государыни ваши предназначена... Отчего и советую вам, господа, не мешкая, к ней приблизиться и к руке приложиться.

Петр был трезв и сумрачен, к невесте своей — ни шагу.

Но княжна Екатерина тоже к нему не ласкалась. Принесли ей ветку рябины с мороза, щипала тихо по яголке. «Горька любовь моя — горьки и ягодки...»

Князь Иван Долгорукий шепнул ей:

— Не знал ранее, что такая гадюка у меня сестрица родная...

И еще раз буфеты обошел, всюду вина пробуя. Император обнял его и на двор выволок. Кафтан распахнул, дышал глубоко — обидно:

— Вот и окрутили меня, Ваня, твои дядья с батькой.

— А я, ваше величество, к сватовству сему не прикаян. Воля ваша была — избрать подругу для утешений сладострастных...

— Мне без тебя, друг сердешный, — сказал царь, — жениться одному скушно. Коли ты меня, князь Иван, крепко любишь, так и ты женись тоже... В один день свадьбы сыграем!

— Чудно, — хмыкнул Долгорукий, хмелея на ветру.

— Женись, братец мой, — нежно уговаривал его царь. — Станем единым домком жить. Собак в комнатах разведем. Спать вместе будем. А жен наших куда-либо в деревни вышлем, пущай они там с простокваши пенки снимают...

— На ком жениться-то мне, ваше величество?

— Да на ком пожелаешь... тебе никто не откажет.

— Ваша воля, а мне и впрямь не откажут... Вот у Ягужинского графа, — задумался Иван, — девки хороши да чернявы. Видать, на любовь горячие. Только matka у них стерва известная...

Взволнованная слухами Москва и посольства иноземные никак не могли изловить пропавшего в лесах императора. Выехав из Тулы, Петр 27 октября был в Зарайске, 30-го его видели в Коломне, а пропнулся уже в Гуслицах. Потом следы его затерялись... Царственный отрок кружил вокруг Москвы да около, но самой Москвы избегал, словно боялся ее. На пустынных дорогах, бездомным кочевником, под дождями, под снегом, на льду по слякоти блуждал внук Петра Великого — последний мужчина из дома Романовых!..

Тишком, словно воришка, лишь 9 ноября Петр воротился в Москву и прямо, никуда не заезжая, поехал в Немецкую слободу, в Лефортовский дворец. Там и остановился. Все ждали: что-то будет?

В один из дней к подъезду дворца подкатил заляпанный грязью возок, скособоченный, с драной кожей, стекла на окнах — в трещинах... Дверь открылась со скрипом, высунулась из возка нарядная шелковая туфля, долго выискивая — куда бы ступить где посуше, не в лужу. И резво выпорхнула из возка молодая крутобокая красавица — с круглыми, как у кошки, зелеными глазами, волосы — чистое золото, нос курносый, ямочки на щеках — и разом все потепело на улицах... Краса людская всегда приятна!

Это была цесаревна Елизавета Петровна...

Долгорукие опасность почуяли: Елизавета — нрава легчайшего, Петр горяч, как бы не дали Катьке Долгорукой от ворот поворот. И вскорости Елизавету Петровну спровадили обратно — в слободу Александрову, где она жила и кормилась с вотчины. Гуртом подступили Долгорукие к молодому царю.

— Ваше величество, — дерзко заговорил Василий Лукич, — пора уже о невесте своей объявить всенародно. [14, 26—31]

Волынский

Долгополье бились в пол перед губернатором.

— Ну, страсотерпцы, — рявкнул он на них, — врите... Да врите, опять же, экстрактно — лишь по сути дела...

«Страсотерпцы» рассказали всю правду, как есть. Церквушка Главы Усекновения стоит ныне по соседству с молельней татарской. И пока они там о Христе плачут, татаре шайтанку своего кличут. Но того не стерпел вчера ангел тихий и самолично заявился...

— Кто-кто явился к вам? — спросил Волынский.

— Ангел тихий...

— Так, — ничуть не удивился губернатор. — Явился к вам этот ангел. Как же! Ну и что он нашептал вашей шайке?

— И протрубил, чтобы, значит, не быть шайтану в соседстве. О чем мы и приносим тебе, губернатор, слезницу.

Волынский прошение от них взял, но кулаком пригрозил:

— Вот ужо, погодите, я еще спрошу этого тихого ангела — был он вчера у вас или вы спьяна мне врете?

Шубу оплеч накинул — не в рукава. Вышел губернатор, хватил морозца до нутра самого. И велел везти себя:

— На Кабаны — в застенок пытошный!

Приехал на Кабаны... Подъячий Тишенинов изложил суть, женка матросская, Евпраксея Полякова, из слободы Адмиралтейской, по часту в дым обращалась и сорокой была...

Волынский локтем спихнул мусор со стола, сел.

— Дыбу-то наладь, — велел мастеру голосом ровным. Палач дело знал: поплясал на бревне, ремни стянул.

— Сразу бабу волочь? — спросил он хмуро...

Артемий Петрович взглядом подозвал к себе Тишенинова:

— Человече, сыне дворянской... Имею я фискальный сыск на тебя: будто ты сорокою был и в дым не раз обращался.

Тишенинов стал как мел и в ноги Волынскому — бух:

— Милостивец наш, да я... Всяк на Казани ведает: не был я сорокою, в дым не обращался я!

Волынский палачу рукою махнул:

— Вздымай его!

Ноги — в ремень, руки — в хомут. Завизжало колесо, вздымая подъячего на дыбу. Шаталась за ним стена, вся в сгустках крови людской, с волосами прилипшими...

— Поклеп на меня! — кричал Тишенинов. — Ковы злодейские! Палач прыгнул ногами на бревно: хрустнули кости.

Двадцать плетей: бац, бал, бац... Выдержал!

Артемий Петрович листанул инструкцию — «Обряд, каково виновный пытается». Нашел, что надо: «Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что оной изумленный бывает...»

Прочел вслух и палачу приказал:

— Употреби сей пункт, пока в изумление не придет...

Опять выдержал! Только от «изумления» того орал истошно.

Волынский был нетерпелив — вскочил, ногою притопнул.

— Огня! — сказал. — С огнем-то скорее...

Воем и смрадом наполнился застенок казанский. Жгли банные веники. На огне ленивом Тишенинов показал, что сорокой он был и в дым часто обращался...

— А с женою, — подсказал ему Волынский, — случаясь блудно по средам и пятницам... «

— Случаясь, — подтвердил с дыбы Тишенинов.

— И собакой по ночам лаю...

— Лаю, — упала на грудь голова...

Волынский табачку нюхнул, кружева на кафтане расправил.

— Вот и конец колдовству! Велите жену матросскую Евпраксею домой отпустить. Лекаря ей дать для ранозалечения из жалованья твоего, секретарь. Ты бабу чужую угробил на пытках, вот и лечи теперь ее — А тебя с дыбы можно снять.

Сняли. Тишенинов лежал на земле — выл.

Рубаха на нем еще горела...

— Прощай, секретарь! В другой раз умней будешь, — сказал Волынский. — С пытки-то и любой в колдовстве признается...

Заскочив домой ненароком, чтобы жену спроведать, Артемий Петрович позвал калмыка-дворецкого:

— Мне, Базиль, татаре сей день на ноготь сели. Или раздавлю их молельню, или оставлю. Знать, подношение тайное будет. Прими.

— Нам што! — ощерил зубы Кубанец. — Мы примем что хошь...

Волынский на него глянул, будто ране никогда не видывал:

— Зверь, говорят про меня. А вот ты, Базиль, калмыцкая твоя харя, скажи — тронул я тебя хоть пальцем?

— Нет, господине, меня не били, — заулыбался дворецкий.

— Ну, так жди: скоро быть тебе драну...

Волынский к ночи навестил драного дворецкого. Сунул под голову Кубанца кисет с деньгами:

— Вот и ты дран, Базиль... Да ништо! Теперь я в тебя верю. Крепок раб мой, буду и я к рабу моему крепок...

Жемчуга да камни драгоценные от стихаря отпорол, пришел к жене и обсыпал ими всю постель жены, умирающей без врачей и лекарств. Приник к ней, плача, весь трясясь:

— Не оставь меня, Санюшка, с детками малыми...

Атремий Волынский давно принадлежит истории — как патриот, как гражданин. На образ этого человека слишком сложен и противоречив. «Дитя осмнадцатого века», он жил законами своего времени — трудного и жестокого. Дурное в нем отлично уживалось с добром. Он был достаточно образован, чтобы не верить в колдовские чары, но, спасая бабу от пытки, Волынский пыткой же доказывал палачу, что колдовства не существует. Волынскому ничего не стоило украсть из церкви стихарь, чтобы утешить слабеющие взоры умирающей жены... Пытошный огонь, никогда не страшивший его, позже и очистит нам образ Волинского, и он предстанет пред нами в истинном своем свете — как патриот, как гражданин! Именно Волынский и станет нашим главным героем...

Глава девятая

Из дома отчего переехала невеста царская во дворец Головинский — к престолу поближе. Своих подружек во фрейлины приблизила. И повсюду — гербы орляные (хищноголовые, коронованные). Сорочки исподние, кои из дома вывезла, и те отдала Катька белошвейм-монашенкам с таким наказом:

— Всупоньте в кружева орлов царских. Отныне я ничего простого нашивать не стану...

Закинула подбородок еще выше. Целая копнища темных волос сверкала, убранная камнями и перлами гурмыжского жемчуга. Похорошела княжна изрядно — стать-то какова! Даже батька ее, князь Алексей Григорьевич, и тот робел перед нею.

С ножом к горлу лезла Катька на брата Ивана:

— Где бриллианты царевны Натальи? Доколе мне ходить только в одних фамильных? Дать или не дашь?

— Не дам, — отвечал Иван. — И без них ты хороша, ведьма...

В день великомученицы Екатерины царская невеста получила титул: «Ея высочество». Катили к подъезду Головинского дворца кареты: сановные старцы, дипломаты, сенаторы, генералы — всяк спешил поздравить ее. И гремели перед Катькой пышные роброны, склонялись перед нею плечи статс-дам, сверкали эполеты, сыпалась с париков розовая пудра, взлетали шляпы иностранных послов.

А над улицей возводили триумфальную арку, под которой будущая царица должна в день обручения под венец проехать.

Свадебная та арка. Для куражу она!

Народ называл ее «трухмальной»...

Еще с вечера сорок карликов, попискивая, раскатали тяжелину ковра персидского. Во всю ширь палаты Лефортовского дворца раскрылись цветы восточные — цветы нездешние. Был ставлен стол, закинули его парчою. А поверх водрузили ковчег чистого золота; в ковчеге — крест. По бокам от него — тарелки «уборные»: в каждой по кольцу обручальному, а в кольцах тех — диаманты чистые.

— Эй, косой! — позвал Иван Долгорукий.

Старик преображенец князь Юсупов, вояка матерый, рубленый, подбежал к фавориту и подставил ему тугое ухо:

— Говори, князь Иванушко, чего-сь надобно?

— Дело таково, татарин... Батальон гвардии Преображенской тишком вводи во дворец Лефортовский. Да в палате обручальной ставь в ряд. Остальные пусть в покоях вахтируют.

Торжественный кортеж уже отъезжал от дворца Головинского. Посреди золотой кареты, в шестерню цугом впряженной, сидела прибранная невеста. Тучу волос стянули ей в четыре косы, к темени прикрепили корону. Маленькую — с яблоко. Платье на Катьке серебряное, с фалбалами, чешуей отсверкивает. Будто рыбка, поплывет сейчас княжна навстречь счастью своему (или несчастью?)...

Иван отодвинул дверцу кареты, шевельнул губами:

— Готова ль ты, сестрица моя?

— Вели ехать, брат. Но в остатный раз пытаю тебя по родству: дашь ты мне бриллианты царевны Натальи?

— Отстань, язва персицка! — отвечал князь Иван...

На крышу кареты с невестой водрузили — честь честью — большую корону, крикнули на козлы:

— Езжай с опаской и бережением... Не сковырни корону!

Тронулись... Первыми — камергеры, за ними князь Иван отдельно (как обер-камергер). Бежали скороходы в ливреях, трясли в колокольчики. Скакали почтальоны и трубили в рога. Ехал сердитый шталмейстер Кошелев и мрачно махал жезлом... Вот опала снежная пыль на дороге, и ахнула толпа:

— Гляди-ка — еще следом прутся!

— А кто же это таки будут?

— Долгорукие, бабка, едут... кланяйся!

— Охти, спина моя. Согнись аль не согнись?

С лицом без кровинки, губу закусив, величаво проплыла в стеклах кареты невеста. Катил за ней маменька с сестрицами. Плясали вокруг жеребцы гайдуков, пестрели одежды пажей. Ехали и дамы-кавалерши в лентах: Чернышева, Ягужинская, Черкасская да Остерманша (Марфутченок). Бежал следом за ними народ. Московский народ — любопытный. Иные через всю Москву лапти трепали — и недаром, как выяснилось. Под конец шествия случилось такое, что было потом о чем вспомнить.

Высокая карета с невестой на въезде в ворота дворца Лефортова зацепилась верхом своим за перекладину. И грохнулась корона на землю. Покатилась, гроыхая, будто ведро пустое.

— Стой!.. Ах, ах... Осади назад... езжай далее!

Растерялись провожатые. Катька звон услышала, выглянула из кареты. А там, разбитая в куски, лежала под копытами лошадей ее царская корона... Еще не ношенная!

— Не бывать свадьбе! — кричал народ московский. — Примета больно худа... Слезай, невеста, приехала! Грешна, видать, ты...

Дернули лошади — осколки звякнули. Тоненько, словно плача.

«Не танцевать мне в Вене, не веселиться...»

— Тпрррру-у...

И заиграла музыка — начались любовные канты.

Славный боевой фельдмаршал, Василий Владимирович (тоже из Долгоруких), прибыл к свадьбе с самого Низу — из корпуса Низового¹, над коим держал команду в землях, у Персии отвоеванных.

¹ Низ, Низовой корпус, Низовая служба — в областях, отвоеванных Петром I у Персии на Каспийском море, находились русские войска, которые спускались к месту службы вниз по Волге (отсюда происходит и название).

Желтое бельмо заливало глаз ветерана.

Удивленно озирает старик мундиры в карауле.

— Робяты, — спросил у солдат, — вы ж какого полка?

— Твоего, князь.

— Но я вас, мать вашу так, сюды разве ставил?..

Алексей Долгорукий оттянул ветерана в уголок.

— Василь Владимирыч, — зашептал на ухо, — коли сам ты есть Долгорукий, так на што рыпаешься? Это мы преображенцев сюды расставили. Шипят на Москве, противу фамилии нашей козни строят. Как бы чего не вышло! А на штык гвардии, чаю, не полезут...

Под музыку любовных кантов невеста уже вышла из кареты.

Вахта ей салют учинила, но без боя барабанного (дабы старух придворных не испугать). Внизу дворца Катьку встретила и приголубила бывшая царица Евдокия Лопухина, а ныне старица-монахиня.

— Касатинька... невестушка, — шептала старая добрая Евдокия, а по иконному лику ее — кап-кап — слезы, мутные; может, вспомнула старая сны молодые в кельях да казематы шлиссельбургские?

Только три кресла, зеленым бархатом крытые, стояли в обручальной палате: для царя, для невесты и для бабки-царицы Евдокии, чтобы старость ее уважить. Принцессы крови (сестры Иоанновны и цесаревна Елизавета) да еще Долгорукие — те сидели на простых стульях. А более никто сиживать права не имел...

Невеста поглядывала на всех с презрением явным.

Петра (во всем светлом, серебром шитом) вывели господу верховники. Пасмурно посматривал император вокруг себя. К невесте подошел, в кресло опустился. С минуту сидели жених и невеста, друг на друга глядя. Глаза в глаза, зрачки в зрачки.

Затихло все. Только дипломаты: шу-шу-шу-шу...

— Я готов! — вскочил император, и на запястье Екатерины надел тяжелый браслет со своим портретом. Тогда шесть генералов (из коих два иноземца) взяли за штанги и растянули над аналоем покров балдахина, как шатер. Заплескались алые шелка, в палатах повеселело. И запели голоса — высоко-высоко...

Воздев руки, Феофан Прокопович встал под балдахином. Евангелие протянул для поцелуя царю сначала, потом Долгорукой. После чего жених невесте поклонился, а невеста жениху. В бороде Феофана затаилась усмешка — коварная. «Коротко царствование сие, но второй раз обручаю царя... Что-то бог даст и этой?..»

Краткую речь произнес фельдмаршал Долгорукий (бельмастый).

— Твоя фамилия, — сказал невесте, — слава всевышнему, богата и занимает посты высокие. А ежели тебя, по прихлебству известному, станут просить о милостях кому-либо, ты хлопочи не в пользу имени, но лишь в воздаяние заслуг подлинных...

— Господа, не стой посередке. Лучше к стенкам жмись, а то как бы полы не рухнули...

Темнело уже, полыхали со двора смоляные бочки. Били на улице два фонтана — винный и водочный. От жареного быка шел пар.

Наташа стояла — рука в руку — с князем Иваном, а перед нею складывали дары свадебные: родовые кубки с гербами, фляжи золотые, часы разные с музыкой немецкой, квасники и поставцы, бочата порцелена саксонского, зеркала венецианские и канарские, серьги, перстни, табакерки... Брат Петя Шереметев — словно откупился от сестры: подошел, шесть пудов серебра в слитках сложил к ногам Наташи и, ничего не сказав, откланялся. И вдруг глаза невесты загорелись — обрадовалась она.

— А вот и готовальню голландскую дарят, — шепнула Ивану...

Впустили дворню с кормилицей. Мужики в чистых онучах, бабы в лапотках, рты платами закрыв, в ноги кланялись. И поднесли тоже невесте: пирог с рябиною, варежки домовязанные да пеленки детские, искусно шитые.

По отцу-фельдмаршалу, что мужиков не обижал, чтит народ и дочь его Наталью Борисовну. Долгорукий смотрел на свою невесту сбоку: «Совсем дите малое...» — думал.

А ночь застала жениха в доме Трубецких, где шумствовали. У князя Ивана давно грех был с Анастасией Гавриловной, дочерью канцлера. И, опьянев, стал он водить ее от гостей в комнаты дальние для блуда. А муженек — Трубецкой, хотя и зять канцлера, но фавориту царя не смел перечить: пусть водит, от жены не убудет. Только единожды, когда Ванька стал на гостях уже «рвать» Настасью, он робко и тишайше вступился:

— Князь Иванушко, у вас теперича и своя утеха есть. Почто княгинюшку мою безжалостно треплете?

За такие дерзкие слова Долгорукий стал Трубецкого в окно выбрасывать. Несчастный супруг гузном стекла выдавил, взывал к Алексею Григорьевичу:

— Уйми сына своего... не дай в сраме погибнуть!

— Мой сын, — отвечал отец, — молодечество свое показывает. Покажи и ты свое молодечество!

Легко сказать — покажи, когда уже над улицей виснешь.

— Гости мои дорогие, будьте хоть вы заступниками хозяину!

Тут сбоку Иогашка Эйхлер подвернулся, князя спас, а Ивана домой отвез. Наташа плакала утром, корила:

— И дня не миновало... Где же твои слова, князь Иван, что все хорошо будет? Не рушь чужих семей — и своя не порушится!

Долгорукий виноват был. — встал перед ней на колени:

— Наташенька, ангел мой, скажи: чего ты желаешь?

— Уедем в деревню с тобой. Близ царей — близ смерти...

Вскоре вся фамилия Долгоруких собралась на семейный совет.

— Дела неустойчивы, — затужил князь Василий Лукич. Народ-то простой вроде бы и рад, что царь не на немецкой принцессе женится. Да вот шляхетство-то служивое ропщет.

Мутно слезилось бельмо в глазу фельдмаршала.

— Нет, не напрасно ропщет Москва! — заговорил князь Василий Владимирович. — Двенадцать тыщ холопских дворов получил ты, князь Алексей, от царя... А за што? Может, трак-тамент выгодный заключил? Или в войнах ироикой упражнялся? Или доходы государства нашего бедного ты преумножил? Какую пользу принес ты?

Брат фельдмаршала — Михаил Долгорукий (губернатор Сибири), что прибыл из Тобольска свадьбу играть, кулаком по столу рубанул в гнев:

— И княжество Козельское, что в Силезии от Меншикова бесхозным осталось, — на кой ляд оно тебе? Даже в Горенках своих порядка не умылишь, а уже в Силезию залезаешь? Худые, князь Ляксеи, слухи идут: будто ты, по примеру покойного Меншикова, еще и титула князя Римской империи домогаешься? Так или не так?

Дядька царя от нападков Владимировичей заикаться стал:

— А че-че-чем я Меншикова хуже? Он породил невесту для царя, и я породил. А что мне руку люди целуют — так вам, братики, просто завидно стало. Оттого и грызете меня!

Василий Лукич руку поднял, споры прекращая.

— Торопиться свадьбою надо, — сказал веско. — Кольцо еще не кандалы, а жених — не каторжник... Как бы не сбежал царь от Катьки нашей! Недаром по ночам к тетке своей, Елисавет Петровны, в слободу Александрову ездит. А что он там делает? Еще привалится к ней, к тетке-то... Не дай бог! Девка она сладкая, недаром солдатами вся облипла, словно пряник мухами...

— В монастырь ее, — загалдели кругом. — В монастырь Лизку!..

Свадьба царя была назначена на 19 января следующего, 1730 года. Москва шумными пирами праздновала свадьбу загодя. Отовсюду, из самых глухих деревень, утопая в сугробах провинций, ползли по дорогам России возки, колымаги и сани.

Тесно стало на Москве и обидно. Куда ни придешь, где ни послушаешь, везде одно говорят:

— Государь-то невесты не жалует. Как в Лефортове затворился, так и не смотрел ее ни разу.

— Да и невеста-то — лукава и неласкова. Мне большак мой сказывал, что Долгорукие сомлели: царь лишил их милости прежней.

— Как бы свадьба не кувырнулась! Ехали мы, тратились...

— Все едино, где исхарчигься... Племяшек, наливай!

И то правда: Долгорукие засели во дворце Головинском, а Петр их чуждался. Принимал только князя Ивана — дружба меж ними еще детская, приязнь наивная... Явился Иван к царю — весь в слезах и обидах горьких:

— Поносные вирши на себя имею. Антиошка Кантемир, из господарей молдаванских, на меня, государь, хулу изbleвал. А по Москве читают скверну его и зlobятся... Честь ли?

— Чти, — разрешил отрок.

Иван Долгорукий прочел царю по бумажке:

Не умерен в похоти, самолюбив, тщетной
Славы раб, невежеством наипаче приметной.
На ловли с младенчества воспитан псарями,
Как, ничему не учась, смелыми словами
И дерзким липом о всем хотел рассуждати?..

— Не ел бы редьки, Иванушко, так и не рыгалось бы тебе, — ответил император. — Сказывала мне бабушка: лжа — что ржа. Верю! А что, братец, ты с младенчества псарями воспитан, так обо мне эдак тоже сказано, можно... Из песни слова не выкинешь.

— Ваше величество, — вспыхнул куртизан, — Всем на Москве не переломать ноги, чтоб умолкли... Как быть-то?

Петр потер лицо, посмотрел сквозь пальцы:

— Так и быть: на иордань подниму тебя по гвардии выше.

Куртизан даже не обрадовался. Катька говорила теперь так, родни уже не стыдясь: «По свадьбе моей с царем быть Ваньке в Низах самых!» — А в Низовом корпусе плохо: там болота Гиляни, на них розы цветут персидские, но розам тем не верь — под ними гниль и лихорадка. Кусит клещ тебя, и готов раб божий: понесут вперед пятками... До чего же много мрет на Низу русского люда!

На выходе от царя столкнулся князь Иван с Иогашкой Эйхлером, обнял музыканта ласково.

— Тезка чухонская, — сказал ему. — Пока я в случае пребываю, торопись жар сгрести. Будешь в чине и ко шляхетству причислен. Целуй руку мне, да не забудь добра моего...

Затрубил на дворе рожок. Залаяли собаки. Топоча сапожищами, придворных расталкивая, бежал до царя егермейстер Селиванов:

— Ваше величество! Я не сплеховал: эвон, мужики дворцовы логово волков обложили... Вас ждем!

Петр легко и бездумно сорвался с места, кинулся в седло. И помчал царь за Рогожи — травить волка... Серый снег летел косо. Волк материи, видать: уходил он в хитрости, коварно петляя. По кустам заметывал. Петр долго гнал лошаадь, но след зверя потерял. Стал людей звать — ему никто не ответил: отбился.

— А и ладно, — сказал, пустив коня шагом...

Москва угадывалась вдаль — Сумеречным блеском колоколен, сизыми дымами, вороньим граем. Въехал император в деревню, и горазд некстати въехал. Мужики как раз тащили гроб из избы — одно корыто другим прикрыто. И тащили не в дверь, а через окно, дабы смерть запутать... Петр подскакал, снял шляпу.

— Кто помер? — спросил.

— Девка... кривого Пантелеича дочь.

— От хвори, видать?

— Воспа... — загалдели мужики. — Она, тошная!

Наступала на деревню мгла. От леса уже скакали доезжачие — царя сыскивали, чтобы на Москву ехать.

— А ты, барин, — спросили мужики, — чей же будешь: юсуповский сынок али господ Бяратинских?

— Я сам по себе, — отвечал царь. — Волка вот гнал.

Открыли гроб. Надо бы, как водится, «позолотить» покойницу. Да с собой ничего не было: как рога затрубили — так и выскочил. Тогда Петр, сострадавая, стянул с шеи офицерский шарф и бросил его поверх покойницы. На скудной посконинке вдруг ярко сверкнула серебряная мишура.

— Возьми, отче, — сказал Петр. — Более отдарить нечем...

Тронул лошадь, но тут же прискакал обратно:

— Пстой, старик! Случаем руку в кафтан сунул, да и нашел...

Рубль тебе, бери! Крышу поправишь или еще что сделаешь...

Дед рубль взял, а шарф дареный снял с покойницы и обратно царю протянул:

— Возьми, добрый сын. Простынешь...

Император замотал шарф вокруг тонкой шеи и дал коню шпоры.

— Где, ваше величество? — склонился над ним Блументрост.

— Вот тут... в самом крестце!

Блументрост, глядя в пол, вышел к Остерману:

— Первый бюллетень таков: у царя — оспа.

— Вы отвечаете своей головой, — напомнил Остерман.

— Я не ошибся: боль в крестце — верный признак... Оспа!

С грохотом упал стул, это вскочил Алексей Долгорукий:

— А мой Быдло не так сказал... Чего уж там умничать? Скорей венчать царя надо на дочке моей. От венца-то его и полегчит!

Остерман быстро закрыл лицо козырьком. Начинались конъюнктуры; На этот раз — самые опасные...

А возки все плыли среди сугробов — ехали дворяне пировать на свадьбе царя. Теснились по домам, спали на лавках, стелили им хозяева уже на полу. Из дальних губерний и провинций, из-за лесов дремучих, шагали на Москву солдаты: стягивались войска — чтобы стоять на парадах и «виваты» кричать. Москва сделалась ковшем, — не тронь ее, а то переплеснет...

Высились над улицами арки — триумфальные, пышные. Под ними проезжали герольды-сороходы и читали пароду бюллетени: «Оспа у его императорского величества выступила обильно и здорово». Это правда: оспины уже стали вызревать. Опасность вроде миновала, и караул вошел во дворец с барабанным боем и флейтами, как обычно. До свадьбы царя оставалось всего четыре дня.

Пятнадцатого января Блументрост разогнул усталую спину:

— Его величество уснул... Велите закрыть улицы!

Быстро задвинули улицы рогатками, передавили в усердии всех собак, какие попались, чтобы не вздумали лаять. Тихо, Москва! —

его величество спит... Замер Лефортовский дворец. Белели в сумерках громадные печи в изразцах голландских. Хаживал здесь когда-то веселый «дебощан» Лефорт, пировал здесь молодой Петр Первый, а теперь лежит его внук, с лицом под страшной коростой... Лежит. Тихо.

— ...венчается раб божий... — сказали ему.

Бредово глядели глаза царя-отрока: «Сон или явь?» Боже, боже! Стоит князь Алексей Долгорукий, а подалье, вся в белом, невеста его Екатерина. Плывут свечи... каплет воск.

А на палец царю надевают кольцо ледяное.

— Люди, люди, — прошептал юный царь.

И снова — тишина. И нет княжны, угасли свечи...

«Сон или явь?.. Люди, люди, на што вы меня покинули?»

А утром — чудо: задышал Петр легко. Встал.

Выли трубы в печах. Шатаясь, шагнул к окнам. Откинул рамы.

Москва, Москва! Родимая... Сыпало в лицо ему поземкой. Пахло пирогами. Так вкусно. А вдали — лес: там волки, кабаны, лисы, зайцы и рыси... Гру-ру-ру-ру — зовет рожок на охоту.

И болезнь обрушилась на царя заново. Сквозняк от окна добил его. Оспа прошла в горло и даже в нос — Петр стал задыхаться. Блументрост в бессилии развел руками:

— Виноват буду я, но... пусть придет шарлатан Бидлоо!

Пришел Бидлоо — Быдло — и сказал громко, безжалостно:

— Последний Рюрик загублен великим Блументростом! Еще раз спрашиваю: не слишком ли много славы для одного человека?

Вспомнили, что в Риге живет грек Шенда Кристодемус, врач-кудесник. Но уже было поздно... Поздно звать!

До свадьбы царя осталось всего два дня.

Вельможи толпились во дворце — растерянные:

— Отворите тюрьмы... Кормите нищих! Недоимки простить... Рассыпайте соль по улицам для бедных... пусть гребут в запас!

Был зван ко двору Феофан Прокопович со святыми дарами (на случай последнего елеосвящения). Из монастыря привезли во дворец бабу царя — старуху Евдокию Лопухину; она, как встала перед распятием на колени, так уже более и не поднималась. Муж заточил ее в застенок, сыну голову отрубил, а теперь судьба отбирала у нее последнюю надежду — внука...

— Венчать царя, — твердил Алексей Долгорукий. — Венчать!

И плакал: рушились гордые помыслы его фамилии.

В этот момент все услышали, как вдруг закрипели колеса.

Это к дверям царской палаты подъехала коляска с Остерманом.

Остерман, как часовой, занял свой пост. Немец охранял русское самодержавие. Неприкосновенность трона! Чистоту монархической власти Романовых!

Заодно он охранял и себя. В соседстве с престолом Остерман всемогущ и неуязвим. В свою руку, не боясь заразы, он взял ладонь императора и не выпустил ее — все долгих два дня.

Князь Иван Долгорукий ждал: может, уйдет барон? Шуршала в кармане его кафтана бумага. Царем не подписанная.

Но Остерман никуда не вышел.

Пробили полночь часы в Лефортовских палатах. Наступало 19 января 1730 года — день свадьбы. Алексей Григорьевич сам измучился и сына измучил:

— Ванька, подсунь бумагу-то... Может, и наскребет как!

— Да не выходит Остерман, батюшка! Я и сам рад бы!

— Следи, следи, Ванька: Когда-нибудь-то он выйдет?

— Боюсь, батюшка, что никогда...

Петр Второй рынком поднялся с подушек на острых локтях.

Прохрипела страшная маска лица:

— Сани запрягайте — еду к сестре!

И упал на подушки...

Были при нем в этот момент только двое: Остерман — с непроницаемым козырьком на глазах и фаворит — с фальшивым завещанием в кармане...

Опять забили часы половина первого ночи.

Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда.

Россия начинала жить без царя.

Эпилог

Как раз в этом 1730 году —

«В селе Ключе, недалече от Рязска, кузнец, Черная гроза прозываемый, зделал крылья из проволоки, надевал их, как рукава. На вострых концах надеты были перья самые мяккие, как пух из ястребов и рыболовов, и по приличию на ноги такоже, как хвост, а на голову, как шапка, с длинными мякими перьями. Летал тако: мало дело ни высоко, ни низко. Устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его проклял». [14, 38—50]

АННА ИОАННОВНА

Глава 5

Анна Иоанновна ночью металась на широкой кровати, задыхалась под пуховиками, кричала басом: тревожила лупа и не было потребной мужской ласки. Встала помятая, с черными мешками под глазами. Недовольно смотрелась в зеркало. Все у нее как-то вываливалось: пышная грудь из-за корсажа, тройной подбородок, толстые мясистые губы-нашлепки. «В матушку пошла», — подумалось с привычным огорчением. Вперевалку, утпцен, подплыла к окну; босая, нечесаная, неумытая ела конфеты из расписного лакомника,

смотрела на пустынную митавскую площадь перед замком. Денек наступал обычный, муторный, кашлял серыми мокротами дождя с тающим снегом. В огромном митавском замке холодно, знобит, от сырости отваливается штукатурка и краска на цветных плафонах.

Вокруг замка ров, запаленный нечистотами, обвалившиеся бастионы, — за ними унылый городишко, затерявшийся среди белесой дождливой равнины. На пустынных улицах изредка мелькают высокие красные лифы курляндок, да на рынке толкуются краснорожие крепкие мужики. Вот и вся она — Митава. Изредка со скукой прогремит по грязному булыжнику карета с каким-нибудь спесивым бароном и, конечно же, мимо. Курляндская знать посещала свою герцогиню лишь по большим праздникам. Да и зачем она вообще сидит в Митаве? Все одно, вся гражданская власть в руках высокой комиссии, определенной панами в Варшаве, а вся военная в руках очередного русского генерала, получающего указания непосредственно из военной коллегии в Санкт-Петербурге. Заштатное герцогство, заштатная герцогиня.

Анна с ненавистью уставилась на узкий, во весь рост, портрет супруга, давно перевешенный в темный угол. Всю жизнь она и живет за этим... портретом. Его высочество, герцог, так упился на собственной свадьбе, сыгранной на щедроты ее дядюшки Петра Великого, что, не отъехав и несколько миль от Петербурга, в одночасье скончался. Вернуться бы ей тогда же в Москву, на широкое салтыковское подворье матушки — так нет, дядюшка был строг и определил жестко: коль ты герцогиня, так и живи в своем герцогстве. И жила, скучала в малолюдной Митаве ради высоких интересов российской политики. Изредка вырывалась в Москву или в Петербург — веселились напропалую, но деньги кончались, и снова надобно было возвращаться в ненавистную Митава, дабы не лишиться пенсионера, выплачиваемого Верховным Тайным Советом. И возвращалась... служить. А ведь и четвертый десяток давненько пошел: и волос уже седой, и круги под глазами.

И все невестится. Вечная невеста нищих принцев. Женихи эти, впрочем, были чем-то далеким, эфемерным, несущественным. Существовали они только на бумагах, в прожектах Российской коллегии иностранных дел. Из улья этих нетелесных женихов только один и осмелился предстать перед очами, примчаться в Митава, не взирая на запреты и угрозы. Зато и хорош был: писанный красавец, принц Мориц Саксонский. Анна закрыла глаза, тяжело задышала, покачнулась, точно ветер-сквозняк снова принес с собой горячие слова отважного принца. Что и говорить: уж так нравился, так нравился! — нет, прислали два полка солдат и выгнали храброго жениха. Не угодил, видишь ли, Верховному Тайному Совету! А ее спрашивали? Ее не спрашивали, ее никогда и никто не спрашивал: ни матушка, царица Прасковья, у которой она ходила в не-

любимых дичках, ни дядюшка, великий государь, когда выдавал ее за герцога-пьяницу, ни Верховный Тайный Совет, изгнавший любезного принца и определивший жить ей и далее в Курляндии.

Анна сердито засопела, растравила себя жестокими воспоминаниями. Но не заплакала — столь имела ожесточенное сердце.

Защелкала ученая канарейка. «Да что это я раскисла-то? — спохватилась Анна. Не все же у меня горести, когда отменная радость рядом — друг бесценный, Бирончик». Повеселела, крикнула девок. На зов примчались арапка Анютка да персиянка Парашка, принялись суетиться вокруг барыни.

За горничными проскользнула дежурная камер-фрау: тощая, залезанная немочка с картофельным личиком, таким бледным, что, казалось, некто ежечасно сосет ее кровь.

Анна дежурной камер-фрау обрадовалась: то была ее любимица, Бенингна, жена Бирона. Анна и не думала ревновать ее к мужу: жили тихо, мирно, втроем.

За туалетом Анна и Бенингна долго решали, как ее высочеству одеться получше, порадовать дружка.

Наконец из китайского шкафа под черным лаком, расписанного золочеными узорами и травками, была извлечена широченная роба. Анна — огромная, нескладная, с толстыми ногами, слоном переминалась перед зеркалом. Арапка Анютка и персиянка Параша (обе арапки фальшивые, крашенные — на африканских-то денег не хватило) с вологодскими тайными ухмылочками затягивали на барыне корсет. Закончили и, не отдышавшись, запели: «А какая нонче ма-тушка красавица!..»

— Цыц, сороки! — Анна шумно присела на стульчик, передохнуть перед погружением в робу. Собачонка Цетринька, вертевшаяся вокруг женщин, вдруг заверещала от преданной собачьей радости.

Распахнулись под властным ударом ботфорт лакированные створцы дверей и на пороге вырос он! В неслыханном ярком кафтане, расшитом перьями фазана, горбоносый, с ямочкой на крутом подбородке красавец Эрнст-Иоганн Бирон не соизволил даже раскланяться с дамами: сегодня не было заезжих, все были свои.

И Анна, огромная, нескладная, растрепанная, встретив этот жесткий, наглый знакомый взгляд, которым Бирон привык осаждать кобылиц в своих конюшнях, не выдержала и первой подошла, сказала со смущением и лаской:

— Здравствуй, сударь мой, как почивал?

А глаза ее жалобно говорили другое: почему не пришел, не погрел этой ночью?

Бирон с ленивым равнодушием отвесил поклон, так что она близко могла видеть столь знакомые жирные щеки, отвисающие, как у породистого бульдога, кустистые брови, точно в изумлении ползу-

щие на низкий, заросший волосами лоб, глуповатые красивые глаза на выкате.

За спиною Бирона неслышно выскользнули из покоев девки-горничные, мелькнула и улыбнулась с подобострастием Бенингна, но Анна ничего этого не видела, а видела что-то неизмеримо мощное, сильное, властно захватившее все ее бабье одинокое существо...

После второго завтрака Анна, по заведенной привычке, ездила в манеж: стреляла там из лука с шелковой тетивой, пробовала новый штуцер с золоченой насечкой, любовалась, как гарцует на смирном брандбургском мерине се лапушка. Штуцер был превосходной льежской работы, лапушка мил и разговорчив — в манеже Бирон отходил душою, и страсть его к лошадям всем была введена. Анна любила эти часы: все тихо, покойно, он рядом с ней и не в гневе.

Обер-берейтор вывел превосходного испанского жеребца: с точеными бабками, лебединой шеей, жеребец бешено косил злыми глазами. Бирон зарделся от восхищения. Жеребец был собственностью графа Сане и, известного магната и верховного комиссара Речи Посполитой в Курляндии. Анна знала, что цена будет поистине графская, но купила не торгуясь.

Бирон тотчас размягчился и даже пытался припомнить овидиевы любовные вирши на латыни. Анна слушала с видимым умилением: сколь учен лапушка! Не случайно же целый год учился в Кенигсбергском университете.

Сама Анна, сколь не бился с нею приставленный дядюшкой учитель французик Рамбур, в латыни не преуспела, почему ученость Бирона вызывала в ней всегдашний восторг. Учености же в других придворных чинах она не терпела и называла ее пустою забавою.

Жеребца нарекли Фаворитом. Черный, как смоль, с широкой грудью, могучими строчными ногами Фаворит казался диким и необъезженным, но сахар, протянутый Анной, охотно слизнул с ладони мягким горячим языком.

В замок возвращались довольные — утерли нос зазнайке Сапеге, «Сволочная аристократия! Во дворец носа не кажут и тянут за собой всех курляндских баронов».

Бирон горько переживал, что курляндская знать отказывалась водить с ним, с сыном конюха, знакомство. Но в глубине души он не только не возненавидел эту знать, но ставил ее еще выше оттого, что сам мечтал затесаться в ее ряды. Постоянно занятый этой неотступной мыслью, он, став впоследствии фактическим правителем одной шестой части света, по-прежнему взирал на мир с невысокой курляндской колокольни, и ежели чего боялся, так это — как о нем подумает барон такой-то, или как к этому отнесется баронесса такая-то — там, в далекой Митаве.

Покупка Фаворита, по мысли Бирона, была маленькой победой над упрямыми курляндскими баронами. Ни у одного из них не на-

шлось денег на покупку испанского жеребца из конюшен самого графа Сапеги. А вот у него, Эрнста-Иоганна Бирона, сына конюха, деньги нашлись.

Бирон замурлыкал: «Ach, mein lieber Augustin...» Песенка была про польского короля Августа, потерявшего как-то Польшу во время Северной войны.

У Бирона не было ни голоса, ни слуха, да и немецкий язык его представлял чудовищную смесь немецких, латышских и польских слов, по Бирон почитал себя по силе выражений едва ли не вторым Лютером. Это была в нем, пожалуй, основная черта, которая так облегчала жизнь: он был всегда доволен самим собой.

Анна, развалясь в полуберлине, рядом с лапушкой, меж тем все мрачнела. Коляска прыгала по грязной булыжной мостовой, мимо маленьких унылых домишек за чахлыми палисадниками; мчалась вдоль узкой, все еще незамерзшей речушки, из которой пахло, как из нужника (город опускал и пес нес нечистоты), а в голове у Анны вертелась все одна мысль: где достать денег на эту неожиданную покупку? И оттого, что ей, Романовой по-батюшке, Салтыковой по-матушке, приходилось думать о каких-то несчастных тысячах, а не о миллионах, приходил гнев.

Но гневалась Анна не на Бирона, а на далекую Москву, на скряг из Верховного Тайного Совета и на первейшего скрягу Российской империи — старого Голицына, пекущегося о государственной казне так, точно она была его собственной.

Сколько раз просила она увеличить свой герцогский пенсион и всякий раз получала вежливый и скрытно насмешливый отказ, за коим видела усмешечку Голицына. Последний отказ был особенно уничтожителей и коварен. Верховный Тайный Совет обещал, что в деньгах отказу не будет, ежели — Анна обернулась к своему Эрнсту-Иоганну — ежели она удалит Бирона.

Бирон перехватил ее взгляд, самодовольно улыбнулся. Таким он был похож на скверного, гадкого, милого, любимого, толстого мальчишечку.

«Не отдам, ни за какие деньги! — твердо решила Анна. — А талеры на Фаворита можно занять и у банкира Липмана — старый и знакомый выход».

Анна вздохнула: все се герцогские владения давным-давно заложены и перезаложены.

Деньги, деньги! Всю жизнь мучается она из-за этих грошей. Натурально, порода у нее широкая, роскошная! А тут...

В замке ее поджидало новое унижение. Вошедший без доклада кухеншнейбер — розовый толстый немец — доложил со лживой почтительностью, что запасы на герцогской кухне кончились, а новых купчишки в кредит более не отпускают. Кухеншнейбер нагло помар-

гивал, зыркал по стенам, где ржавели рыцарские доспехи рода Кетлеров, казалось, приценивался.

Мясистое, напудренное лицо Анны покрылось красными пятнами, глаза сделались злыми, дикими, точно проснулась в ней горячая бабкина кровь: кровь Милославских.

Кухеншнейбер обмер, встретившись с ее взглядом: кто знает этих московитов, когда наградят, а когда зарежут? Беззаконники. Спина сама согнулась в поклоне.

Анна приказала немедля ехать к Липману.

— Да Липман не даст этому болвану и пфеннига, — равнодушно заметил Бирон, развалившийся в кресле и важно дымивший из длинной глиняной трубки. — Придется идти самому.

Анна снова залилась краской: на сей раз от благодарности к лапушке. Она замерла у окна, не могла насмотреться, как ловко он вскочил на коня, небрежно засунул за голенище сапог глиняную трубку и ускакал, фонтанами разбрызгивая грязь.

За окном пошел мокрый снег: к вечеру, должно быть, похолодает — подумалось Анне. Она жалостливо, по-бабьи, подперлась ручкою, засмотрелась на длинную пустынную улицу, по которой должен был вернуться лапушка, и неожиданно для себя, тихонько запела старую, еще в Измайловском слышанную песню:

Дотлева зелен сад зелен стоял,
А нонче зелен сад присох-приблек,
Присох-приблек, к земле прилег...

За окном тянулись густые влажные балтийские сумерки. Одинокий часовой равнодушно и мерно, по артикулу, вышагивал вокруг тумбы с цепями перед дворцом. Было так тихо, что на миг померещилось: вымер и город, и дворец, и вся-вся земля вымерла.

Приуныли в садочке вольные пташечки,
Все горькие кукушечки.

И вдруг, точно от зубной боли, заскрипели давно не смазанные парадные двери. Липа вздрогнула от испуга, обернулась. На нее летело сияющее, шуршащее розовое облако из шелка, бархата и кружев, все в лентах и орденах. Облако мчалось прямо на Анну, но вдруг, точно налетев на невидимое препятствие, внезапно замерло и согнулось в таком низком поклоне, что Анна судорожно схватилась за юбки. Облако опало, и из кружев, шелка и парика выглянуло маленькое, сморщенное в радостной улыбке личико знатнейшего курляндского вельможи — барона Корфа.

«Этому-то что понадобилось? Месяцами ведь носа во дворец не кажет?»

Анна вопросительно уставилась на барона, но тот не мог, казалось, говорить от волнения: только замахал маленькими ручками. Из дверей ввалилось какое-то снежное привидение в кучерском наряде. За ним показались радостные улыбающиеся лица придворных.

Анна хотела было рассердиться на комедиантские шутки барона — известного затейника, но снежное привидение щелкнуло шпорами и обернулось поручиком Сумароковым. В руки Анны упал запечатанный конверт.

Когда, раздраженный холодным приемом у Липмана, недоумевающий и хмурый Бирон, властно расталкивая придворных, пробился наконец к Анне, тесно окруженной первойшей курляндской знатью, она сразу не узнала его: смотрела вдаль пустыми незнакомыми глазами. Бирон тронул ее за руку, в которой она держала письмо, и только тогда она точно опомнилась. Наклонив к Бирону бледное широкое, с осыпающейся пудрой, лицо, не сказала — выдавила как бы через силу, хриплым горловым голосом:

— Иоганн, я императрица! [5, 129—139]

КОНДИЦИИ. БОЯРСКАЯ ПОРА

Была пора — боярская пора!
Теснилась знать в роскошные покои,
Былая знать минувшего двора,
Забытых дел померкшие герои...

М. Ю. Лермонтов

Глава первая

Полыхали костры на московских улицах. Бежали, крича, скороходы, и висло над первопрестольной дымное дрожащее зарево. Белели во мраке оскаленные морды лошадей.

Волновался народ. Москве не привыкать пить из чаши «перемен наверху». Первый глоток — самый горький! — москвичам достается. Грамотеи книжные поминали убиение царевича в Угличе да Гришку Отрепьева. В толпе, тряся бородами, похаживали старики, кои не забыли еще бунтов стрелецких да голов сечение.

«Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда...»

Ой, как бы не замутилась земля Русская! Жди беды, народ православный: начнутся смуты боярские. Лихолетье да пиры кровавые. Будет щука жрать щуку, давась костями...

Чаще всего выкрикивали в толпе имя цесаревны:

— Елизавета-дщерь Петрова, вот ее и надо сажать!

Князь Дмитрий Михайлович Голицын отошел от окна: «Елизавета? Нет, только не Лизку...» Служки разоблачали после соборования членов Синода, к духовным подошел фельдмаршал Долгорукий:

— Персон синодальных просим поумешкать с уходом. Благо будет сейчас советованье важное об избранье государя нового...

Дмитрий Голицын повернулся вдруг столь скоро, что с парика мятого пудра посыпалась.

— Братия! — закричал пронзительно. — За грехи великие и пороки, от иноземцев воспринятые, господь бог отнял у нас государя нашего... Сейчас же министрам верховным для совета тайного за мной следовать! Да велите звать вице-канцлера...

Но Остерман остался при теле мертвом, которое омывали дворцовые бабки. Сказал, что когда в гроб положат царя, тогда и придет... На пятки наступая, шепчась и толкаясь, особы первых классов пропускали министров. Гуськом из толпы выбрались вершители судеб России — верховники, от бессонья серые, небриты, заплаканы. Великий канцлер граф Головкин шибко сдал — била его потрясуха, еле ноги волок, и вели его под локотки двое: Василий Степанов да Анисим Маслов — секретари совета Верховного.

Дмитрий Голицын — уже от дверей — еще раз оглядел сановных. Глазищами — луп, луп, луп — своих выискивал. Пашка Ягужинский всех распахал, Наперед вылез. Мол, вот он — я! Умен, горласт и самобытен: бери меня за собой... Но маститая власть посмотрела мимо, будто Пашки и не было. Голицын других людей поманил.

— Фельдмаршала Долгорукого и Голицына тож, — объявил князь Дмитрий, — а тако ж и тебя, Михаила Владимирович, — позвал он губернатора Сибири, — прошу на совет тайный идти, не чинясь...

Третий фельдмаршал России, князь Иван Трубецкой, сгоряча завыл от обиды горькой — несносной, боярской:

— Своих выгребаешь, князь Дмитрий! А нас — куда?.. Разве ж Трубецкие тебе не фамилия? Почто меня не берешь в Совет?

Но уже грохнула дверь за верховными. Ягужинский небрежения к особе своей тоже не ожидал. Однако надежд еще не терял. Стал он похаживать среди особ знатных и шумствовать.

— Доколе, — кричал Пашка, — нам цари головы сечь будут? Пора бы уняться. Не хотят министры меня слушать, а я бы сказал...

Феофан Прокопович крест облобызал и вострубил гласно:

— Нечисто дело! Почто верховные в числе осмиличном дверьми закрылись? Свято дело не в норе тайной вершится...

Но министры того уже не слышали (двери — на замок, а ключи — на стол, как положено). Канцлер Головкин, дрожа и кашляя, предложил духовных позвать. Но князь Дмитрий Голицын ладонью рубанул крест-накрест, противничая тому, и начал в скорби:

— Беда! Мужеской отрасли дома Романовых на Руси не стало... Вскочил Алексей Долгорукий, затараторил:

— Покойному величеству благоугодно было духовную начертать, в коей запечатлел он наследницей престола государыню-невесту, дочку мою — Катерину Алексеовну!

Блеснули над столом боевые жезлы, и два старых фельдмаршала (Долгорукий и Голицын) разом осадили его властно.

— Сядь, дурак! — сказали. — Сядь и не завирайся более...

— И тако продолжаю, — заговорил верховник Голицын. — Мужеское колени угасло, а женское осталось. Вот и выбирайте.

— Елисавет Петровны, — подсказал канцлер. — Она же значит-ся в наследницах престола по тестаменту Екатерины Первья.

Но Голицын прожег канцлера дотла своими глазами.

— Екатерины Первья, — ответил, — корени есть непутного! Права на престол российский не имела, и тестаментг ее нам негож. Паче того, тестамент сей голштинцем фон Бассевйцем составлен. О дочерях же самой Екатерины и толковать неча. Они рождены до брака законного, привенчаны к подолу маткину попом пьяным... — И, сказав так, повернулся к Алексею Григорьевичу, отцу невесты царской: — А твое завещание, князь, есть подложно!

Круто взял. Круто. Прямо беда. Надо выручать.

— Михалыч, — сказал Василий Лукич Голицыну, — зачем брата моего сквернишь бездоказательно? Ты его не позорь. Там ведь рукою самого усопшего государя завещано: быть Катьке в царицах!

Фельдмаршал Долгорукий снова обрушил свой бас:

— Подложно — да! И никто права на престол не сыщет, покеда дом Романовых без остатку не вымер... Ладно. Разумней всего, полагаю я, избрать на престол бабку-царицу старую — Евдокию Лопухину, что в монашестве пребывает!

Голицын не садился — так и стоял все время.

— Евдокия Лопухина, — отвечал он фельдмаршалу, — только вдовица царева. Да и чин у нее монашеский. А из монастырей много ли ума вынесешь? Лопухиных же на Руси — сотни, по деревням сиживают и зlobятся. Евдокия — взойди, так они Русь-матку не хуже муравьев по закутам растащут...

Василий Лукич поглядел пасмурно, поиграл перстнями.

— По тебе, князь Михалыч, так никто и негож, — сказал он.

— Престол — не кол! Седоки найдутся... Забыли мы об Иоанновнах, что рождены от тишайшего царя Иоанна Алексеевича!

Совет оживился. Прасковью Волочи Ножку никто и не помянул, благо она с генералом Дмитриевым-Мамоновым венчана; но заговорили все разом об Екатерине Иоанновне — толстой, обжорной и дикой герцогине Мекленбургской, что жила в Измайлове:

— Принцесса добрая и веселая. С ней — ладно! А что немцы ее Дикой герцогиней прозвали, так нам не убыток... Телом она мягка да широка местом уседним: сие признаки доброты и согласия желанного. Такую и надо! Пущай она царствует на Руси!

— Весела... весела... весела, — закивали старцы.

Но князь Дмитрий Голицын снова пошел поперек всех.

— А что нам, — сказал, — с веселья того? Добро бы в девках была... А то ведь муженек-то ее, герцог Мекленбургский, тоже на Русь притащится. Сумасброд он, кат и сволочь! Дня не пройдет,

чтобы головы кому не отрубил... А нам, русским, зла чужого не надобно — мы своим злом сыты по горло.

— На тебя, князь, не угодишь, — заметили фельдмаршалы.

Дмитрий Михайлович легонько тряхнул великого канцлера:

— Таврило Иванович, погоди чуток... Взбодрись!

— Стар я... болен, — проскрипел Головкин. — Ослабел в переменах коронных... Однако же бодрюсь, бодрюсь!

Вошел Остерман, и крепко запахло ладаном. Дмитрий Михайлович выждал, пока не сел вице-канцлер, и главный козырь выкинул.

— А вот — Анна, герцогиня Курляндии и Семигалии, — подсказал, глядя искоса, — чем плоха? Правда, норы у нее тягостный, вдовый. Однако на Митаве не слышать от рыцарства обид на нее!

Тут все распялили глаза на Василия Лукича. Канцлер Головкин и тот заерзал в креслах, хихикая. Секрета не было: Василий Лукич на Митаве бывал и герцогиню Анну любовно тешил.

— Что ж, — сразу учуял выгоды для себя Василий Лукич, — отчего бы нам и не посадить на престол герцогиню Курляндскую?

Алексей Григорьевич тоже взбодрился: «Не удалось через дочку, так, может, через братца Лукича снова в фавор влезем?..»

— Чего уж там! — сказал. — Надо Анну звать на престол...

Дмитрий Голицын вдруг как хватит кулаком по столу.

— Можно Анну, — крикнул, — а можно и не Анну!

Опять министры оторопели: чего князю надобно?

— А надобно, — отвечал Голицын, — и себе полегчить...

— Как полегчить? О чем ты, князь? — спросил Гаврила Головкин.

— А так и полегчить. Будто, канцлер, ты и сам не ведаешь, как легчат? Надобно всем нам воли прибавить...

Василий Лукич уже блудные козни в голове строил: «Бирену-то поворот сделаю, а сам прилягу... Оно и пойдет по-старому!»

— Воли прибавить хорошо бы, — сказал Лукич, осторожничая. — Но хоть и зачнем сие, да не удержим.

— Удержим волю! — грозно отвечал Голицын...

На избрание герцогини Курляндской вроде все согласились. Правитель дел Степанов уже придвинулся с перьями: записывать.

— Как желательно, господа министры, — заговорил вновь князь Голицын. — А только, пища об избрании Анны, надобно нам не глупить и послать на Митаву некоторые... пункты!

— О каких пунктах замыслил? — спросил его канцлер.

— Нужны условия, сиречь — кондиции! Дабы самоуправство царей в тех кондициях ограничить...

Остерман посмотрел снизу — тяжело, будто гирию поднял:

— Я человек иноземный, не мне о русской воле судить.

Особы первых трех классов тоже времени даром не теряли.

Третий фельдмаршал, князь Иван Юрьевич Трубецкой, ходил, пузом тряся, да «похаркивал»:

— Видано ль дело сие? Правы синодские: разве можно от нас, родословных людей, затворяться?.. Вынесли бы правду-матку!

И соловьем разливался пламенный Ягужинский.

— Мне с миром беда не убыток! — похвалялся Пашка. — Долго ли еще терпеть, что головы нам ссекают? Ныне как раз время, чтобы самодержавству не быть на Руси!

Широко распахнулись двери — гурьбой вышли верховники.

— Господа Сенат, генералитет и персоны знатные, — обратился канцлер Головкин. — Рассудили мы за благо поручить российский престол царевне Анне Иоанновне, герцогине Курляндской.

Ягужинский за рукав Василия Лукича дергал, просил:

— Батюшки мои! Воли-то нам... воли прибавьте!

Василий Лукич рвался от Пашки:

— Говорено о том было. Но пока воли тебе не надобно...

Сенат и генералитет: шу-шу-шу — и к лестницам. Вниз!

— Куда они? — Дмитрий Голицын шпагу из ножен подвдвинул. — Надобно воротить, — сказал. — А то как бы худо от них не стало...

Но всех не вернул. Трубецкой с крыльца провыл ему люто:

— Много воли забрал ты, Митька! Печку растопил — вот сам и грейся. А мы свои костры запалим... Жаркие!

Оставшимся персонам Голицын начал рассказывать:

— Станем мы ныне писать на Митаву: об избрании и прочем. А кто по лесенке скинулся, тот в дураках будет. Потому что вас всех мы спрашиваем: чего желательно от нового царствования?

Немцы, кучкой толпясь, помалкивали. Русские же люди, будто прорвало их, закричали все разом — у кого что болело:

— Чтобы войны не учиняла... Миру отдохнуть надо!

— Мужики наши обнищали горазд...

— Бирена! Пущай она Бирена на Митаве оставит...

— Живота и чести нашей без суда не отнимать!

— Кургизанам вотчин не жаловать...

— Милости нам... милости! — взывал Ягужинский.

— И все то сбудется, — заверил собрание Голицын.

Опустел дворец Лефортовский, остались верховники, чтобы писать кондиции. Бренча шпагами, совсем раскисшие, уселись министры за стол. От имени Анны Иоанновны сочиняли — для нее же! — кондиции: «Мы, герцогиня Курляндская и Семигальская, чрез сие накрепчайше обещаемся...»

Разошлись верховники под утро. Голицын в Архангельское не поехал — здесь же, на диванчике, и приткнулся. Так закончилась эта ночь.

За стеною лежал мертвый император, всеми уже забытый!

Великий канцлер империи смотрел, как нехотя разгораются дрова в камине. Головкин дождался огня жаркого и раскрыл тайный

ковчежец. Ходуном ходили стариковские пальцы. Лежала на дне бумага, болтались красные, как сгустки крови, печати.

Это был testament Екатерины I — бумага очень опасная сейчас для России. Все было не так! Наследовать престол должна бы Анна Петровна (дочь Петра I от Екатерины), но она уже умерла в Голштинии. Сын же ее, Петр Ульрих («кильский ребенок») — от горшка два вершка. Невестю Петра Второго объявлена по testamentу дочь Меншикова, которая, как и жених ее, тоже уже мертва...

— Господи, прости прегрешение мое!

И канцлер бросил бумагу в огонь. Свернулась она от жара, дымясь. Потом, тихо хлопнув, сгорела дотла.

— Вот и все... Пора спать.

Глава вторая

Жестко хрустел снег под валенками. Александрова слобода тонула во мраке. Лишь смутно белели стены Успенского монастыря, да кроваво отсвечивали на востоке звезды. Жано Лесток на ощупь отыскал крыльцо, долго дубасил в двери застывшей пяткой в валенке.

Алексей Шубин затряс свою подругу за рыхлое плечо:

— Лиза, Лизанька... стучат вроде со двора!

Цесаревна Елизавета Петровна открыла сонные глаза:

— Кого это черт принес? Ой, прости меня, царица небесная...

Шубин босиком прошмыгнул в соседние комнаты, где с похмелья дрых в обнимку с портным Санковым гофмейстер Нарышкин.

— Сенька, — растолкал его Шубин. — Барабанят, кажись...

— Если Балакирев, — вскочил Нарышкин. — я его бить стану. Упали тяжелые засовы. Отшвырнув гофмейстера, лейб-хирург Лесток опрометью кинулся к дверям спальни цесаревны:

— Ваше высочество, отопритесь... Дело особенное имею!

— Да я голая, — послышался шепот Елизаветы.

— Ах, ваше высочество! Разве я не видел вас голой? Отопритесь же — и быть вам императрицей... Слышите?

— А чего ты печешься обо мне? И без меня найдут желателей.

— Народ кричал ваше имя, вся гвардия за вас. Монахи — тоже!

Елизавета хихикнула за дверями:

— С монашками-то, кажись, я еще и не амурничала... Лесток орал, дубася в двери:

— Избрали Анну, герцогиню Курляндскую. А вас отрешили, но мы это исправим, если вы покажетесь народу... Умоляю вас: оставьте лень свою — седлайте лошадей, скачите на Москву!

Из-за дверей послышался сладкий зевок цесаревны:

— Мне и так хорошо. Ступай, Жано... Я спать хочу! Вылетел лейб-хирург на улицу, в бессилии сжал кулаки:

— Ох, и дура! Разве с такою карьер сделаешь?.. Вышел на крыльцо сержант Алешка Шубин.

— Небо-то как вывездило, — сказал. — А ты, Жано, совсем дурак, как я погляжу... Наши Елисавет Петровны еще молоды, им с гвардией погулять охота. А то возись тут с бумагами да сенаторами! Пропадешь ведь с ними...

(Время Елизаветы еще не пришло!)

Утром в Оружейной палате опять был сбор великий, звали всех — до бригадирского чина. Бродил сенатор Семен Салтыков — сородич Анны Иоанновны, все о кондициях выпытывал.

— Каки там ишо кондиции изобрели?.. Можно ли то, — говорил, — чтобы на самодержавство русское узду надевать?

Салтыкова — кому не лень — клевать стали:

— Кондиции те — противу тиранства умыслены! Сколь много топлено, вешано, рублено... Тому более не бывать. А ты, сенатор, по родству с Ивановыми, видать, прихлебства желаешь?..

Смерть Петра Второго, такая нечаянная, словно развязала руки Голицыну; он объявил о выборе Анны Иоанновны и просил «виват» кричать. Кричали «виват» трижды — средь корон, мечей, кубков и седел царских.

Трубецкой да Ягужинский пальцами в верховников тыкали:

— Был у нас один монарх, а теперича — эвон! — целых семь объявилось. Один монарх бил — больно; коли бить все семеро станут — тогда и больно и смертно скажется...

— Пошли все вон! — велел гордый Голицын. — Уже все сказано, а у нас еще дело... Духовных персон, однако, по-удержим!

Феофан Прокопович — с клиром — предстал. И сразу речь повел о правах на престол потомства Петра: «кильского ребенка» Петра Ульриха Голштинского и цесаревны Елизаветы. Стоял — словно идол, весь в блеске парчи, а лоб — в шишках, глаза — угли.

— Елизавета, — отвечал Голицын, — рождена в стыде и живет бесстыдно, а ныне от сержанта Шубина брюхата ходит... Ее — прочь! А имени Катьки Долгорукой в ектениях более не поминать, как о государыне...

— Смиряемся мы, слуги божий, — сказал Феофан, в зобу своем злость пряча.

— А каково быть теперь с величанием Анны Иоанновны? С какой титулою возносить нам имя ее в церквах?

— Поминайте, как и ранее цариц поминали, — отмахнулся Голицын, не заметив, что он меч уронил, а Феофан этот меч поднял...

Феофану того и надобно: раньше-то ведь царей с титулом «самодержец» упоминали... Таково и Анну теперь объявит!

— Церковь, — возвестил Феофан клиру своему, — всегда, яко пес, должна стеречь престол наследников божиих. И от ущемления прав монарших спасать должно... Волочитесь же за мной, братия во Христе! Время ныне таково, что мы с кистенем в головах спать будем. Но они, затейщики конституций дьявольских, еще пожрут кала нашего, сиротского...

Голицын, после ухода духовных, еще раз просмотрел кондиции. Фельдмаршал Долгорукий взирал на князя бельмом — тускло.

— Герцогиня Курляндская, — сказал, — монахов чтит. Коли кто повезет кондиции на Митаву, так в депутаты надо бы и синодских назначить. Заодно и Феофана задобрим: от него язвы жди.

— Туды-т их всех... такие-сякие! — пустил Голицын.

— Имеешь ты сердце на попов? Скажи — с чего?

— Лживы, подлы и суетны, — в ненависти отвечал Голицын. — Духовенство русское в народе респекту не имеет. Палачи да фискалы в рясах! Гробы смердящие!

Звали в Совет бригадира Гришу Палибина — он почтами ведал:

— Повелеваем тебе, бригадир: Москву заставами оцепить, из приказа ямского подвод и подорожных не выдавать. Мужикам тоже без дела по дорогам не ерзать. Да проводывать, кто куда едет! А всех, кого отымаешь, держи взаперти, яко воров, до вторника. За иноземцами же и послами — глаз особый... Прочувствовал ли?

Замысел был таков: никто не должен предупредить Анну Иоанновну, и никто не смеет перепить депутатов верховных.

— Несомненно, дорогой Левенвольде, — сказал Остерман, — заставы будут перекрыты, и нам следует немедля послать гонца на

Митаву. Вы, как искренний друг герцогини, обязаны это сделать. Пишите на брата Густава — он человек разумный: поймет, как действовать далее...

Отпустив посла, барон подъехал на колясочке к жене:

— Дорогой Марфутченок не забыла, что ее старый Яган любит сушеные фиги? Так будь же добра, угости меня фигушенками...

Очень уж любил барон фиги. К зеркалу Остерман подсел и натер себе лицо сушеными фигами. Сразу стал вице-канцлер желтым, страшным, зачумленным. Потом напрягся, и брызнули из глаз его слезы. Большие, они залили бурые щеки. «Зеер гут», — сказал Остерман, и слезы те вытер. Мало кто знал, что вице-канцлер умел плакать. Когда захочет — тогда и плачет. Сейчас он просто проверил — не забылось ли? Нет, плакалось отлично. И он успокоился...

Из коллегии иностранных дел явился затерханный ярыга:

— Верховные министры просят нас до Митавы. И сказано, что ехать им «для некоторых дел», а каких дел — к сему не приложено изъяснения. А число лиц в пасе велят указать тако: «и прочие».

— Выдать! — не моргнул Остерман, и коллежский выкатился...

Запела в клетке ученая птица. Барон ездил по комнатам. Узлы завязывались и развязывались. «Конъюнктуры!» Тикали часы; успеет ли Лекенвольде послать гонца? Захлопали двери, птица смолкла.

— Правитель дел Верховного тайного совета имеют честь с бумагами явиться, — доложил барону его секретарь Розенберг.

— Что ж, пусть войдет...

Степанов вошел и увидел: вот она, смерть-то, какова бывает. Весьма неприглядна! Голова у Остермана — назад, торчал из-под косынок кадык, обмело губы, лицо желтое, ужасное...

— Весьма сочувствую горю вашему, — тихо повел Степанов, — яко воспитателю государя покойного. Но дела Совета безотлагательны, и ведено мне от министров довести их до вас...

— Что еще? — заклокотало в горле Остермана.

— Депутаты везут государыне новой на Митаву конституционные пункты, сиречь — кондиции знатные об ограничении воли монаршей!

Под душными одеялами сжался Остерман, похолодев.

— Читай же внятно, — сказал, едва ворочая языком.

Степанов на пальцы плюнул, раскрыл бумаги кондиций.

Читал:

«...в супружество мне во всю мою жизнь не вступать и наследника не определять... Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать... Ни с кем войны не вчинять — миру не заключать... Новыми податями народа не отягцать... В знатные чины выше полковничьего ранга не жаловать... Живота, имения и чести без суда не отымать... Вотчины и деревни никому не жаловать...

— ...а буде чего, — закончил Степанов, — по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской!»
Прошу подписать, барон, кондиции сии...

Вице-канцлер задвигался. Выпростал правую руку, и рука (боевая, письменная) протянулась к Степанову, тряская. До самого локтя она была замотана. Лишь синели ногти мертвецки.

— Да, — громко заплакал Остерман, — когда-то у меня была рука... Но теперь она отнялась.

Слезы затопили лицо вице-канцлера. Больше он ничего не подписывал. И в Совете не был ни разу. По Москве ползли слухи, что Остерман умирает (от горя — по смерти царя).

— Подохнет, так похороним, — говорили люди московские.

Дорога от Москвы до Митавы! Тайный гонец Левенвольде хорошо ее знает. Каркают черные вороны с берез. В наезженный санями тракт тупо колотят подковы: туп-туп... туп-туп! Торчат из-за пояса гонца кривые рукояти пистолей. А в них — пули, крупные, как бобы. Вот уже завиднелись вдали крыши Черкизова...

Над великой Россией, страной храбрецов и сказочных витязей, какой уже год царствовал многобедственный страх. Чувство это подлейшее селилось в домах частных, страх наполнял казармы воинские и учреждения партикулярные, страхом жили и люди придворные в самом дворце царском.

Год 1735-й — как раз середина правления Анны Иоанновны.

Пять лет отсидела уже на престоле, нежась в лучах славы и довольства всякого. Наисладчайший фимиам наполнял покои царицы.

Придворные восхваляли мудрость ее, академики слагали в честь Анны оды торжественные. Лучшие актеры Европы спешили в Петербург, чтобы пропеть хвалу императрице русской, и были здесь осыпаны золотом. Изредка (все реже и реже) грезились Анне Иоанновне дни ее скудной молодости, заснеженная тишь над сонною Митавой, когда и червонцу бывала рада-радешенька. А теперь-то лежала перед ней — во всем чудовищном изобилии! — гигантская империя, покорная и раболепная, как распятая раба, и отныне Анна Иоанновна полюбила размах, великолепие, исполнение всех желаний своих (пусть даже несбыточных).

— Колокол иметь на Москве желаю, — объявила однажды. — Чтобы он на весь мир славу моему величеству благовестил. Дабы всем колоколам в мире был он — как царь-колокол...

А жить-то монархине осталось всего пять лет (хотя она, вестимо, о сроках жизни не ведала). Баба еще в самом соку была. Полногрудая. Телом крепкая. С мышцами сильными. На мужчин падкая. Черные, словно угли, глаза Анны Иоанновны сверкали молодо. Корявое лицо — в гневе и в страсти — оживлял бойкий румянец. Не боялась она морозов, в свирепую стужу дворцы ее настезь стояли. Платок царица повяжет на манер бабий, будто жена мужицкая, и ходит... бродит... подозревает... прислушивается.

Иногда в ладоши хлопнет и гаркнет во фрейлинскую:

— Эй, девки! Чего умолкли? Пойте мне... Не то опять пошлю всех на портомойни — для зазору вашего портки стирать для кирасиров моих полка Миниха! Ну! Где веселье ваше девичье?

И, отчаянно взвизгнув, запоют фрейлины (невывспавшиеся):

Выдумал дурак — платьем щеголять
И многим персонам себя объявлять.
Что же он, дурак, является так,
Не мыслит отдать любезный мне знак?

Из соседних камор притащится постаревший Балакирев:

— Ты их не слушай, матушка. Лучше меня тебе никто не поет:

В государевой конторе
Сидит молодец в уборе.
На столе — чернил ведро,
Под столом — его перо...

Отсыревший горох скучно трещит в бычьем пузыре — это ползет шут Лакоста, король самоедский. За ним, на скрипке наигрывая, дурачась глупейше, явится и Педрилло. С невеселою суетой, локтями пихаясь, ввалятся к императрице и русские шуты — князь Волконский, Апраксин да князь Голицын — Квасник. Нет, невесело царице от их шуток и драк, князь Голицын, уже безумен, однажды ножом себя резал, а Балакирева ей давно поколотить хочется.

— Ты зачем, — придиралась она к нему, — дурака тут разыгрываешь, коли по глазам видать, что себя умнее меня считаешь?

Балакирев императрице бесстрашно отвечал:

— Я, матушка осударыня, совсем не потому в дураках — почему и ты дура у нас. Я дурачусь от избытка ума, а ты дуришь — от нехватки его. Не пойму вот только: отчего я не богаче тебя стал?

И был бит... Дралась же Анна Иоанновна вмах — кулаками больше, как мужики дерутся. И столь сильны были удары ее, что солдата с ног кулаком валила. Зверья и дичи разной набивала она тысячами, удержу в охоте не ведая. Трах! — вылетали из дворца пули, разя мимолетную птицу. Фьють! — высвистывали стрелы, пущенные из окон (иногда и в человека прохожего).

— Ништо мне сдеется, — говорила Анна Иоанновна, собою довольная. — Эвон сколь здоровушша я, и промаха ни единого!

Одно беспокоило по утрам императрицу — тяжесть болезненная внизу чрева ее. Урину царскую выносили в хрустальной посудине на осмотр лейб-медикам — Фишеру, Кондоиди, Каав-Буергаве, Лерхе, де Тейльсу... Показали ее как-то и Лестоку, который от лечения Анны Иоанновны был отстранен, как прихвостень Елизаветы Петровны. Лесток ничего не сказал в консилиуме, но при свидании с цесаревной Елизаветой шепнул ей на ушко:

Капитан Бровцын перестал плакать «о том, что Бирон учинен регентом», и с Васильевского острова побежал на Адмиралтейский. Нева — в сугробах, меж ними кое-где тропки. Словно заяц, сигал капитан через Неву на другой берег, а за ним — кабинет-министр, его высокое превосходительство со шпагой:

— Убью, изверг, за благодетеля моего!

Бровцын взмахнул на берег, стал биться в первый же дом:

— Ой, пустите меня, люди добрые... убивают!

Дверь распахнулась, приняв утеклеца, и тут же затворилась за ним. Это был дом фельдмаршала Миниха, который хохотал:

— Небось ушла в пятки душа твоя капитанская?

Немец Миних спас русского офицера от русского же министра, который вступился за немца-регента. Такие выкрутасы истории способна порождать только жизнь России того времени — жизнь путаная и жестокая, от которой голова кругом идет.

Во время «бионовщины» случилось наконец то, чего много лет добивался Бирон: Остерман был решительно задвинут за край стола и не имел больше никакого значения в стране... Надолго ли?

Миних не спит

А если и спит, то сон его тревожен. Как можно спать в такие дни, когда не он, а другие жуют что-то жирное? Хотел стать господарем Молдавским — не вышло; желал герцогом Украинским побыть — сорвалось; опять же в регенты не его, а Бирона пропихнули...

Страшные ночные часы фельдмаршала! Костлявая ведьма-жена вздыхает возле него. За стенкою сын стихи строчит любовные, обращая их к Доротее Менгден, сестре Юлианы. Время от времени он садился за клавишины, тут же перекладывая свои мадригалы в любовные арии. В такие ночи можно запустить пальцы в сердце себе и рвать его ногтями в остервенелом огорчении:

— Дали бы мне хоть чин генералиссимуса... мерзавцы!

7 ноября 1740 года Миних представлял Анне Леопольдовне новых кадетов. Потом кадетов выгнали прочь, фельдмаршал остался с принцессой наедине, и женщина вдруг расхныкалась:

— Нет нам здесь жизни при жестокостях регента. Мужа моего совсем уже зашпыняли, я плачу... Решили мы, что лучше всего уехать нам в Германию, и пусть эта Россия сгорит вся!

— Я понимаю, — отвечал Миних. — Уехать всегда можно в Германию, забрав с собой вещи и сына. Но как вы можете покинуть Россию, если на голове сына вашего корона Романовых? Такой серьезный багаж никакие лошади не потащат...

Вот этого я не понимаю!

— Но что же нам делать? — хлюпала носом Анна Леопольдовна. — Вы же видите, каким издевательствам мы подвергаемся. Дело дошло до того, что из комнат на публику не выпускают. Говорить ничего нельзя... Вы бы хоть побеседовали с герцогской светлостью, он вас послушается. Тем более что вы, мой милый фельдмаршал, так усиленно помогали Бирону регентом стать.

— Поговорить можно, — насупился Миних. — Как раз завтра я приглашен к регенту на ужин. Вот и скажу ему!

— Уж я вас очень прошу... Пожалуйста, поговорите.

— Хорошо, принцесса. Это я вам обещаю...

Миних вернулся домой и, как опытный инженер, соорудил чертеж тюрьмы с замками. Такой образцовой тюрьмы, из которой бы никто не смог убежать. Манштейн спросил фельдмаршала:

— Что вы рисуете, мой экселенц?

— План дачи в дикой местности.

— Зачем она вам?

— Не мне. Тут один приятель у меня... ему такая дачка как раз подойдет. И главное, что он убежать из нее не сможет!

На следующий день, 8 ноября, Миних отправился в гости к своему приятелю. Бирон его встретил ласково. Они обнялись и облобызали друг друга. Миних весь вечер был бесшабашно весел, а регент чего-то вдруг запечалился. Говорил регент так:

— Не знаю отчего, но гнетут меня дурные предчувствия. Вроде бы мне предстоит дальнейшее путешествие без цели... Сегодня как раз пошел двадцать второй день моего регентства, а в этой цифре сразу две двойки подряд.

— Бывает! — поддакнул Миних. — Я предчувствиям верю...

Когда они стали прощаться, Бирон спросил:

— Скажи, фельдмаршал, тебе во время боевых походов никогда не приходилось принимать важных решений по ночам?

— Ну как же! Даже часто приходилось... Вообще, — признался Миних, — я люблю использовать крепкий сон своего противника.

О жалобах принцессы он вообще говорить не стал. Было 11 часов к ночи, когда вернулся домой. Манштейну он приказал:

— Меня не покидать, В полночь я принимаю решение...

Ровно в полночь он позвонил, и на пороге вырос Манштейн.

— Собирайся. Вели закладывать сани.

— Исполнено, экселенц!

Манштейн запрыгнул на запятки. Лошади взяли с места и понесли фельдмаршала к Зимнему дворцу. С адъютантом он прошел через гардероб и велел фрейлине Юлиане Менгден разбудить принцессу. Тут же Миних поднял по тревоге дворцовые караулы, а принцессе сказал:

— Я беседовал с Бироном о вас, но эта митавская дубина не способна чувствовать нежно. Рекомендую вам поплакать перед караулом, что вы предельно измучены, как и все, от самоуправства Бирона...

Внизу дворца были построены солдаты.

— Ребята! — сказал им Миних так, словно позвал всех к обеду. — Пошли все за мной... Регента будем свергать!

В ответ раздались возгласы радости:

— Веди нас, маршал! Мы того давно ждали...

За двести шагов до Летнего дворца отряд остановился.

— Манштейн, — распорядился Миних, — я посижу в санках, а вы, я думаю, и без меня отлично справитесь с герцогом...

Утопая по колено в снегу, уходил Манштейн со шпагою, ветер разметывал за его спиною длинный плащ. За ним шагали 20 солдат при одном офицере. Проследив, как эти люди проникли во дворец, Миних вспомнил, что забыл оговорить заранее условие для себя о присвоении ему чина генералиссимуса...

Манштейн велел солдатам и офицеру следовать поодаль от него:

— Иначе нашумим! Я пойду один, а вы поспевайте...

Караулы пропускали его без подозрений, ибо адъютант Миниха был достаточно известен. Манштейн миновал несколько комнат, где ему встречались сонливые лакеи. Он заблудился в темных переходах, но спрашивать о дороге до спальни герцога не решился. Манштейн случайно обнаружил одну из дверей запертой изнутри и догадался, что это и есть бироновская спальня. Дверь была двухстворчатая, а лакеи, видать, забыли сегодня запереть ее на верхнюю и нижнюю задвижки. Манштейн нажал на дверь плечом, и... половинки дверей разъехались перед ним.

На него густо пахнуло чернотой и теплом спальни!

Посреди большой комнаты, отделанной в китайском вкусе, стояли две кровати. На одной лежал герцог, на другой его жена; одеяло у них было белого цвета, расшитое громадными розами.

Почти закрывая спящих, свисал над ними занавес голубого бархата, подбитого желтым атласом, на занавесе растопырились хищные курляндские гербы — в золоте. Чета спала так крепко, что не проснулась, когда Манштейн осветил их переносным фонарем. Пришлось толкнуть регента, и Бирон закричал:

— Кто тут? Зачем пришли?

Солдаты караула, как видно, заблудились. Манштейн решил действовать в одиночку. К сожалению, он оказался по ту сторону кровати, где лежала горбунья. А сам регент спрыгнул с другой стороны и стал поначалу прятаться под кровать.

— Караул! — взывал он истошно. — Ко мне... спасите!

— Караул идет за мной, — ответил ему Манштейн.

По кругу комнаты, застланной красным ковром, он обежал весь альков и треснул Бирона по зубам. Удар могучего Алкивиада был столь силен, что регент отлетел к стенке. Но отчаяние придало ему бодрости. Он кинулся на Манштейна с кулаками и тут же попал в неразрывные клещи объятий Минихова адъютанта. Бирон кусал Манштейна, плевался в лицо ему, но Манштейн стойко удержал его до тех пор, пока не прибежали солдаты.

— Берите его... тащите! — крикнул он им.

Бирон еще оборонялся. Кто-то из солдат, недолго думая, двинул его прикладом по башке. Другой повалил его наземь, прижал к полу. Третий сунул в рот Бирону кулак, чтобы регент не орал.

— Давай платок, — сказал драбант-ветеран.

В рот регенту забили кляп. Офицер сорвал с себя шарф и связал им руки герцога за спиной. Бирон был в нижнем белье, обшитом кружевами-блондами. Манштейн одевать его по-зимнему не велел:

— Если сейчас замерз, так в Сибири отогреется... тащи!

До самых дверей дворца солдаты нещадно избивали регента. Вторично запутавшись в лабиринте комнат, солдаты проволокли Бирона мимо гроба, в котором лежала мертвая Анна Кровавая, держа в руках потухшие свечи. В давке и ругани гроб с покойницей чуть не свернули со стола. Герцогиня бежала следом, полураздетая, цеплялась за мужа. К саду уже подкатили санки с Минихом:

— Манштейн! Бегите арестовывать его братьев... хватайте всех негодяев, что помогли ему вскарабкаться на верх пирамиды: Бестужева-Рюмина... Бисмарка... брать всех!

Один здоровенный капрал схватил на улице полуголую Бенигну Бирон и кричал направо и налево, у всех спрашивая:

— Куды мне девать эту порхунью старую?

Миних, отъезжая в санях, махнул ему рукой:

— Отнеси ее обратно в комнаты! Не убежит...

На что капрал отвечал:

— Ну да! Стану я еще с этой стервой возиться...

Он размахнулся и столбиком воткнул герцогиню в снежный сугроб. А сугроб был столь высок, что из снега торчала лишь одна голова горбуны. Вытащил ее оттуда, околевавшую от холода, какой-то сердобольный прохожий. Да и тот, наверное, не знал, кого он спасает, а то бы так до утра и оставил...

Когда Манштейн брал под арест Бестужева-Рюмина, министр спросонья совсем обалдел и, как попугай, твердил только одно:

— Никак не пойму, за что на меня регент гневаться изволит? Я уж так хорошо служил Бирону, как никто...

К рассвету все уже было кончено (без жертв). Анна Леопольдовна выбралась, зевая, из спальни и увидела сияющего Миниха, который наглейше лакал кофе из ее чашки, помешивая кофе ее же ложечкой.

— Могу вас поздравить: великий Миних не спит — старается для вас. Отныне вы полноправная правительница Российской империи при своем малолетнем сыне... А у меня — первая просьба!

— Любую исполню, фельдмаршал.

Миних извлек чертеж тюрьмы, им искусно расчерченный:

— Эту тюрьму велите построить в Пельме для Бирона и его семейства, и ручаюсь, что ни одна крыса оттуда не убежит...

Анна Леопольдовна заломила руки. Надо править Россией, а ей не хочется. Даже мыться — и то лень! Но к управлению Россией издавна приставлен Остерман, и она велела его звать. Обратный скороход сказал, что дела Остермана плохи — опять помирает.

— Сейчас мы его оживим! — Миних кликнул до себя Остерманова шурина, генерала Стрешнева. — Ты Бирона уже видел?

— Видел, — отвечал Стрешнев. — Я видел, какой он весь исцарапанный, и штаны на нем едва держатся.

— Так поди и расскажи Остерману, что он проспал самое веселое. Великий Миних превратил его врага в грязное ничтожество, а ты, Стрешнев, ошибся: герцога тащили солдаты вообще без штанов...

Остерман сразу ожил. Приполз. Сиял. Поздравлял. Этот конъюнктурщик постоянно примыкал только к сильным мира сего и присасывался к ним, «пока не появлялась другая сила, ради которой он неизменно покидал ослабевшего. Сейчас его положение сложно! [14, 90—99]

Конец «бионовщины»

Бирон был приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна рассудила его навечно заточить, а все богатства и имения конфисковать. Боязнь Бирона мистической двойки увенчалась цифровым казусом: за 22 дня регентства он поплатился 22 годами ссылки...

Москвичи уже поджидали герцога, чтобы заживо растерзать его на пути в Сибирь, но Бирон был спасен от «черни» конвоем. В Пе-

лыме стоял дом, строенный для герцога по планам Миниха, с прекрасным видом из окна на жуткую тайгу. Внезапный переход от величия к ничтожеству свалил Бирона в черной ипохондрии, близкой к смерти. Но в Пельме он прожил всего пять недель, после чего был переправлен в Ярославль, где и провел весь срок ссылки. Для жительства ему был отведен в городе каменный дом с садом на берегу Волга, в котором позже размещалось полицейское управление Ярославля. Помимо семьи с ним были лекарь, два повара, «арапка Софья» и «турчанка Катерина», которые от герцога сразу бежали и вышли замуж за лихих ярославских парней. Это бы еще ничего, но вскоре от Бирона убежала и дочь — Гедвига. Приняв православие, она заслужила прощение от Елизаветы Петровны, которая и выпихнула ее замуж за барона Черкасова, пострадавшего в царствование Анны Кроровой от самого же Бирона.

Надо знать политическое значение Бирона для России! Хотя герцог и был сослан, но русское правительство Елизаветы Петровны короны его не лишало. Если отнять у Бирона его титул, тогда Европа сразу выставит многих претендентов на обладание Курляндией, а народ латышский навсегда будет оторван от русского. Потому-то российские политики поступали весьма дальновидно и мудро, держа Бирона в Ярославле, а права на его корону как бы в своем кармане. Петр III в 1762 году вызвал Бирона из ссылки, а Екатерина II вернула ему власть над Курляндским герцогством. Понимая, что положение его целиком зависит от России, Бирон безоговорочно исполнял все просьбы Петербурга, был вассалом верным и преданным. В герцогстве он вызвал бурный гнев своего рыцарства тем, что старался ослабить рабство крестьян, а также покровительствовал евреям в финансах. Отголоски этой борьбы попали даже в поэму Байрона «Дон Жуан», где Байрон, не разобравшись в истинном смысле событий, вставал на защиту псов-рыцарей, выводя в поэме Бирона как душителя свободы. На самом же деле, в данной политической ситуации Бирон выступал верным союзником русских интересов в Прибалтике, оставил нам такую запись: «При посещении Александром II Митавы была открыта для него гробница Бирона, и сопутствующая государю княгиня Юрьевская-Долгорукая ударила труп по носу и сломала ему нос в наказание за то, что Бирон сослал ее предка. Сохранилась снятая с Бирона фотография...» Вот как! Оказывается, герцога даже фотографировали, одну из таких фотографий я имею в своем собрании.

Последняя война с германским фашизмом смерчем прошла над бывшим Курляндским герцогством, в самой Митаве шли жестокие бои, и мало что уцелело. Сейчас в Латвии проводится большая работа по реставрации дворцов того времени и памятников прошлой эпохи. В Митавском замке, дивном создании Расстрелли, ныне размещена Сельскохозяйственная академия Латвии. Митавы наших

дней — чистенький, культурный городок новостроек, прекрасных кафе и хороших магазинов.

А Миниха-то обидели!

Утром после переворота, сделавшего Анну Леопольдовну правительницей империи, солдаты пришли к дому Елизаветы на Марсово поле и стали выкликать ее на балкон. Они ведь думали, что свергают Бирона для возведения на престол цесаревны. Жестоко было разочарование солдат, когда они узнали, что все осталось по-прежнему, только не было Курляндского герцога... В это же утро Миних вызвал к себе своего сына в кабинет.

— Я устал, — сказал он ему. — Бери перо и пиши, что я велю... Маншгейну мы дадим чин полковника и поместья богатые. Главное же — я! Мне следует присвоить чин генералиссимуса... Записал?

Сын Миниха, мечтательный поэт, куснул перо:

— Но чина генералиссимуса желает принц Антон.

— Вот плюгавец! — забурчал Миних, — Раньше он мешал Бирону, теперь и я стал спотыкаться об этот венский прыщ...

— Отдайте принцу генералиссимуса, а для себя просите звание первого надо всеми министра Российской империи.

— Но там же Остерман, желающий всюду быть только первым!

— Остерман, — напомнил сын, — давно уже к флоту русскому подбирается. Желает он, грязнуля, носить мундир белый.

— Верно, черт побери! — просиял Миних. — Он еще у покойной императрицы просил флот ему дать, да она отвечала ему, чтобы он людей не смешил. Так и быть, дадим этому гнилому вестфальцу чин генерал-адмирала, чтобы не скулил много... «Ночная добыча» Миниха была велика! Анна Леопольдовна взяла себе от нее титул «императорского высочества». Под диктовку Миниха правительница вписала в указ слова, которые прозвучали для мужа ее — как звонкая оплеуха: «Хотя фельдмаршал граф Миних, в силу великих заслуг, оказанных им государству, мог бы рассчитывать на должность генералиссимуса, тем не менее он отказался от нее в пользу принца Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом первого министра».

Миних вызвал к себе гравера Вортмана, который искусно резал доску с его портрета для распространения гравюр по Европе; первый министр России величаво повелел мастеру:

— Под изображением моей персоны вы должны вырезать по-немецки вещице слова: «Только тот поистине велик, кто походит на Миниха; только тот и будет герой, друг человечества, величайший политик и безупречный христианин, кто осмелится подражать Миниху!»

Принц Антон и Остерман сразу сошлись в общей зависти к самовластною фельдмаршала. Остермана от дел политики и дед внутрен-

них Миних отшиб, дали ему флот, но... что он будет иметь с флота? При дворе делили «ночную добычу». Черкасский стал великим канцлером. Ушаков, Трубецкой и Куракин получили ордена, хотя в ночь переворота крепко спали, ничего не зная. Левенвольде подарили «знатную сумму». Не забыла Анна Леопольдовна и подругу свою Юлиану Менгден; она отдала любимице на растерзание семь кафтанов бироновских. На раскаленном докрасна противне Юлиана испепелила их, и с противня стекло чистое золото, которого хватило на отлитие четырех шандалов, шести тарелок и двух золотых шкатулок. Как видишь, читатель, немало весили парадные кафтаны Бирона!

Миних круто забрал в свое ведение всю армию, все внутренние дела и дела иностранные. Застарелая ненависть фельдмаршала к Австрии была широко известна, а проницательный король прусский Фридрих II умел учитывать все до мизерных мелочей. Он учел даже то обстоятельство, что дочь Миниха от его первого брака была за Винтерфельдом, адъютантом короля. Этого Винтерфельда король и послал в Петербург. Миних заодно со своим берлинским зятем потащил Россию прочь от союза с австрийцами — на новую дружбу с пруссаками, беспощадно сокрушая многолетнюю систему Остермана. Дипломаты писали, что Остерман «может быть в отчаянии, видя фельдмаршала первым министром. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала...»

...был под рукой: все беды народа целиком переложили на герцога Бирона, благо, сидя на цепи, он уже не в силах был огрызнуться. Остерман еще теснее связывал союз России с Австрией. Митавский престол без Бирона пустовал, и скоро из Вены прибыл брат принца Антона — принц Людвиг Брауншвейгский, готовый надеть на себя курляндскую корону. Остерман этим актом надеялся убить двух зайцев сразу. Анне Леопольдовне он доказывал:

— У вас есть соперник — Елизавета Петровна, а чтобы от нее избавиться раз и навсегда, Елизавету надобно выдать за принца

Людвига Брауншвейгского, и пусть она тихонько сидит на Митаве. Приобретя корону курляндскую, Елизавета уже не станет претендовать на корону российскую, а вам... Вам, — намекал он Анне Леопольдовне, — до совершеннолетия сына было бы выгодно короноваться!

Коронуя принцессу Брауншвейгскую, Остерман желал лишить права на престол потомство Петра I, а заодно оставить Россию навсегда в политическом подчинении Австрии. Согласия Елизаветы на брак с Людвигом никто и не спрашивал: прикажут выйти за брауншвейгца — и цесаревна вынуждена будет пойти. Но скоро

через Кавказ на Кизляр тронулась со стороны Персии громадная армия шаха Надира. По слухам, разбойник хотел захватить Астрахань и другие русские города. Многотысячная армия персов валила на Русь, волоча пушки и бряцая оружием; толпы боевых слонов бежали впереди персидской армады. Чтобы принять бой с персами, вперед выслали драгунские полки Апраксина. Страхи оказались напрасны — не армия Надира, а лишь посольство его двигалось в Петербург! Драгуны встали кордонами, и Апраксин заявил персам, что Россия прокормить такую ораву послов не способна. Через границу были пропущены только 2000 человек при 14 слонах, посылаемых Надиром в подарок Анне Леопольдовне.

Для прохождения слонов по столице заранее был отремонтирован Аничков мост, дабы не рухнул от тяжести. Слонам не понравилось питерское житие. Сначала они, «осердясь между собою о самках», драку устроили. Потом цепи оборвали и ушли на Васильевский остров, забрались там в густой лес, где чухонская деревушка стояла. Взялись они за эту деревню и к утру разнесли ее всю по бревнышку, а жители в ужасе через Неву в столице спасались... Персидские послы сообщили, что Надир решил разделить с Россией добычу от победы над Великим Моголом Индии, и в покоях Зимнего дворца были рассыпаны массы бриллиантов из Дели. Какова же цель этой щедрости разбойника? Может, пожелал ослепить русских? Выяснилось, что послы — это сваты Надира, который просит для себя руки цесаревны Елизаветы Петровны, слава о красоте которой дошла до Мешхеда...

Елизавета была в отчаянии:

— Господи, да когда я избавлюсь от женихов разных? Каждый, кому не лень, руки моей просит...

В это лето при дворе было объявлено о предстоящем браке графа Динара с девицею Менгден. Юлиана решила сыграть при Анне Леопольдовне ту же роль, какую сыграла когда-то жена Бирона при Анне Кровавой. Линар при помолвке получил орден Андрея Первозванного. Наконец, точно следуя по стопам тетки, Анна Леопольдовна объявила Линара своим обер-камергером — саксонец заступил пост, который десять лет подряд бессменно занимал до него курляндец Бирон... Русским все стало ясно! Анна Леопольдовна и принц Брауншвейгский боялись теперь проходить мимо рядов солдатских. Их пугало страшное молчание войск... застывшие в немоте лица русские... стальной блеск солдатских глаз... гнев! Принц Антон, характером более живой и чуткий, нежели его жена, однажды спросил преображенца:

— Скажи, друг, отчего ты такой хмурый?

Ничто не дрогнуло в лице офицера, а глаза смотрели вдаль, словно принца не существовало перед ним. Антон торопливо сунул ему

в руку 300 червонцев — большая милость! Преображенец деньги принял, но выражение холода не исчезло с лица его... гнев!

В один из дней Динар упал на колени перед правительницей.

— Умоляю! — взывал он к ней. — Если желаете быть счастливой, арестуйте цесаревну Елизавету. Иначе она арестует нас! Спросите генерала Ушакова — он вам расскажет, как мы все ненавистны в народе, а Елизавета одна ездит ночами по городу и никого не боится... Они ее не тронут!

Напряжение внутренней политики России усиливалось тогда небывалым напряжением политики внешней. 1740 год был для Европы почти роковым — в этом году, раз за разом, освободились три престола: берлинский, петербургский и венский. Историки уже давно заметили, что посмертная воля монархов уважается наследниками меньше, нежели воля простых смертных. Если сапожник, умирая, завещает свои колодки племяннику, то можно быть спокойным: колодки дойдут по назначению. Совсем иное дело — коронное наследство! [14, 526—530]

Елизавета ДЩЕРЬ ПЕТРОВА

Весь день Елизавета провела на коленях в пылких молитвах. Согласно преданиям, именно в этот день она поклялась перед иконами, что, если судьба дарует ей престол сегодня, она во все время царствования не подпишет ни одного смертного приговора...

Снежный буран продолжался весь день. Вечерело. Под синей лунницей текли с шуршанием снегов темно-фиолетовые сугробы. Накануне она переслала в казармы свои последние 300 рублей. Больше у нее не было ни копейки. Ждали Лестока — от Шетарди; хирург примчался в Смольную и сказал, что маркиз денег не дает, говорит, что продулся в карты. Елизавета заложила свои драгоценности. Шуваловы и Воронцовы разослали по городу своих верных людей — узнать, нет ли тревоги возле домов Остермана, Левенвольде, Ушакова и Миниха. Те вернулись, сообщив, что в столице все спокойно, а окна спальни регентши во дворце не светятся (спит, наверно?). К полуночи собрались близкие цесаревны и родственники ее по материнской линии — Гендриковы, Ефимовские, Скавропские; среди них, полный мрачной решимости, вполпьяна шатался Алешка Разумовский... Явились солдаты из ближних казарм; не чинясь (даже грубо), солдаты объявили цесаревне, что, ежели она струсит, они потащат ее к престолу силой...

Елизавета мелко вздрагивала. На нее накинули шубу.

— С богом, — сказала она, поднимаясь с колен.

На шею ей нацепили орден святой Екатерины, в самый последний момент в пальцы цесаревны вложили крест. Она всхлипнула,

двери отворились, внутрь хлынул мороз. Вся в облаке пара, Елизавета шагнула под звезды, уселась в сани. Запятки саней цесаревны были столь широки, что на них разместились все братья Воронцовы и Шуваловы. Во весь дух помчались они через пустоши заснеженных окраин Петербурга. Была историческая для России ночь — ночь с 24 на 25 ноября 1741 года... Сани остановились возле казарм лейб-гвардии полка Преображенского, где размещалась рота преданных Елизавете гренадер. Войдя в казарму с крестом, она сказала солдатам:

— Ребята, вы знаете, кто я такая. Худого вам не хочу, а добра желаю. Клянемся на кресте сем, что умрем за Россию вместе.

— Веди нас, краса писаная! Мы всех перережем!

— А тогда я не пойду. Крови было уже достаточно...

Целование креста — акт присяжный. Раздался жесткий хруст: это Лесток ножом вспарывал кожу на полковых барабанах, чтобы никто не вздумал отбить тревогу по войскам. За женщиной вышли на трескучий мороз 300 гренадер — вчерашних мужиков. От Преображенских казарм до Зимнего дворца путь казался бесконечно долог. Французский академик Альбер Вандаль, описывая эту ночь, живописует: «Толстый слой окрепшего снега прикрывал землю, заглушая всякий шум. Гренадеры торопливым шагом следовали за сани Елизаветы, молча и полные решимости; солдаты дали взаимную клятву не произнести ни единого слова во время перехода и проткнуть штыком первого же малодушного». Невский проспект лежал перед ними — пустынен, темен и мертв, словно дикое ущелье. Скрип полозьев казался Елизавете слишком громким, и возле Адмиралтейской площади она вышла из саней. Ее маленькие ноги в башмаках глубоко увязали в сугробах снега, и оттого Елизавета никак не могла поспеть за скорым и упругим гренадерским шагом. Тогда солдаты сказали ей:

— Матушка, так идти негоже. Надобно поспешить...

Гренадеры вскинули ее на плечи, и Елизавета закачалась между остриями штыков. От процессии молча отделились небольшие отряды — для арестования Остермана, Миниха, Левенвольде, а цесаревну внесли прямо в кордегардию Зимнего дворца.

— Дети! — обратилась она к солдатам в карауле. — Вам лучше меня ведомо, сколь наш бедный русский народ терпел от немцев всякие тягости. Освободим же Россию от этих притеснителей и грубиянов!

Офицеры в кордегардии колебались. Один из них обнажил шпагу. Лезвия солдатских багинетов сразу уперлись ему в грудь, но убить его Елизавета не дала, сказав:

— Он глуп еще. Оставьте жить для будущего разумления...

В сопровождении мрачных усачей, пахнущих чесноком и водкой, Елизавета, подобрав полы шубы, поднималась по лестницам

дворца в спальные апартаменты правительницы. Все часовые, стоявшие на переходах, покорно складывали перед ней свое оружие. Она с улыбкой дружеской кивала им в одобрении. Тогда солдаты поднимали с полу ружья и присоединялись к ней...

Вот и спальня правительницы Российской империи. В отсутствие графа Линара в постели правительницы лежала ее фаворитка Юлиана Менгден. Под колпаками тихо догорали ночные свечи. Елизавета решительным жестом сбросила со спящих женщин одеяло.

— Сестрица, — сказала она правительнице, — хватит тебе спать, пора вставать... А где твой сын почивает сей день?

Анна Леопольдовна даже не поняла вопроса. Она умоляла лишь об одном — не разлучать ее никогда с Юлианой Менгден.

— Ладно. Но у тебя и муж есть, касатушка... Что ты все то с Динаром, то со своей Юлианой? Постыдись...

Из соседних покоев солдаты взяли под арест принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Но рядом с ним жил его брат — принц Людвиг Брауншвейгский, претендент на корону курляндскую, искатель руки и сердца Елизаветы Петровны... Дочь Петрова велела и его брать за компанию с генералиссимусом.

— Ну, женишок мой! — сказала она ему. — Не довелось тебе погулять на свадьбе со мной. Теперь собирайся далече отъехать...

Арестованные во дворце как-то сразу безбожно поглупели. Всех их, заодно с младенцем-императором, отвозили из Зимнего на Марсово поле — в особняк цесаревны. Во дворце оставались еще знамена трех гвардейских полков; Елизавета «захватила их с собою, зная преданность солдат этим чтимым эмблемам и зная, что в их глазах долг перемещался вместе со знаменем». Лестоку она наказала:

— Чаю я, что фельдмаршал добрый Петра Ласси зла учинять нам не станет. Бега до него и скажи от меня, чтобы не пужался...

Петербург, встревоженный, пробуждался. Загорались желтые лики окон, хлопали двери домов и калиток, скрипел снег под валенками сбежавшихся отовсюду людей. Сенаторы и военные спешили на Марсово поле — припасть к ногам нового светила. Император Иоанн Антонович, разбуженный шумом, тоже был отвезен кормилицей в дом цесаревны. Елизавета взяла плачущего ребенка на руки, умилялась над ним.

— Беденький ты мой! — причитала она с ласкою. — Обделался ты весь, а никто и не доглядит... Ну да ты не реви! Это все твои батька с маткою виноваты, а я к тебе всегда по-хорошему...

С улицы доносилось «ура». Народ затоплял площадь и близлежащие улицы. Возгласы толпы развеселили ребенка и, улыбаясь беззубым ртом, Иоанн Антонович запрыгал на пухлых и теплых коленях Елизаветы, радуясь. Вельможи, растерянные от столь быстрой перемены, сходились кучками. Тряслись от страха. Спрашивали потихоньку:

- Как же это случилось?
- Сам не знаю. Лакеи раньше меня узнали. Вот прибежал...
- Кланяться надо. Господа, кланяйтесь!
- Кому кланяться-то теперича?
- Да вон... Шуваловы показались.
- А кто они теперь будут?
- Не спрашивай, князь. Кланяйся — сюда Воронцов смотрит.
- Охти мне! А там-то кто?
- А это сам... Разумовский... из свинопасов!

Шум с улицы перерастал в дикий вопль. Среди бряцанья шпор, под звоны шпаг и сабель похаживала Елизавета, вся в счастливых слезах, таская на себе сверженного ею императора. Наконец ребенок ей прискучил, надоев своим кряхтением, и она позвала grenadier:

— Возьмите младенца брауншвейгского и тащите его вместе с другими врагами... в крепость! А я народу должна показаться...

Из толпы выметывало чьи-то руки и ноги. Там уже трепали какого-то немца. Толпа жарко сдвинулась над его телом и прошла как стадо, затаптывая незваного пришельца насмерть. Несколько дней подряд, как в чаду, гуляла, кричала, пьянствовала и убивала улица... Убивали и грабили всех без разбора — голштинцев, вестфальцев, мекленбуржцев, силезцев, баварцев, саксонцев, пруссаков, курляндцев. А заодно с немцами, плохо разбираясь в различиях народов, русские калечили голландцев, шотландцев, итальянцев, испанцев и прочих... Елизавета делала вид, что этой бойни не замечает.

Манифестом к народу она объявила себя императрицей.

Третьяковский приветствовал ее стихами:

Давно в руках ей надлежало
 Державу с скипетром иметь...
 О! Матерь отчества Российска,
 О! Луч монархинь и красот,
 О! Честь европска и азийска,
 О! Плод Петров и верьх высот.

Словно соревнуясь с ним, задорно восклицал Ломоносов:

Великий Петр нам дал блаженство,
 Елизавета — совершенство...
 Целуй, Петрополь, ту десницу,
 Которой долго ты желал:
 Ты паки зришь императрицу,
 Что в сердце завсегда держал.

Соперничество поэтов продолжалось — даже в этих стихах! Сияние снега взметывало над праздничным Петербургом... [14, 540—545]

Екатерина II

Была пора: Екатеринин век.
В нем ожила вся древней Руси слава,
Те дни, когда громил Дары рад Олег
И выл Дунай под лодкой Святослава.
Рымник, Чесма, Кагульский бой,
Орлы во граде Леонида,
День Измаила роковой.
И в Праге, кровью залитой,
Москвы отмщенная обида.

В. А. Жуковский

КОММЕНТАРИИ

Четко определившись в том, что ей нужно и чего от нее ждут, императрица давала широкие предначертания, воскрешала память Петра Великого, по словам Ходасевича, привлекала сердца, восхищала умом, чаровала улыбками. «Царствование Екатерины II, — подчеркивал Пушкин, — имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России».

О том, какие цели ставила Екатерина Великая, свидетельствует ее письмо к Г. Потемкину от 14 мая 1790 г. «Вся жизнь моя, — утверждала императрица, — была употреблена на поддержание блеска России, и поэтому неудивительно, что наносимые ей оскорбления и обиды я не могу терпеть в молчании и их скрывать, как это мы делали доньше, ради минутной осторожности...»

НАЧАЛО ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Все они еще вчера были в Ораниенбауме с императором Петром Третьим, присутствовали на шумном пиру. Император упился и поздно лег спать со своей подружкой Воронцовой. Около полудня он со свитой отправился в Петергоф к императрице Екатерине Алексеевне, чтобы на другой день отпраздновать там свои именины.

На многих экипажах по прекрасной дороге в Петергоф катила веселая, нарядная бездельная свита гуляк. Тут были прусский посланник Гольц, любовница царя Лизка Воронцова, два фельдмаршала Трубецкой и Миних, принц Голштейн-Бекекий, великий канцлер Воронцов, граф Шувалов, генерал-адъютанты Гудович и барон Унгерн, граф Девиер и много дам...

В два часа все общество подкатило к павильону «Монплеизир» в Нижнем саду, выходили из экипажей, смеялись, шутя разговаривая... Погода стояла отличная.

Не прошло и десяти минут, как все изменилось: оказалось, что императрицы в Петергофе нет. Отбыла в Петербург с придворной дамой и с кавалерами! Экстренно!



Император сам бросился в ее спальню. Розовое пышное платье у туалета, казалось, смеялось и подмигивало ему.

— Что это значит? — спрашивал растерянно император направо и налево. — От нее всего можно ожидать!

Но он не получал ответа. Никто ничего не знал.

К пристани Петергофа причалил тем временем баркас из Петербурга, на котором поручик Преображенской бомбардирской роты Бернгардт привез фейерверк для завтрашних именин. Отплыл он из Петербурга в девять утра. Рассказал, что много солдат бежало по городу, кричали: «Да здравствует императрица Екатерина!»

Среди придворных начались вскрики, рыдания, дамы забились в истерику. Шувалов в сторонке, выпучив глаза, совещался с канцлером Воронцовым да с князем Трубецким. У Воронцова длинные морщины ходили по всему лицу, коротенький князь Трубецкой, выставив вперед руки, разводил ими недоуменно. Шувалов, конечно, отлично догадывался, в чем дело.

Пошептавшись, трое первых, самых доверенных вельмож, выступили перед царем:

— Ваше величество! — сказал граф Воронцов. — Долг наш, как ваших верноподданных, немедленно же ехать в Петербург, разузнать там, в чем дело, дабы это несносное состояние скорее прекратить. Ежели что подобное там и есть, то клянусь вам, что уговорю обезумевшую императрицу отказаться от всяких незаконных действий.

— Гут! — вскричал обрадованный император. — Зер гут! В самом деле, поезжайте! Возьмите моих лошадей! Скачите!

Вот эта-то тройка вельмож, представ перед Екатериной, немедленно принесла ей присягу и осветила положение.

С прибытием канцлера состоялось совещание — что же делать дальше?

Было решено: Екатерина, во главе присягнувших ей войск, сегодня же выступает в Петергоф и в Ораниенбаум, чтобы там на месте кончить дело.

Уже смеркалось, когда Екатерина в форме полковника Преображенского полка вышла из своей уборной. Заботливо придерживая синюю ленту, она подписала указ сенату.

«Господа сенаторы!

Я теперь выступаю с войсками, дабы утвердить престол. Оставляю вам, яко верховному моему правительству и с полной доверенностью — под охрану — отечество, народ и моего сына.

Екатерина».

Пока полки вытягивались на Садовую, пробило десять часов вечера. Пошли на Калинкину деревню. Екатерина ехала впереди верхом в сопровождении княгини Дашковой, тоже в военной форме.

Солдаты, утомленные событиями, шли медленно. Около одного придорожного места отдохновения и кутежей под названием «Красный кабачок» войска стали биваком. Разложили костры, стали варить кашу.

В треугольной шляпе, в мужском платье, которое так любила носить Елизавета Петровна, императрица с крыльца смотрела на грандиозное зрелище. Она играла роль Елизаветы... Ее упорство, выдержка, хитрость, обаяние, актерские дарования наконец принесли богатые плоды. Вот перед ней горят бесчисленные огни верных ей войск. Она с помощью гвардейских солдат овладела великой страной от Балтийского моря до Тихого океана. Она, маленькая Фикхен из Штеттина, скучного, провонявшего треской и селедкой...

— Ваше величество! — сказала наконец Дашкова. — Вы устали! Отдохните!

Императрица и Екатерина Романовна Дашкова, родная сестра любовницы императора Елизаветы Романовны Воронцовой, подня-

лись в светелку, где стояла одна бедная кровать служанки кабачка. Они легли вместе. Девятнадцатилетняя Дашкова сразу же уснула, а императрица долго не могла остановить потока своих мыслей.

Теперь она — царь... Царь-баба! — подумала она и усмехнулась. За нее вся гвардия, а гвардия в основном состоит из молодого дворянства. Значит, дворянство за нее. Дворянство, теперь освобожденное от государственной служебной повинности, ставшее «благородным» — «вольгеборене», — надежный оплот для захватчиков престола против масс простого, «подлого» народа... Дурак Петр, однако, сделал очень ловкий шаг, разорвав единую массу старой Московской Руси. Дворянство будет радо жить за счет народа, будет управлять им. Нужно только увеличить дворянство, нужно раздать ему в крепостные рабы и свободных еще крестьян России. Нужно покончить с несносной вольностью Украины. Дворянство нужно организовать, дать ему предводителей... Чем оно будет богаче, тем прочнее будет ее престол...

Снизу донеслась было тихая, протяжная солдатская песня, но сейчас же загредел голос Григория Орлова:

— Эй, там, в Преображенском! Отставить песни! Государыня поживает!

«Государыня! Милый! — подумала Екатерина... — А какая силица! Это не граф Станислав Понятовский... Тут и простые дворяне — гиганты... Но как же теперь порвать с Понятовским? Он будет стремиться в Петербург...»

Тело отдыhalo, и мысли становились легче, в углу блеснула фольгой бедная икона. Фике думала и думала:

«И с королем Прусским будет теперь легче. В манифесте, правда, пришлось обозвать его «злодеем»... Политика! Нельзя иначе. Он умный, он поймет! Надо учесть настроение русских. Но все остается так, как было в договоре у Воронцова и Гольца... Правда, лихие русские генералы хотят воевать — можно будет их послать на Турцию... Король Прусский умница... Надо его слушать. Возьмемся теперь вместе за Польшу... Как помрет старый Август Третий — посажу своего графа Стася польским королем... Вот ему награда за любовь... Придется с ним развязаться — Гриша ревнив, как демон. Станислав Понятовский — круль Польский... Стась! Ах, Стась!»

Светелка, налитая белесым полумраком, исчезла, остались только синие глаза да белые зубы в улыбке Стася Понятовского.

И снова укол мысли: «А что же делать с «ним»? С «монстром»? Не вздумал бы он сопротивляться сдуру со своими голштинцами. Мои гиганты изрубят его в капусту... Что с ним делать?»

Свинцовая гладь сурового Ладожского озера. Низкие облака. Приземистая, черная крепость. Шлиссельбург. Там уже безвыходно, пожизненно сидит один «царственный узник»... «Император» Иван Антонович. Но от него одно беспокойство... Король Прусский пи-

сал, что он может быть опасен. Посадить туда и Петра Федоровича? Один — Брауншвейгский, другой — Голштинский. А она — Ангальт-Цербстская — на престоле... Но тогда будет еще больше опасностей и интриг... Постоянный нарыв... Он, как сказывают из Ораниенбаума перелеты, уж за границу с Лизкой просится. Но и оттуда будет он опасен. Что делать?

Впрочем, сидючи за время гнева Елизаветы Петровны в одиночестве, разве Фике не читала историй просвещенных стран? Или Елизавета Английская не расправилась с Марией Стюарт? И найдутся и теперь «верные сыны» России, сделают что угодно — за ее ласку. За улыбку. За милость. За пожалование крепостными. Только прикажи... Или — приказать?

Полная такими государственными мыслями, задремала императрица. Пробудилась, когда ее трясла за плечо княгиня Дашкова.

— Государыня, — улыбалась она, — уже утро. Вставайте! Выступаем!

Впрочем, все было кончено. Уже в шестом часу утра Алексей Орлов с конной гвардией был в Петергофе. Подскакали они — видят — на плацу голштинцы занимаются прусской шагистикой, ходят гусиным шагом, носок тянут. Их человек до тысячи похватали. избили, оружие поломали, самих заперли под охрану в сарай.

К полудню подошли и полки. Полковник Преображенского полка Фике у «Монплезира» ловко спешила, побежала в свою спальню... Камер-лакеи да камер-дамы испуганно кланяются, а розовое платье как лежало, так и лежит у туалета. Ждет хозяйку. А хозяйке — некогда...

Бивак задымился теперь среди подстриженных на версальский манер деревьев, среди боскетов и беседок, солдаты ведрами таскали воду из бронзовых фонтанов, варили щи да кашу.

В «Монплезире» собрался почти весь двор. И из Ораниенбаума от Петра Федоровича пришло письмо карандашом на синей бумаге. Привез его генерал Измайлов.

Пишет император, что готов отказаться от престола, что готов уехать в свою Голштинию. Просит его не убивать. Просит сумму денег, приличную «его положению». Просит отпустить с ним Лизку Воронцову да Гудовича.

Прочтя, Екатерина Алексеевна пожалала плечами, передала бумагу через плечо назад Панину, стоявшему за ее креслом.

— Что делать, Никита Иваныч?

Никита Иваныч стал читать, поправляя очки.

— Ваше величество! — сказал генерал Измайлов. Он стоял тут же. — Дозвольте вас спросить — честный я человек или нет? Верите вы мне?

Как могла Фике ему верить, когда она сама никому, кроме как самой себе да королю Прусскому, не верила! Но ответить «не верю»

нельзя: это значило бы отрезать у человека какую-то надежду, а он, видно, на что-то надеется. Ишь лисья выбритая дворянская мордочка так и юлит, смотрит завистливо на вельмож, которые уже успели перевернуться. И ему тоже хочется.

— Верю, генерал! — ответила Фике проникновенно.

— Ваше величество! — говорит, волнуясь, Измайлов. — Я — я обещаю вам, что привезу вам императора после формального его отречения. Я — я человек честный!

Честный человек знал, что говорил: он видел, что творилось в Ораниенбауме после того, как адмирал Талызин не позволил императору высадиться с корабля в Кронштадте. Петра теперь голыми руками взять можно.

Честного человека и командировали в Ораниенбаум. И не прошло двух часов, как в большой карете с гербами на дверцах, с занавешенными окошками, окруженной конными гвардейцами, генерал Измайлов привез в Петергоф императора Петра Третьего. Впереди скакал Алексей Орлов, а в его конвое выделялся молодостью, ловкостью, красотой молодой капрал Потемкин.

— Никита Иваныч! — приказала Панину императрица, вынув из кармана Преображенского мундира кружевной платочек и приложив его к глазам. — Видеть его не могу! Не могу! Примите вы его! И непременно — формальное отречение.

Она удалилась в свою спальню. Так же за окнами немолчно плескали фонтаны. Так же кричали резким голосом павлины. Так же утробно ворковали сытые дворцовые голуби... Но сколько событий!

Медленно тянется время. Целый час. Дверь наконец распахнулась, и вошел Панин, скромный, тихий, учтивый, в очках. Учитель ее сына — Павла Петровича.

Императрица сидела у постели.

«Словно покойная Елизавета Петровна!» — отметил Панин. Поклонился и подал бумагу:

— Ваше величество! Отречение императора!

Схватила Фике бумагу, прочитала. Наконец-то! Наконец-то она единственная хозяйка великой страны. Тридцатипятимиллионного народа. Первая помещица-дворянка. Поднявши одну бровь, надменно спросила:

— А что он для себя просит?

— Просится жить в Ропше... В своем имении. Ему там нравится...

— В Ропше? Хорошо! Пусть живет... Пока... А охранять его мы прикажем...

Прищуриив глаза, она смотрела в окно. Среди зеленой лужайки плескался, фыркал, бил, струился, сверкал водой и бронзой фонтан в виде короны.

— ...Алексею Григорьевичу Орлову... Он человек спокойный.

Алексей Григорьевич в это время как раз освежал себя в буфете кружкой пива после волнующей своей поездки.

Григорий Григорьевич стоял тут же.

— Ну и умора, — смеялся Алексей, — одно слово... Петька-то плачет, трясется. За Лизавету все просит. В Ропшу ему надо...

— Брат, — сказал, понизив голос, Григорий, — Катя мне давече сказывала, как ты поехал... Тебе его охранять придется. Так ты его так и охраняй, чтоб мне на Кате жениться можно было... Понятно?

— Понимаю! Тогда, значит, все мы, Орловы-братья, в великие князья выйдем? Так, что ли? А ты?

— Посмотрим, — самодовольно улыбнувшись, ответил Григорий.

Скоро большая карета с византийским орлом на двери, с опущенными шторками повезла Петра Федоровича на мызу Ропша, за 25 верст от Петергофа. Возле кареты скакали Алексей Орлов, князь Бярятинский, капитан Пассек, полковник Баскаков, капрал Григорий Потемкин да еще конногренадеры.

А императрица Фике вернулась в Петербург. Дел было много.

Перебралась теперь в Зимний дворец, заняла там покои в восточном крыле, выходящие окнами на Неву. Восстановила порядок во дворце — нельзя же было пускать туда подлый народ, как это было в первый день переворота! Надо было приниматься за дела. И Екатерина целые дни проводила в кабинете за небольшим письменным столом красного дерева с бронзой.

И в этом кабинете, а не в соседней аудиенц-зале Фике приняла на второй же день после восшествия своего прусского посланника барона Гольца: обстановка должна была располагать к интимности.

Барон Гольц подошел к ее руке, остановился в поклоне и посмотрел в лицо императрицы. Она сидела светло, ясно улыбаясь, повернувшись к нему из кресла, играя лебединым пером. «Государыня все время работает!» — так и говорила эта поза.

«Тут уж не придется скакать на одной ножке и толкать друг друга под зад коленкой!» — подумал Гольц.

Он поздравил императрицу со счастливым событием, и та ответила ему кивком головы и теплым, веселым взглядом.

— Где же теперь государь? — спросил Гольц. — Его величеству моему королю будет угодно знать это!

— О, здесь нет секрета! Государь, как мне сегодня доложили, немного занемог, но в общем чувствует себя хорошо. Он в Ропше, на своей мызе... Все зависит от него самого... Как жаль, что он не сумел установить добрых отношений со своим народом!

— Но как же ваше, величество смотрит на будущие отношения с Пруссией и с его величеством прусским королем?

— Барон, я буду совершенно откровенна с вами! Нам нельзя иметь недоговоренностей. Я со своей стороны сделаю все, чтобы сохранить прежнюю нашу старую дружбу с его величеством... Все

условия заключенного мира остаются в полной силе. Пусть его величество будет совершенно спокоен: королю не придется ссориться со мной... Я уже указала графу Чернышеву в Париже заявить об этом его величеству. Больше того. Мне было донесено, что в последнее время фельдмаршал Салтыков стал всюду в Пруссии снимать прусское управление и заменять его русским. Да, сие с условиями мира совершенно не согласно. И мною уже подписан указ Салтыкову: всю Пруссию немедленно от нашего ее занятия освободить... Мирный договор — это генеральный план наших будущих отношений! А потом, богу помогающе, умрет Август Саксонский, король Польский, и мы с королем Пруссим Польшу умиротворим...

— Каким образом, ваше величество?

— Хм! — улыбнулась Екатерина Алексеевна. — Умиротворить Польшу — это значит разделить ее... Дать ее шляхте не одного, а нескольких королей. И отсюда вы, барон, можете видеть, как мы твердо наше слово держим. Сообщите о сем его величеству королю...

Барон Гольц возвращался из дворца совершенно восхищенным, очарованным. «Великая женщина! — думал он. — Она мудрая. С ней куда легче иметь дело, чем с ее супругом... Как будет доволен его величество. И правда, его величество всегда ожидал, что такой переворот может случиться. Он же предупреждал самого императора Петра — но как умно, как тактично предупреждал! Предупреждал так, что эти предупреждения не повредили его супруге... Какая мудрость! И так для Пруссии будет спокойнее. Никаких походов в Данию, никаких скандалов в Европе...»

После того как Гольц откланялся, императрица схватила листок бумаги и тут же написала фельдмаршалу Салтыкову.

«Граф Петр Семенович! Получите указ об освобождении Пруссии нашими войсками, извольте во внимание принять, что такова политика и что его нужно исполнять без особого внимания.

Екатерина».

Она позвонила:

— Кофе!

Фике любила черный кофе и такой, что из одного фунта мокко, положенного в кофейник, выходило всего две чашки. Кофе в саксонском фарфоре пах крепко,пряно, возбуждал нервы. И она снова обмакнула белое перо в золотую чернильницу в виде раковины.

Надо было писать графу Станиславу Понятовскому, чтобы он не ездил сюда, в Петербург. «Гриша не велит! — улыбнулась она собственной мысли. — Два медведя не уживутся вместе...» «Я сделаю вас польским королём! — писала она. — Работайте со шляхтой, подготавливайте сейм. А деньги и солдаты теперь будут в нужном количестве...»

Дописала. Запечатала. Положила перо. И снова в сознании всплыла все та же мысль, которую все время отгоняла от себя... с которой засыпала... С которой просыпалась... О которой ни у кого ничего нельзя было спросить: «А что же в Ропше?»

Несколько дней длилась эта молчаливая пытка мыслями и ожиданием... И вот наконец быстро вошедший, утомленный, забрызганный грязью офицер, шагнув в кабинет, подал ей письмо. Большой лист серой бумаги, исписанный неграмотной пьяной мужской рукой.

«Матушка, милостивая государыня, — читала Фике с ужасом и радостью. — Как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь своему рабу, как перед богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась! Погибли мы, когда ты не помилуешь! Матушка, нет его на свете. Но никто сего не думал, да и как нам было подумать — поднять руку на своего государя! Государыня, совершилась беда: он заспорил за столом с князем Барятинским — не успели мы их разнять — а его уж и не стало. Не помним, что и делали, но мы все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата! Повинную тебе принес и допрашивать нечего. Прости или прикажи скорей окончить... Свет не мил! Прославили тебя и погубили себя навек. Орлов Алексей».

Екатерина уронила письмо на стол, подошла к окну... День сегодня был серый, ветренный. Низко тянулись облака, на фоне жирных туч острой иглой торчал шпиль колокольни крепости, да под ветром ангел стоял, держась рукой за крест.

В кабинете государыни, над золотыми разводами двери в десюдепорте¹ был изображен Храм Славы: круглая, толстоватая мраморная беседка с несколькими колоннами белела среди зеленых деревьев. На нее из золотого солнца сыпались прямые лучи.

Перед беседкой курился жертвенник, на жертвенник женщина в белом возлагала цветы.

Чтобы овладеть собой, императрица прошла несколько раз по кабинету, выпила стакан воды, засучила рукава, снова опустила их... Потом, остановившись перед дверью и подняв глаза к небу, перекрестилась...

— Слава богу!

И ей метнулся в глаза этот Храм Славы, кисти славного Валериани.

«Скорей, скорей короноваться! — подумала она. — Надо указать — в сентябре... Уже назначен главный распорядитель — князь Никита Трубецкой...»

Теперь ему было еще дополнительно указано — заготовить сто двадцать бочек дубовых с железными обручами, чтобы в каждую

¹ Живопись на дворцовых дверях.

входило по пять тысяч рублей разменной монетой — народу разбрасывать... Да указано в этот день генералу фельдцейхмейстеру Вильбоа — готовить фейерверк отменный... да еще угощение народу... [8, 381—395]

ЕКАТЕРИНА II В КАБИНЕТЕ ЛОМОНОСОВА, ПЕРВОГО РУССКОГО ПОЭТА И УЧЕНОГО. 1764 г.

В 1711 году — в то самое время, как Петр I находился в самом разгаре детальности, в Архангельской губернии в семье крестьянина-рыбака родился Михаил Васильевич Ломоносов. В 14 лет он с помощью соседа овладел грамотой. Зимой 1730 года Ломоносов пришел с рыбным обозом в Москву. Выдав себя за дворянского сына, поступил в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 году Ломоносова направили учиться в Петербургскую академию наук. Через год его послали в Германию для изучения горного и металлургического дела. В 1741 году Михаил Васильевич вернулся на родину и стал работать в Петербургской академии наук. В царствование Елизаветы Петровны немецкие ученые, безраздельно господствовавшие в Академии наук, потеряли прежнюю власть, и высочайшим указом в 1745 году Ломоносов был назначен профессором Академии наук. Как и в юности он усердно принялся за дело и скоро приобрел большую славу. Ломоносов читал лекции, производил опыты по физике и химии, писал стихи и ученые сочинения чистым плавным русским языком, без примеси церковно-славянских выражений. Он составил первую русскую грамматику, разработал правила русского стихосложения, явился основоположником русского литературного языка. Благодаря своему поэтическому таланту стал лично известен императрице Елизавете и подружился с графом Иваном Ивановичем Шуваловым, благородным человеком и искренним поборником просвещения в России. Человек энциклопедических знаний, Ломоносов проявил себя как гениальный ученый в области естествознания, физики, химии, геологии, астрономии, истории, литературы. Некоторые научные открытия его на десятки лет опередили мысль западных ученых. Долго и настойчиво Ломоносов добивался создания русского университета. По разработанному им проекту и при поддержке его друга И. И. Шувалова университет был открыт в Москве в 1755 году.

Императрица Елизавета могла гордиться Ломоносовым как славой своего царствования, но просвещение при ней еще не достигло того развития, которое оно получило при императрице

Екатерине II (1762—1796). Будучи императрицей широко образованной, Екатерина II считала первым своим делом распространение просвещения среди народа. Деятельным ее сотрудником в этой области был Иван Иванович Бецкой, а впоследствии и княгиня Екатерина Романовна Дашкова.

Деятельность Ломоносова относится, главным образом, к царствованию Елизаветы, но доживал свой век он уже при Екатерине II, которая с большим уважением относилась к нему и высоко ценила как первого русского поэта и ученого и даже посещала его. Однажды, за год до смерти Ломоносова, летом 1764 года Екатерина II посетила дом Ломоносова вместе с княгиней Дашковой и другими знатными особами. Императрица пробыла в кабинете Ломоносова полтора часа, с любопытством рассматривала его работы и инструменты, беседовала с ним.

На картине изображена Екатерина II, сидящая в кресле в кабинете Ломоносова. В правой руке у нее табакерка, в левой — веер. На алом платье — ее любимая болонка. По левую сторону императрицы стоит княгиня Е. Р. Дашкова, позади которой — князь Г. А. Потемкин. За ним в андреевских лентах — граф Н. И. Панин и граф П. А. Румянцев, опершийся рукой на стол. Рядом с Румянцевым около стола стоит президент Академии живописи И. И. Бецкой, рассматривающий какой-то камень. У книжного шкафа позади Бецкого — попечитель московского университета граф И. И. Шувалов, покровитель Ломоносова и, наконец, у часов — в генеральской форме — князь Г. Г. Орлов. Ломоносов объясняет одну из своих мозаических работ. Несмотря на летнее время, по описанию Дашковой, в кабинете Ломоносова топился камин.

А. Д. Кившенко (1851—1895)

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее, у комендантского крыльца, вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышев направились в Алексеевский рavelин.

— Плоха, — сказал по пути обер-комендант, — уж так-то плоха; особенно с этой сыростью: вчера, ваше сиятельство, молила дать ей собственную одежду и книги — уважили...

Часовых из комнаты княжны вызвали. Туда, без провожатых, вошел Орлов. Чернышев остался за дверью.

В вечернем полумраке граф с трудом разглядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамках были темные железные решетки. У простенка, между двумя окнами, стояли два стула и небольшой стол, на столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутой едой. Вправо была расположена ширма, за ширмой стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой и под ситцевым пологом железная кровать.

На кровати, в белом капоте и белом чепце, лежала, прикрытая голубою, поношенного бархата, шубкой, бледная, казалось, мертвая женщина.



Орлов был поражен страшною худобой этой, еще недавно пышной, обворожительной красавицы. Ему вспомнилась Италия, нежные письма, страстные ухаживания, поездка в Ливорно, пир на корабле и переодетые в старенькие церковные ризы Рибас и Христенек.

«И зачем я тогда разыграл эту комедию с венцом? — думал он. — Она ведь уже была на корабле, в моих руках!»

В его мыслях живо изобразился устроенный им арест княжны. Он вспомнил ее крики на палубе и через день посылку к ней через Концова письма на немецком языке с жалобой на свое собственное мнимое горе и с клятвами в преданности до гроба и любви.

«Ах, в каком мы несчастье, — писал он ей тогда, подбирая льстивые слова. — Оба мы арестованы, в цепях; но всемогущий, бог не оставит нас. Вверимся ему. Как только получу свободу, буду вас искать по всему свету и найду, чтобы вас охранять и вам вечно служить...»

«И я ее нашел, вот она!» — мыслил в невольном содрогании Орлов, стоя у порога. Он тихо ступил к ширме.

Пленница на шорох открыла глаза, вгляделась в вошедшего и приподнялась. Прядь светло-русых, некогда пышных волос, выбилась из-под чепца, полузакрыв искаженное болезнью и гневом лицо.

— Вы?., вы?., в этой комнате... у меня! — вскрикнула княжна, узнав вошедшего и простирая перед собой руки, точно отгоняя страшный, безобразный призрак.

Орлов стоял неподвижно.

XXIII

Слова рвались с языка пленницы и бессильно замирали.

Отшатнувшись на кровати; к стене, она сверкающими глазами пожирала Орлова, с испугом глядевшего на нее.

— Мы обвенчаны, не правда ли? ха-ха! ведь мы жена и муж? — заговорила она, страшным кашлем поборая презрительное негодование — Где же вы были столько времени? Вы клялись, я вас ждала.

— Послушайте, — тихо сказал Орлов, — не будем вспоминать прошлого, продолжать комедию. Вы давно, без сомнения, поняли, что я верный раб моей государыни и что я только исполнял ее повеления.

— Злодейство, обман! — вскрикнула арестантка, — Никогда не поверю... Слышите ли, никогда могучая русская императрица не прибегнет к такому вероломству.

— Клянусь, это был ее приказ...

— Не верю, предатель! — бешено кричала пленница, потрясая кулаками. — Екатерина могла предписать все, требовать выдачи, сжечь город, где меня укрывали, арестовать силой... но не это... ты, наконец, мог меня поразить кинжалом, отравить... яды тебе известны... но что сделал ты? что?

— Минуту терпения, умоляю, — произнес, оглядываясь, Орлов, — ответьте мне одно слово, только одно... и вы будете, клянусь, немедленно освобождены.

— Что еще придумал, изверг, говори? — произнесла княжна, одолевая себя и с дрожью кутаясь в голубую, знакомую графу, бархатную мантилью.

— Вас спрашивали столько времени и с таким настоянием, — начал Орлов, подыскивая в своем голосе нежные, убедительные звуки, — скажите, мы теперь наедине... нас видит и слышит один бог.

— Gran Dio! — рванулась и опять села на кровати арестантка — Он призывает имя божье! — прибавила она, подняв глаза на образ спаса, висевший на стене, у ее изголовья. — Он! да ты, наверное, устроил и все эти мучения, всю медленную казнь! Лупас еще хвалились, что отменена пытка. Царица этого, наверное, не знает, ты и тут ее провел.

— Успокойтесь... скажите, кто вы? — продолжал Орлов. — Откройте мне. Я умолю государыню; она окажет мне и вам милость, вас освободит...

— Diavolo! Он спрашивает, кто я? — проговорила, задыхаясь от прилива нового бешенства, княжна. — Да разве ты не видишь, что я кончила со светом, умираю? Зачем это тебе?

Она неистово закашлялась, упала головой к стене и смолкла.

«Вот умрет, не выговорит», — думал, стоя близ нее, Орлов.

— В богатстве и счастье, — произнесла, придя в себя, пленница, — в унижении и в тюрьме, я твержу одно... и ты это знаешь...

Я — дочь твоей былой царицы! — гордо сказала она, поднимаясь. — Слышишь ли, ничтожный, подлый раб, я прирожденная ваша великая княжна...

Смелая мысль вдруг осенила Орлова. «Эх, беда ли? — подумал он. — Проживет недолго, разом ужогу обеим».

Он опустил на одно колено, схватил исхудалую, бледную руку пленницы и горячо припал к ней губами.

— Ваше высочество! — проговорил он. — Элиз! простите, клянусь, я глубоко виноват... так было велено... я сам находился под арестом, теперь только освобожден...

Пленница молча глядела на него большими, удивленными глазами, прижимая ко рту окровавленный кашлем платок.

— Умоляю, нас, по истине, торжественно обвенчают, — продолжал Орлов, — станьте моею женой... Все тогда, ваше высочество, дорогая моя... Элиз!... знатность, мое богатство, преданность и вечные услуги...

— Вон, изверг, вон! — крикнула, вскакивая, арестантка. — Этой руки искали принцы, короли... не тебе ее касаться, — заклеянный предатель, палач!

«Не стесняется, однако! — подумал обер-комендант Чернышев, слышавший из-за двери крупную французскую брань и проклятия арестантки. — Уйти поздорову; граф еще сообразит, что были свидетели, вломится в амбицию, отомстит!»

Комендант ушел.

Тюремщик, стоявший с ключами в коридоре и также слышавший непонятные ему гневные крики, топанье ногами и даже, как ему показалось, швырянье в гостя какими-то вещами, тоже отошел и прижался в угол, рассуждая:

«Мамзюлька, видно, просит лучших харчей, да, должно, не по артикулу, — сердчает на генерала... ох-хо! куда ей, сухопарой... все щи да щи, вчера только дали молока...»

Бешеные крики не прерывались. Зазвенело брошенное об пол что-то стеклянное.

Дверь каземата быстро распахнулась. Из нее вышел Орлов, робко пригибаясь под несоразмерной с его ростом перекладиной. Лицо

его было красно-багровое. Он на минуту замедлился в коридоре, оглядываясь и как бы собираясь с мыслями.

Нащупав под мышкой треугол, граф дрожащей рукой оправил прическу и фалды кафтана, бодро и лихо выпрямился, молча вышел, сел под проливным дождем в карету и крикнул кучеру:

— К генерал-прокурору! — По мере удаления от крепости, Орлов более обдумывал только что происшедшее свидание.

— Змея, однако, суцая змея! — шептал он, поглядывая из кареты по улицам. — Как жалила!

Он сдержанно и с полным самообладанием вошел к князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Был уже вечер; горели свечи. Орлов чувствовал некоторую дрожь в теле и потирал руки.

— Прошу садиться, — сказал генерал-прокурор, — что? озябли? [3, 452—455]

СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ II

Дверь спальни настезь с шумом распахнулась; из нее с сияющим радостью лицом выскочила Марья Саввишна и с криком бросилась к дивану князя Зубова:

— Открыла глаза! Ожила! Пожалуйте! Теперь выздоровеет! — лепетала она бессвязно.

В комнате произошло смятение. Зубов поднял голову, уставился на Перекусихину, затем вдруг понял смысл ее слов. Сорвавшись с дивана, он бросился в спальную в сопровождении Марьи Саввишны. Толпа мгновенно перед ним расступилась. Кто-то второпях побежал к графину за стаканом воды для князя, но не поспел. Дверь спальни уже закрылась.

— Вот бы дал Господь!.. — Радость какая!.. — Я говорил, что еще есть надежда!.. — Что ж такое, что удар!... — Всего шестьдесят семь лет!.. — У моей тетушки было три удара, и жива!.. — слышалось с разных сторон. Безбородко не выдержал, маленькими шажками проплыл к спальней, приоткрыл дверь и отчаянным, умоляющим жестом вызвал лейб-медика. Снова настала тишина.

— Ну, что вам? — недовольно спросил Роджерсон.

Александр Андреевич хотел объяснить — и не мог: язык не повиновался его усилию. Несколько человек задало вопросы лейб-медику. Выражение досады на Роджерсона усилилось и перешло в гримасу.

— Ведь я же ясно сказал, что никакой надежды нет, — сухо проговорил он, пожав плечами. — Зачем меня спрашивать, если вы больше верите этой доброй женщине? Часы ее величества сочтены... Открыла глаза!.. Что с того?.. Это агония...

Он круто повернулся и столкнулся с Зубовым, который выходил из комнаты с прежним выражением отчаяния на лице. Услышав рыдание Александра Андреевича, князь протянул руки, желая

его обнять. Безбородко в испуге попятился назад. Роджерсон исчез в спальней.

В коридоре за дверью послышались шаги — не такие, какими ходили теперь все, а спокойные, неторопливые, очень тяжелые. В комнату вошел человек лет шестидесяти, головой выше высокого человеческого роста и наружности, какую никогда никто не мог бы забыть, раз ее увидав. Страшное лицо его от уха до рта было пересечено тонким шрамом.

«Орлов... граф Алексей Григорьевич... Чесменский...» — пронесся по комнате шепот.

Имя убийцы Петра III теперь звучало еще гораздо более зловеще, чем имя князя Зубова. Но над Алексеем Орловым никто не смеялся, и никто не злорадствовал. Все смотрели с ужасом на его могучую фигуру. На нем был мундир серебряной парчи, залитый драгоценными камнями величины невиданной даже при дворе Екатерины II. Андреевская лента и на груди портрет государыни в алмазной раме (после смерти своего брата и Потемкина он один в России имел право носить на груди портрет императрицы). Орлов равнодушно оглядел людей, находившихся в комнате, и, слегка усмехнувшись (усмешка у него при его шраме была особенно страшная), медленно прошел к двери спальни. В комнате стояла совершенная тишина. Алексей Орлов неторопливым движением открыл дверь и, слегка вздрогнув, остановился. Наклонив голову, держась обеими огромными руками за косяк двери, недостаточно высокой для его роста, он стоял так неподвижно несколько минут, не отводя глаз от хрипящего тела императрицы Екатерины. Роджерсон поднялся со стула и отчаянно замахал руками. Протасова мгновенно закрепились в своей позе глубокого отчаяния. Марья Саввишна, смертельно, как и государыня, как и все, боявшаяся Алексея Орлова, в ужасе подняла на него глаза.

— С утра еще был здесь, — прошептал кто-то около Александра Андреевича.

— Больной пришел...

— Видно, Ерофеич вылечил...

Алексей Орлов от всех болезней лечился зверобойной настойкой, которую рекомендовал ему знахарь Ерофеич. Лицо его было в самом деле очень бледно.

...Он стоял неподвижно — и жизнь Екатерины, так странно, так страшно сплетенная с его собственной жизнью, бессвязно перед ним проходила... Она была его любовницей, она имела от него сына, он возвел ее на престол, он задушил ее мужа. Перед ним встал образ любимого брата, который был главным ее любовником, который должен был стать ее мужем. И вдруг промелькнуло в его памяти видение, быть может, самое страшное, вместе с призраком убийства в Ропшинском замке, из всех страшных видений, которые по ночам могли тревожить память Орлова-Чесменского, — образ брата Гри-

горя в последние дни жизни: этот человек несравненной красоты, этот любимец судьбы, этот идол женщин в припадке неизлечимого безумия пожирал свои изверженья...

Казалось, все присутствовавшие в комнате угадывали чувства Алексея Орлова. В общей тишине слышен был только ужасный хрип, неумолчно несшийся с тюфяка на полу спальни. Что-то вдруг изменило на мгновение не мысли, а души людей. Радостное оживление исчезло, человеческие чувства пробудились. Люди почувствовали не близящуюся перемену престола, не появление новых любимцев, не новые награды и опалы, не конец шумного царствования, а смерть — смерть женщины, с которой каждого из них связывала большая часть жизни. Бледное лицо Орлова дрогнуло. Он медленно закрыл дверь и пошел назад. По дороге ему попался на глаза Платон Зубов, которого на диване поили водой со сбивчивыми словами утешения. Граф Чесменский опять усмехнулся и неторопливо вышел из комнаты.

Своей тяжелой походкой он спустился по лестнице. Внизу происходила суматоха. Парадные двери были открыты настежь. С улицы виднелись огни факелов и слышался звон колокольчиков. От подъезда отъезжала вереница экипажей. По вестибюлю шла толпа людей. Впереди бежал невысокий, худощавый человек в больших пудренных буклях с огромной шпагой, болтавшейся позади, на спине, между фалд длинного кафтана старого прусского образца. Алексей Орлов почтительно склонился перед наследником престола. Павел Петрович на мгновение прирос к земле, странно заслонив лицо красным обшлагом своего гренадерского мундира, затем что-то пробормотал и побежал вверх по лестнице. За ним шел, покачиваясь, сопровождавший его из Гатчины граф Николай Зубов.

VI

В день смерти государыни Штаалья постигла большая неприятность: он схватил сильнейший насморк и принужден был сидеть несколько дней дома. Весь Петербург в эти дни толпился во дворце, и показаться знакомым дамам с красным распухшим носом и слезящимися глазами Штааль, разумеется, считал невозможным. Каждое утро он старательно выписывал на листе бумаги: «Заболел сего числа, службы Его Императорского Величества нести не могу» (в первое утро он ошибся и по привычке — ему довольно часто случалось сказываться больным — вместо «Его Величества» написал «Ее Величества»), Небритый и злой, сидел он в своей жарко натопленной квартире, беспрерывно кашляя и мучительно чихая. То лениво рисовал в тетрадке разные *скицы*, то со злостью читал случайно ему попавшийся седьмой том «Французской революции» врача Христофа Гиртаннера (удивляясь при этом, как все в ней было несогласно с тем, что он видел в Париже). Квартира его, на Хамовой улице,

была из двух комнат, небогатая и неудобная, с мебелью рыжеватого цвета, — этот рыжеватый цвет почему-то создавал впечатление бедности провинции, несмотря на усиленную погоню Штаала за модой и за теми дорогими вещами, которые он мог себе позволить. Одну из стен кабинета (наиболее ободранную) прикрывал настоящий гобелен, за бесценок купленный у французского эмигранта. На другой стене висели две скрещенные рапиры, а под ними кинжал дамасской работы и огромный пистолет. Была в кабинете еще полка с небольшой коллекцией табакерок из яшмы и слоновой кости и с двумя лорнетами (их больше почти не носили с тех пор, как носить их было приказано будочникам). На письменном столе лежали — большая редкость — недавно изобретенные в Бирмингеме гаррисоновские стальные перья (Штааль, впрочем, писал гусиными, но тщательно их прятал в ящик, а знакомых уверял, что стальные хоть гораздо дороже, но зато удобнее). В спальней гостей совсем нечего было показывать — разве только бутылъ с душистой... [9, 320—325]

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВЕКА

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обривших своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейских, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось непорочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе.

А. С. Пушкин

ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ ИСТОРИИ

Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться,

то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными, победами в северной Турции.

Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. [15, т. 6, 308—309]

А. С. Пушкин

Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен!
Уста премудрых ном гласят:

Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общем славы божества
Там равна сила естества.
Но где ж, натура, твой закон?

С полных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огонь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!
О вы, которых быстрый зрак

Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет, —
Скажите, что нас так мятет?

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?

Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в эфир.

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несводом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик творец?.. [13, 14—15]

*М. В. Ломоносов
(1711—1765)*

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

История Пугачева

В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому и принимаясь за всякие ремесла. Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Иргизские скиты; оттуда, в конце 1772 года, послан был для закупки рыбы и Яицкий городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостию своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана; он уверял, что и донские казаки

не замедлят за ними последовать, что у него на границе заготовлено двести тысяч рублей и товару на семьдесят тысяч и что какой-то паша, тотчас по приходу казаков, должен им выдать до пяти миллионов; покамест обещал он каждому по двенадцати рублей в месяц жалованья. Сверх того, сказывал он, будто бы противу яицких казаков из Москвы идут два полка и что около Рождества или Крещения непременно будет бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и представить, как возмутителя, в комендантскую канцелярию; но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Мальковке (что ныне Волгск) по указанию крестьянина, ехавшего с ним одною дорогою. Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с ложным письменным видом из-за польской границы, с намерением поселиться на реке Иргизе, посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в Казань. [15, 89—91]

А. С. Пушкин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, но изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и но оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Всё это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обещать у него.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он; — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы, на площади ставили наскоро виселицу. [15, т. 6, 308—309]

А. С. Пушкин

Пугачья кровь

На Болоте стоит Москва, терпит:
Приобшиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церкви идет темный гуд.
Бабы все ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу,
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью,
Начал парень чихать, сквернословить:
«Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!»
Посадили голову па кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте.
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
«Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!

Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горячими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят, и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачьа
Да на высоком колу голова Пугачья!»
И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно. [18, 96]

Илья Эренбург, 1916

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ — ВЗГЛЯД ИСТОРИКА

Переночевав на берегу небольшой речушки и отъехав от нее верст пятнадцать, остановились покормить лошадей. Заметив оплошность одного малолетка, положившего возле себя саблю и пистолет, Пугачев схватил их и устремился на Творогова и Чумакова.

— Вязите старшин! — кричал он.

Казакi всполошились, повскакивали с мест.

— Кого вязать? — насмешливо переспросил Федульев, бесстрашно наступая на Пугачева.

— Тебя! — ответил тот, обложив смельчака выразительным мужицким матом.

Пугачев спустил курок — пистолет дал осечку.

— Братцы, не робейте! — подбадривал казаков Федульев. Казаки окружили низложенного предводителя, размахивающего саблей. Бурнов ударил его в бок тупым концом копья. Чумаков кинулся на него сзади и схватил за руки. Пугачев был обезоружен, связан и посажен в телегу, на которой ехали его жена Софья и сын Трофим, неутешно рыдавшие вторые сутки. Емельяна Ивановича привезли в Яицкий городок и сдали под надзор тамошнему коменданту. Маршрут замкнулся 15 сентября 1774 года — роковое стечение обстоятельств.

— Что ты за человек? — спросил его капитан Савва Маврин.

— Донской казак Емельян Иванов Пугачев, — ответил арестованный самозванец, — согрешил я, окаянный, перед Богом и ее императорским величеством и заслужил все муки, какие на меня возложены будут, — и, помолчав, добавил, — снесу их терпеливо.

Я не царь и не царский сынок,
Я родом Емельян Пугач.

Спектакль кончился. Перемешалась в нем трагедия и комедия, драма и фарс. И неудивительно такое переплетение жанров — ведь продолжался он 365 дней, целый год! Занавес опустился. Петр Федорович ушел снова за кулисы истории. На сцене остался хорунжий из Зимовсйской станицы Емельян Иванович Пугачев, закованный в ручные и ножные кандалы. Свет померк. Но еще не погас...

14. А. Суворов, Е. Пугачев, П. Панин

Императрица приказала доставить Пугачева в Москву. Его посадили в клетку, установленную на телеге, и под усиленной охраной пехоты, казаков и двух орудий отправили сначала в Симбирск, где находился штаб графа Петра Ивановича Панина. Ехали днем и ночью, освещая путь факелами. Командовал конвоем генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, прибывший к театру военных действий за две недели до пленения самозванца. Этот сюжет вдохновил Татьяну Назаренко на создание исторически достоверной картины, воспроизведенной в наши дни на страницах популярных молодежных журналов. Еще недавно такое соседство на одном полотне заступника народного и знаменитого полководца в роли душеителя крестьянского восстания казалось просто невероятным. Не случайно же авторы школьных учебников и популярных книг о наших героях оставляли этот эпизод за пределами своего внимания, как будто правда двухсотлетней давности могла поразить цинизмом юные сердца, а лицемерие, возведенное в ранг государственной политики, воспитать активных строителей «светлого будущего». История их соединила на заключительном этапе кровавого пира и негоже историкам их разъединять. Художница поняла это раньше ученых. Между прочим, сам генералиссимус очень гордился тем, что на его долю выпал жребий внести вклад в дело «умиротворения» бунтующего края, причем не сладкими словами — силой оружия российского.

Генерал-поручик Суворов явился к графу Панину 24 августа. Приехал он «в одном только кафтане, на открытой почтовой телеге». И в тот же день тем же транспортом покатил дальше, чтобы принять начальство над всеми передовыми войсками, преследовавшими Пугачева. Добирался он без всякого конвоя по опасным тогда степным дорогам Поволжья. «Не стыдно мне признаться, — говорил он, — что я принимал на себя иногда злодейское имя», чтобы избежать плена. Получив от главнокомандующего широкие полномочия, он так и не успел ими воспользоваться. Основные силы мятежников были разгромлены солдатами полковника Ивана Михельсона, а самозванец, преданный своими сподвижниками, арестован.

Пугачев был доставлен в Симбирск вечером 1 октября. Утром следующего дня туда прибыл граф Панин. Не зная еще как, где и кем пойман самозванец, главнокомандующий тут же «с пролитием слез» поздравил Суворова от имени Ее Величества как «единого из главнейших поспешников истребления сего проклятого сына». Это отнюдь не смутило Александра Васильевича, и он на глазах у многочисленной публики подобострастно шесть раз поцеловал руки и полы мундира Петра Ивановича. Известно: большим чудачком был будущий генералиссимус; может статься, и в тот раз потешал людей, кто знает? Бывало ведь и петухом кричал, махая при этом руками, как крыльями. Так что все могло быть. Кроме активного участия его в последних событиях, поскольку «приехал он, — как заметила Екатерина II, — по окончании драк и поимки злодея».

Заподозрить императрицу в пристрастии невозможно: слишком высоко ценила она военный талант своего генерала.

В тот же день состоялась первая встреча Панина с Пугачевым, описанная Александром Сергеевичем Пушкиным.

— Кто ты таков? — спросил граф у самозванца.

— Емельян Иванов Пугачев, — ответил тот.

— Как же смел ты, вор, называться государем? — продолжал Панин.

— Я не ворон, — возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно, — я вороненок, а ворон-то еще летает.

«Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, — пишет А. С. Пушкин, — ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клоч бороды».

Главнокомандующий любил похвастать тем, что самозванец в его руках. Приехал как-то в Симбирск лейб-гвардии поручик Гавриил Романович Державин, и Петр Иванович, не скрывая восхищения собой, спросил его:

— Видел ли ты, Гавриил Романович, Пугачева?

— Видел, ваше сиятельство, на коне под Петровском, — скорее с юмором, чем серьезно, ответил поэт, так как у этого города он, вроде бы, и не бывал, когда там правили бал мятежники.

— Иван Иванович, прикажи привезь Емельку, — обратился старик к полковнику Михельсону, расплывшись в жирной ухмылке.

Оказалось, что Пугачев на своих двоих — совсем не то, что на коне. Отведав за строптивость нрава силу увесистых кулаков могучего графа и лишившись клок бороны, вырванного вместе с кожей его цепкими руками, он «из своего гордого вида тотчас низвергся в порабощение» и стал просить прощения. В широком крестьянском тулупе, с тяжелыми оковами на ногах Емельян Иванович предстал перед поэтом Державиным эдаким ничтожным деревенским му-

жичком, неспособным даже мухи обидеть. Войдя в приемную главнокомандующего, он тут же пал на колени и перекрестился.

— Здоров ли, Емелька? — спросил Панин.

— Ночей не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство.

— Надейся на милосердие государыни.

— Я слуга добрый и заслужить прощение ее величества всячески в состоянии.

Показывал граф важного узника и другим приезжим, нередко разыгрывая перед ними сцены, достойные пера Дениса Ивановича Фонвизина. К сожалению, знаменитому комедиографу не довелось побывать в приемной графа. Другие же свидетели не обладали необходимым для того литературным дарованием.

Панин не спешил с отправкой самозванца в Москву. Надо было все продумать до мелочей, расставить на пути следования солдат, заготовить на почтовых станциях лошадей, а их требовалось немало. Постепенно Емельян Иванович оправился от шока, вызванного предательством сподвижников, арестом, побоями. Даже сидя на цепи, он позволял себе подтрунивать над своими тюремщиками. 25 октября зашел в камеру к нему Иван Иванович Михельсон и спросил:

— Знаешь ли ты меня?

— А кто ты такой? — поинтересовался узник.

— Я Михельсон, — ответил полковник.

«На сей отзыв Пугачев ни одного слова не сказал, — вспоминал позднее сенатор П. С. Рунич, — но побледнел и как будто встрепенулся, нагнул голову. Михельсон, постояв с минуту, оборотился и пошел к двери».

Состояние поверженного вождя понять нетрудно: перед ним оказался тот самый Михельсон, который прилип к нему, как банный лист, еще под Оренбургом и не отставал уже до самого последнего боя у Сальникова Завода, где и разнес его мужиков в пух и прах, правда, потому только, что «не на то место определил пушки Чумаков». Однако справился с волнением Емельян Иванович и громко крикнул вслед уходящему:

— Господин полковник! Хочу попросить у тебя одну шубу, много ты их у меня отобрал. Моя-то, видишь, совсем износилась.

Позднее, когда зрителей собралось побольше, Пугачев не упустил случая еще раз позабавиться над Михельсоном:

— Где бы этому немцу меня разбить, если бы не проклятый Чумаков был тому причиной.

На другой день Пугачева повезли в Москву. Одновременно с ним в столицу доставили Афанасия Перфильева, Максима Шигаева, Ивана Почиталина, Тимофея Мясникова, Ивана Зарубина (Чику) и многих других его верных товарищей.

15. Конец Пугачева

Началось следствие. И неизвестно, сколько бы оно продолжалось, не будь у ее величества Екатерины Алексеевны помощников изобретательных, настоящих поэтов в деле дознания. Один из них С. Шешковский — омерзительнейший тип славной российской истории. Императрица ценила его за «особливый дар с простыми людьми до точности доводить труднейшие разбирательства». У него и мертвый мог заговорить, все вспомнить. Он производил следствие в комнате, уставленной иконами и во время стонов и раздирающих душу криков читал акафист сладчайшему Иисусу — тонкий, набожный был человек обер-секретарь Тайной экспедиции Сената.

Пугачев сразу признался, ради чего он затеял свою авантюру, приказывал жечь на кострах, рубить на куски, сдирать с живых людей кожу; отдавал на поругание женщин и непорочных девиц:

— Не думал к правлению быть и владеть всем Российским царством, а шел на то в надежде поживиться, если удастся, чем убитому быть на войне.

Держался Емельян Иванович стойко, хотя ежедневные в течение двух месяцев допросы с пристрастием изнурили его. Возникло даже опасение, что умрет и тем самым избежит заслуженного наказания.

Что Пугачев «стал хуже, то натурально, — успокаивал Ее Величество московский губернатор М. Н. Волконский, — однако же при всем том он не всегда уныл, случается, что и смеется».

В перерывах между допросами выставляли Емельяна Ивановича на обозрение и осмеяние. Но и в этих условиях он находил в себе силы острить. Престарелый писатель и государственный деятель Иван Иванович Дмитриев рассказывал Александру Сергеевичу Пушкину, что москвичи «между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить от него какое-нибудь слово, которое спешили потом развозить по городу». Однажды протиснулся сквозь толпу зевак некий уродливый, безносый симбирский дворянин и начал бранить закованного арестанта. Пугачев, посмотрев на него, сказал:

— Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал.

В последний день декабря в Кремлевском дворце собрались члены судебного присутствия, приглашенные. Со всеми мерами предосторожности привели самозванца, ввели его в зал заседаний и поставили на колени. Председательствующий генерал-прокурор А. А. Вяземский стал задавать вопросы. Пугачев отвечал на них, не упорствуя. Признал себя виновным, покаялся перед Богом, Ее Императорским Величеством, «всем христианским родом». На этом разбирательство дела закончилось. Осталось вынести приговор...

Но можно ль то вообразить, Какую мукою разить Достойного мученья вечно!

Стихотворец Александр Сумароков мучился, искал и не находил соответствующего его злодеяниям наказания. И судьи долго спорили, состязаясь в жестокости. Наконец решили: Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела развести по районам города и там сжечь.

Судьбу вождя должен был разделить Афанасий Перфильев. Другим его сподвижникам выпало отсечение головы, повешение, истязание кнутом с последующим вырыванием ноздрей, клеймением, высылкой на каторгу или на вечное поселение в Сибирь.

Небывалое со времен Петра Великого предстояло увидеть позорище! И к нему готовились как к празднику торжества справедливости. На московском Болоте загодя сработали эшафот с балюстрадой. По сторонам от него поставили три виселицы. Отвели места для построения войск и размещения знатной публики. К утру 10 января 1775 года все было готово...

Стужа была лютая. Деревья покрылись колючим инеем, застыли, замерли в неподвижности. В звенящей, морозной, предрасветной тишине хрустел под ногами, скрипел под полозьями снег. Люди спешили на Болото: кто пешком, кто в санях, кто в каретах. Четырнадцатилетний Ванечка Дмитриев, запахнутый в тулупчик, подпоясанным кушачком, смотрел на эту красоту, запоминал увиденное — прочно, надолго, навсегда. Приехали. Остановились. Осмотрелись. Сказка кончилась.

Ванечка рос, мужал, старился. Александр Сергеевич Пушкин в пору работы над «Историей Пугачева» нашел его действительным тайным советником и знаменитым писателем, давно закончившим свои воспоминания о пережитом, которые так и не решился предать гласности. Однако поэту доверился, кое-что рассказал и даже позволил сделать выписки из «Взгляда на мою жизнь»...

Вокруг эшафота примерзли пехотные полки, рядом с которыми стояли командиры и офицеры в шубах с поднятыми воротниками, повязанными шарфами. На «помосте лобного места увидел» Ванечка первый раз в жизни «исполнителей казни», палачей, зябнувших в ожидании дела, и вострепнулся от отвращения. «Все пространство болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет».

Вдруг толпа заколыхалась, зашумела, закричала:

— Везут! Везут! Везут!

Показалась процессия. Впереди вышагивали кирасиры. За ними лошади тянули огромные сани, окруженные всадниками, в которых спиной к вознице сидел Пугачев. Напротив него — священник в черной ризе с крестом и чиновник Тайной экспедиции. Емельян Иванович был без шапки, в длинном белом тулупе. В руках он дер-

жал толстые горящие свечи, расплавленный воск от которых стекал ему на пальцы. Был он «смугл и бледен, глаза его сверкали». Наш юный зритель, стоявший вместе с братом в толпе, «не заметил в чертах его лица ничего свирепого» — обычный был человек.

Рядом с Пугачевым стоял Перфильев. Вот он показался мальчику суровым, мрачным, злым — «свиреповидным», одним словом. За саями плелись, гремя кандалами, другие осужденные. Процессия остановилась у лестницы, ведущей на эшафот. Пугачев и Перфильев поднялись по ступеням на возвышение. Отстучали дробь и замерли барабанщики. Вытянулись и застыли в каре солдаты. Один из чиновников начал читать приговор:

— Объявляется во всенародное известие...

Когда он назвал имя осужденного и станицу, в которой тот родился, восседавший на лошади обер-полицмейстер Москвы Николай Петрович Архаров спросил:

— Ты ли донской казак Емелька Пугачев?

— Так, государь, я казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев, — ответил он громко.

«Вид и образ его показался мне совсем несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг, — отметил Андрей Тимофеевич Болотов, — он походил не столько на звероподобного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклокоченные и весь вид ничего не значущий».

Афанасий Перфильев стоял все это время молча, неподвижно, потупив взгляд в землю. В памяти мемуаристов он остался человеком немалого роста, сутулым, рябым.

Чиновник Тайной экспедиции Сената дочитал приговор. Протоиерей Архангельского собора Петр Алексеев благословил осужденных и ушел с эшафота. Емельян Иванович, повернувшись к куполам ближайшего божьего храма, перекрестился несколько раз, потом стал торопливо прощаться с собравшимися на Болоте людьми, кланяясь на все стороны и повторяя срывающимся голосом:

— Прости, народ православный, отпусти мне, в чем согрубил я перед тобою. Прости, народ православный! Прости...

«Палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтаны. Он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе», поднятая за волосы ловким мастером заплочных дел.

«Это происшествие так врезалось в память» нашего юного свидетеля казни, что и полстолетия спустя он сумел описать ее «с возможной верностью» и тем заслужить одобрение такого требовательного исследователя, каким был Александр Сергеевич Пушкин. «Хроника моя, — писал поэт Ивану Ивановичу Дмитриеву после

выхода в свет «Истории Пугачева», — обязана вам яркой и живой страницей, за которую много будет мне прощено самыми строгими читателями».

И я надеюсь на то же.

Отгулял, отбуйствовал, отзлобствовал самозванный крестьянский царь. Мятежная душа его отлетела от грешного тела. Свет погас. Кончился эпилог спектакля, стоившего России неисчислимым жертв.

Емельян, ты наш родной батюшка!
На кого ты нас покинул?...

16. Последние штрихи к портрету

Каков же все-таки он, крестьянский царь Емелька, заставивший содрогнуться в страхе дворянскую Российскую империю? Можно ли поставить его в один ряд с «нашими великими предками»?

Пугачев — «отменно проворный» казак, в семнадцать лет обративший на себя внимание начальства и за храбрость получивший младший офицерский чин хорунжего, бесспорно, имел основание рассчитывать на успех и стремился уже в юности «быть отличным».

Пугачев — вор, умыкнувший у соседа лошадь и бежавший от наказания сначала за Кубань, в турецкие владения, а потом в Польшу, с которыми Россия находилась тогда в состоянии войны. Выходит, изменил Родине. И, кажется, получил от ее врагов «кое-какие денежные средства», необходимые для приобретения первых сподвижников.

Пугачев — тонкий психолог, осознающий рабскую преданность мужиков законному государю, принимающий на себя имя императора Петра Федоровича, заслуживающего, по представлению сердобольных русских людей, сочувствия и поддержки уже потому, что обижен, свергнут с престола. А за что, понятно: желал добра простому народу.

Пугачев — умный, даже талантливый от природы человек, хорошо понимающий нужды народа, обещающий ему золотые горы и реки, полные вина, и тем увлекающий его на дорогу, освещенную заревом пожарищ, отмеченную разгулом насилий, грабежей, убийств, обрушившихся лавиной не только на помещиков — на всех, кто не хотел признавать в нем «самодержавного амператора».

Пугачев — блестящий актер-импровизатор, способный перевоплотиться по ходу сценического действия, без труда пустить слезу ради вящей убедительности создаваемого образа.

Пугачев — бесстрашный авантюрист, действующий не столько из любви и сострадания к угнетенным, сколько из желания «быть отличным» и ради достижения своих честолюбивых замыслов ввергающий в кровавую бойню десятки тысяч обездоленных, темных, доверчивых люден — «всякой сволочи», по его же определению.

Пугачев — патологически жестокий человек, уголовный преступник, призывающий своих подручных вешать, жечь на кострах, рубить на куски, сдирать с живых людей кожу, отдавать на поругание «жен и девиц» на глазах не только мужей и отцов, но и детей — сыновей и младших братьев; герой, кровью вписавший свое имя в российскую историю; вождь, ославленный дворянскими поэтами и прославленный народом не как самозванец — как заступник сирых и бедных.

Пугачев — безответственный отец и муж, предающий своих голодных детей и жену; распутный, похотливый хам, бесчестящий чужих невест.

Нет, портрет Пугачева не напишешь в одном, только розовом цвете, не получится, документы не то, что протестуют — вопиют.

Можно ли поставить Пугачева на одну ступень с «нашими великими предками»? В общем-то, вопрос этот в известной степени риторический, ибо сама Судьба нашла ему место рядом с, бесспорно, выдающимся современником — Александром Васильевичем Суворовым. Правда, поставила их по разные стороны клетки. Так что с какой стороны не посмотри, а все-таки тянет наш герой больше на злодея из народа, деяния которого вряд ли можно отнести к самым лучшим страницам истории Отечества.

Наивными кажутся попытки авторов некоторых книг и сценаристов представить его апостолом, думающим только о том, как бы помочь обездоленным людям, мучительно переживающим из-за того, что вынужден действовать от имени покойного государя Петра Федоровича, а накануне казни сожалеющим, что «преуспеть не сумел в затеянном». И уж совсем смешно, если не глупо, изображать Емельяна-царя эдаким нежным влюбленным в Устинью Кузнецову, шестнадцатилетнюю девушку, обреченную им на медленную смерть в одной камере с Софьей Дмитриевной и ее детьми. В общем, юноше, обдумывающему житье, он вряд ли может служить примером.

Конечно, Пугачев обещал крестьянам волю, а работным людям облегчение «от отягощения в заводской работе» и тем выражал объективно интересы трудящихся. Иначе не пошли бы за ним. Но пошли и шли, пока верили или «хотели верить», что он случайно избежавший смерти Петр III. А «хотели верить», пока он «рожу свою от них отворачивал». Стоило донским казакам присмотреться, убедиться, что ведет народ никакой не царь, а самозванец — стали разбегаться. Опасался Емельян Иванович разоблачения. Не мог он сокрушаться из-за того, что выдавал себя за покойного государя. Преувеличивали степень зрелости дремучего предводителя его просвещенные потомки, обремененные званиями писателей и ученых, вооруженных «самой передовой методологией».

А вообще-то не так уж и важно, кто поднимает угнетенных на борьбу и какие он ставит перед собой задачи. Народ всегда прав,

если с него дерут три шкуры и уж тем более прав, если пытаются содрать десять.

Восстание, слава Богу, потерпело поражение. Даже временный успех крестьянского «ампиратора» обернулся бы для России паде-нием в пропасть, из которой она не скоро смогла бы выбраться. Однако «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», заставил думать о путях развития Отечества. Попытка решить стоявшие про-блемы без участия масс — совершить «революцию сверху» — через пятьдесят лет кончилась крахом на Сенатской площади, но поро-дила надежду...

Россия встрянет ото сна!

Поколению А. С. Пушкина не суждено было дожить до осуществ-ления мечты. Летаргия затянулась почти на столетие. Ретроспек-тивный взгляд на пробуждение народа с высоты исторического опыта, но как бы глазами поколения декабристов, вызвал невеселые мысли у поэта Юрия Ряшенцева: Россия встрянет ото сна. Но отли-чит ли Салтычиху от Салтыкова-Щедрина?

Россия встряла. И не отличила. Закружилось «красное колесо», набрало обороты сразу, вовлекло в круговерть социальных страстей миллионы, переломало кости и судьбы отдельных людей, классов и целых народов. Сын пошел на отца, брат на брата. Кровь полилась потоками. Захлебнулись в ней и победители, и побежденные. Вели-кая держава полетела в бездну. Остановится ли? Соберет ли воедино свои земли, розданные «ампираторами» новейшего времени «млад-шим братьям»: кому по случаю юбилея, кому в процессе решения национального вопроса — щедро, по-ленински. [12, 105—116]

Емельян Пугачев

Зарубин

Это верно, это верно, это верно!
Кой нам черт умышлять побег?
Лучше здесь всем им головы скверные
Обломать, как колеса с телег.
Будем крыть их ножами и матом,
Кто без сабли — так бей кирпичом!
Да здравствует наш император,
Емельян Иванович Пугачев!

Пугачев

Нет, нет, я для всех теперь
Не Емельян, а Петр...

Караваяев

Да, да, не Емельян, а Петр...

Пугачев

Братья, братья, ведь каждый зверь
Любит шкуру свою и имя...
Тяжко, тяжело моей голове
Опушать себя чуждым ином.
Трудно сердцу светильником мести
Освещать корявые чащи.
Знайте, в мертвое имя влезть —
То же, что в гроб смердящий.

Больно, больно мне быть Петром,
Когда кровь и душа Емельянова.
Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново...
Но... к черту все это, к черту!
Прочь жалость телячьих нег!
Нынче ночью в половине четвертого
Мы устроить должны набег.

Уральский каторжник

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умет,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепями дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
Рассветное роняла мне и рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Зарубин

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!
Что тебе нужно в нашем лагере?
Отчего глаза твои,
Как dna цепных кобеля,
Беспокойно ворочаются в соленой влаге?

Что пришел ты ему сообщить?
Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга?
Прорубились ли в Азию бунтовщики?
Иль, как зайцы, бегут от Оренбурга?

Хлопуша

Где он? Где? Неужель его нет?
Тяжелее, чем камни, я нес мою душу.
Ах, давно, зная, забыли в этой стране
Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу.
Смейся, человек!
В ваш хмурый стан
Посылаются замечательные разведчики.
Был я каторжник и арестант,
Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли,
Расставляет расплата капканы терний.
Заковали в колодки и вырвали ноздри
Сыну крестьянина Тверской губернии.
Десять лет —
Понимаешь ли ты, десять лет? —
То острожничал я, то бродяжил.
Это теплое мясо носил скелет
На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось мне жить?
Что жестокостью сердце устало хмуриться?
Ах, дорогой мой,
Для помещика мужик —
Все равно что овца, что курица.
Ежедневно молясь на зари желтый гроб,
Кандалы я сосал голубыми руками...
Вдруг... три ночи назад... губернатор Рейнсдорп,
Как сорвавшийся лист,
Взлетел ко мне в камеру...
«Слушай, каторжник!
(Так он сказал.)
Лишь тебе одному поверю я.
Там в ковыльных просторах ревет гроза,
От которой дрожит вся империя,
Там какой-то пройдоха, мошенник и вор
Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей,
И дворянские головы сечет топор —
Как березовые купола В лесной обители.
Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож?
(Так он сказал, так он сказал мне.)
Вот за эту услугу ты свободу найдешь
И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.
Проведите ж, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!

Зарубин

Станный гость.

Подуров

Подозрительный гость.

Зарубин

Как мы можем тебе довериться?

Подуров

Их немало, немало, за червонцен горсть
Готовых пронзить его сердце.

Хлопуша

Ха-ха-ха!

Это очень неглупо,

Вы надежный и крепкий щит. [6, 283—285]

ВОЕННАЯ ГЕРОИКА

Головушек их не жалко нам.
Рать несметная генеральская
Полегла, как снопы во полюшке.

В песне «Ой да ты, батюшка, вот и Оренбург-город» молодой казак, стоя часовым в Москве, говорит, что его посылают в Оренбург-город убить Пугачева, но он не сделает этого: «Пускай бьется за нас казак Емельянушка, Пусть бьется за нужду народную.

Многие казаки, крестьяне, рабочие с Урала стремились попасть в крестьянское войско и принять участие в борьбе за свободу; так в песне «Из Уралечка» у казака разболелась «буйная голова»: он хочет идти в поход с Емельянушкой.

Предание говорит, что Пугачев служил в армии, но, возмущенный бесчеловечным отношением офицеров к солдатам, «поддел на штык полковника» и бежал на Дон, где встретил Разина. «Вместе в походы ходили, много они разной людской нечести поизвели». Перед смертью Разин назначил Пугачева своим преемником. Попав в плен к графу Панину, Пугачев говорит:

Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч,
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою-то бы на шею варовинны вожжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил...

В народных представлениях Пугачев — герой, поднявшийся отомстить жестокостью за жестокость:

Ты звезда ли, моя звездочка,
Высоко, звезда, да ты восходила:
Выше леса выше темного,
Выше садика зеленого.
Становилась та звездочка,
Над воротами решетчатыми.
Как во темнице, во тюрьмице
Сидел добрый молодец,
Добрый молодец Емельян Пугачев.
Он по темнице похаживает,
Кандалами побрякивает:
«Кандалы мои кандалики,
Кандалы мои тяжелые!
По ком вы, кандалы, доставались?
Доставались мне кандалики,
Доставались мне тяжелые,
Не по тятеньке, не по маменьке —
За походы удалые, за житье свободное!»

Несмотря на то что Пугачев выдавал себя за императора Петра III, в произведениях фольклора он называется «добрым молодцом», «казак». В песне «Нет больше народного заступника» поется:

Емельян ты, наш родной батюшка!
На кого ты нас покинул?
Красное солнышко закатилось...
Как остались мы сироты горемычны,
Некому за нас заступиться,
Клепку думушку за нас раздумать... [11, 45—53]

Суворов

Из оды

Его сиятельству графу Александру
Васильевичу Суворову-Рымникскому

Герой! твоих побед я громом изумлен,
Чудясь, безмолствовал в забвении приятном;
Но тем же громом я внезапно возбужден,
В восторге зрю себя усердию понятном.
Сорадуясь огню, чем грудь моя горит,
Мне гений лиру дал с улыбкой нежных взоров,
И лира петь велит: «Велик, велик Суворов».

Где он, там каждый строй и каждый полк — стена,
Все — твердый адамант, и все единокорны;
Нам гладок путь — холмов кремнистых крутизна;
Единый миг — и все готовы и послушны.
Пусть Рымник с Кинбурном соплещут славой нам,
Сраженны где чалмы — забавная потеха!
Различно по полям
Катались как для смеха.

Что сих побед вина? герой наш мало спит,
Исполнен к отчеству любви и к богу веры;
Он скор, неутомим, предчувствует, предзрит,
Спокойно зиждет все, сообразует меры,
Любим подвластными, их попечитель нужд,
Труды являет им как некие забавы;
Корысти подлой чужд.
Ревнитель россам славы.

Услужливый зефир, обрадуй, воскрылись,
Неси к Суворову, неси мой голос лирный!
Любезен, ласков, ты там с громом подружись
И звукам бранных труб вещей приветства мирные
Летя к нему, не бойсь: приятен им герой;
Пременят для него угрюмость разговоров
И повторяют с тобой:
«Велик, велик Суворов». [10, 28]

Е. И. Костров (1755—1796), 1789

На взятие Измаила

Величественна тень восходит над Дунаем!
Дунай смугился, восшумел;
Как будто молнией и громом поражаем,
В волнах он бурных закипел.
От облаков взглянул Суворов!
Летит перун от быстрых взоров;
Слова его как гром гремят,
Брега дунайские дрожат,
И стены потряслись Синила,
Над ними исполинска сила,
Суворова над ними длань;
О, сколь ужасная воспламенится брань!
Суворов рек Багратиону:
«Ступай! Враждебную в прах опрокинь препону;
Ступай, питомец мой!..» Героев вождь ступил,
И к Александровым стопам пал Измаил!
Он пал с смирением: в трепещущих стенах
Ни гром, ни страшный меч не поселили страх.
Он славою побед предтевших низложился;

Мечу, обвитому оливой, покорился!
Так торжествует росс и миром и войной!
Дунай! престань шуметь кипящею волной!
Пускай внимают все, что к нам гласит судьбина:
«Суворов не исчез! жива Екатерина!» [1, 37]

С. Н. Глинка, 1809

Песнь лирическая россу на взятие Измаила

Везувий пламя изрыгает,
Столп огненный во тьме стоит,
Багрово зарево сияет,
Дым черный клубом вверх летит;
Краснеет понт, ревет гром ярый,
Ударам вслед звучат удары;
Дрожит земля, дождь искр течет;
Клокочут реки рдяной лавы:
О росс! — таков твой образ славы,
Что зрел под Измаилом свет!

О росс! — О род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный!
Когда и где ты досягнуть
Не мог тебя достойной славы?
Твои труды — тебе забавы;
Твои венцы — вкруг блеск громов:
В полях ли брань — ты тмишь свод звездный!
В морях ли бой — ты пенишь бездны,
Везде ты страх твоих врагов!

О! ежели издревле миру
Побед славнейших звук гремит
И если приступ славен к Тиру, —
К Измаилу больше знаменит.
Там был вселенной покоритель,
Машин и башен сам строитель,
Горой он море запрудил,
А здесь вождя одно веленье
Свершило храбрых россов рвенье;
Великий дух был вместо крыл.

Услышь, услышь, о ты, вселенна!
Победу смертных выше сил;
Внимай, Европа удивленна,
Каков сей россов подвиг был.
Языки, знайте, вразумляйтесь,
В надменных мыслях содрогайтесь;
Уверьтесь сим, что с нами бог;

Уверьтесь, что его рукою
Один поперет вас росс войною,
Коль встать из бездны зол возмог!

Я вижу страшную годину;
Его три века держит сон.
Простертую под ним долину
Покрыл везде колючий терн;
Лицо туман подернул бледный,
Ослабли мышцы удрученны,
Скатилась в мрак глава его;
Разбойники вокруг суровы
Вложили тяжкие оковы,
Змия на сердце у него.

Он спит! — и насекомы, гады
Румяный потемняют зрак,
Войны опустошают грады,
Раздоры пожирают злак;
Чуть зрится блеск его короны,
Страдает вера и законы,
И ты, к отечеству любовь!
Как зверь, его Батый рвет гладный,
Как змей, сосет лжецарь коварный:
Повсюду пролилася кровь!

Лежал он во своей печали,
Как темная в пустыне ночь,
Враги его рукоплескали,
Друзья не мыслили помочь,
Соседи грабежом алкали;
Князя, бояре в неге спали
И ползали в пыли, как червь, —
Но бог, но дух его великий
Сотряс с него беды толики,
Расторгнул лев железу вервь!

Восстал! — как утром холм высокий
Встает, подьемася челом
Из мглы широкой и глубокой,
Разлитой вкруг его, — и гром,
Поверх главы в ничто вмения.
Ногами волны попирая,
Пошел, — и кто возмог против? —
От шлема молнии скользили,
И океаны уступили,
Стопам его пути открыв. [4, 20—22]

Г. Р. Державин
(1743—1816)

ВОЕННАЯ ГЕРОИКА

Любовь Суворова к солдатам подчеркивается его ироническим отношением к вельможной знати. В одной из песен полководец наградил за смекалку простого казака и высмеял изнеженного барина-офицера.

Народ высоко ценил кристальную честность Суворова:

Здравствуй, здравствуй, граф Суворов,
Что ты правдою живешь,
Справедливо нас, солдат, ведешь!..
В другой песне поется:
Тебя правда украшает,
Ты и хочешь с нею помереть,
Тебя золотом-серебром прельщают,
Ты не хочешь на него смотреть.

Солдатам нравилась простота Суворова; в обращении полководец любил острое словцо и шутку, распевал солдатские песни.

Суворов характеризуется типичными для произведений народной поэзии обстоятельствами и соответствующей эмоциональной оценкой действий. Он противопоставлен Потемкину:

Вот Потемкин-генерал
В своем полку не бывал.
А Суворов-генерал
Свою силу утверждал,
Метки пушки заряжал,
Короля во полон брал.

Глубоко поэтическая, овеянная лирической грустью картина нарисована в песне «Суворов ранен» («А да не вечерняя эта звездочка»), В ней — чистые поля, солдатские белые палатки, «больно раненный» Суворов, и над всем этим высокая звезда.

Песня лаконична, каждая ее строка несет предельную эмоциональную и смысловую нагрузку.

Песни о Суворове оказали влияние на дальнейшее развитие военной исторической песни. Многие их поэтические образы были использованы для характеристики Кутузова.

Демократизация образа Суворова продолжалась и в более позднее время. О Суворове было создано несколько легенд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

На войну с турками

Война, война висит ужасна,
Россия, над твоею главой;
Секване мочь твоя опасна:

Она рог стерти хочет твой.
Ты в том винна пред ней едином,
Что ты ей зришься исполином;
Ты кедр, а прочи царства — трость,
Так ты должна болеть, сражаться,
И в силах ты должна теряться,
Чтоб ей твоею тратой рость.
Так часто гады ядовиты,
Залегши в лесе под кустом,
Кудрявой зеленью закрыты
И палым со древес листом,
Когда кто мимо пронесется,
И куст, им тронут, затрясется,
Грозя полудню их открыть,
Да мнимую напасть умалят,
Прохожего от страху жалят,
Чтоб им раздавленным не быть. [11, 56—57]

В. Я. Петров
(1736—1799), 1768

СУВОРОВ

В секретном ордере так и было сказано:

«...для сего, Ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду».

У Суворова даже захватило дух.

Наконец-то! Вот оно! Разбить с двадцатью пятью тысячами сто тысяч турок у Рымника, конечно, не шутка. Но ведь и Румянцев бил их почти так же у Кагула! А вот взять Измаил — с этим ничто не сравнится! За такое дело — конечно, фельдмаршалство. А тогда у Суворова будет не какая-нибудь жалкая дивизия, а целая армия. И тогда-то славу русских знамен должны будут признать все!

К ордере было приложено собственноручное письмо светлейшего:

«Измаил остается гнездом неприятелю, и хотя сообщение прервано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних, моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По моему ордере к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди все и распорядись и, помоляся богу, предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли.

Вернейший друг и покорнейший слуга
князь *Потемкин-Таврический*».

«Он мне рекомендует Кутузова! Я Михаила Илларионовича тридцать лет знаю! А пойдут у меня дружно!» — думал Суворов.

— Проща, где чернила? — нетерпеливо спросил он.

— Да вот они, аль не видишь? — неласково сказал Прохор, поддвигая пузырек.

Александр Васильевич присел и написал Потемкину ответ:

«Получа повеление Вашей светлости, отправился я к стороне Измаила».

IV

Суворов поместился, в одной мазанке с вестовым и казачьим сотником, который, боясь стеснить генерал-аншефа, все порывался уйти ночевать к своим казакам.

— Да полно, ложись здесь! Хватит там и без тебя народу! — сказал Суворов.

Сотник послушался и лег вместе с генеральским вестовым на лавке. А Суворову принесли соломы, и он расположился на полу.

Целый день ехали к Измаилу. Когда уже стало настолько темно, что задние не видели едущих впереди, остановились в молдаванской деревушке на ночлег.

Александр Васильевич проспал часа три и проснулся, — больше спать не мог.

Суворов лежал, глядя в темноту. Он ждал, когда хоть немного четче обозначатся окна — их было, как во всякой молдаванской хате, три, в честь святой троицы.

Сотник и вестовой, уставшие за день, спали крепким молодым сном. Им не надо было думать о турках, об Измаиле.

Суворов же не мог спать. Он думал о том громадном, ответственном деле, которое ему поручали, думал, о славе России.

Вся Европа знала, что Измаил — неприступная крепость. Враги России надеялись на нее. Штурмовать Измаил решились бы немногие генералы.

Суворов решил.

Во взятии Измаила заключалось все: честь русской армии, благополучие России и, безопасность ее границ на берегах Черного моря. Взятие Измаила давало такую славу, которую уже не посмел бы оспаривать у победителя никто из завистников. Ни один штабной сплетник не посмел бы тогда сказать, что генералу Суворову просто-напросто везет, как говорили после каждой очередной победы Суворова.

Обо всем этом и думал лежа Александр Васильевич. Он невольно вспоминал всю свою тридцатилетнюю боевую жизнь. До сих пор он не проиграл ни одного сражения. Были блистательные победы, как Козлуджи, Фокшаны, Рымник, но такие же победы одерживали

и другие полководцы, например Румянцев, разбивший турок при Кагуле. Со взятием же Измаила не могло сравниться ничто.

Довольно!

Суворов решил: победить или погибнуть.

И разве можно спокойно отдыхать здесь, на полдороге, когда под Измаилом предстоит так много работы? Надо не упустить последних дней, удобных для штурма: мороз по утрам жал все сильнее и сильнее, начинались обычные зимние туманы. В безветрие они могли держаться до самого полудня. В такие дни нечего было и думать о штурме.

Суворов знал, что войска под Измаилом мерзнут, болеют, терпят голод.

Нет, медлить нечего! Дорога каждая минута! Надо ехать, надо оставить весь конвой, всех казаков здесь: пока казачки встанут, пока соберутся, Александр Васильевич с Ванюшкой будет уже далеко.

Хорошо, что с ним Ванюшка, а не этот лентяй и брюзга Прошка. И Суворов стал торопливо одеваться.

V

Прошка второй день отчитывал своего всегдашнего врага, востового казака Ванюшку.

И как было его не ругать?

Когда Александр Васильевич получил в Бырладе приказ князя Потемкина отправиться к неприступному Измаилу, он не посмотрел на свои шестьдесят лет, тотчас же поскакал верхом, хотя дорога была грязная, тяжелая и от Бырлада до Измаила добрых сто верст.

Прошка не поехал с барином. Он знал: за Александром Васильевичем не угонишься. Как ни поспевай, а барину все будет казаться, что Прошка его задерживает. Недаром Александр Васильевич, взяв с собою из Бырлада конвой в сорок человек, уже на половине дороги оставил его и поскакал с востовым вперед. Ванюшка тоже готов был целые дни не слезать с коня.

И вот это прежде всего злило Прошку: ему было досадно, что с барином поехал не он, а этот прохвост Ванюшка.

Уезжая из Бырлада, Александр Васильевич не хотел ждать ни минуты. Прошка еле успел завязать в платок смену белья, полотенце, мыло и передать казаку синий плащ Александра Васильевича, служивший барину плащом и одеялом — чем угодно. Александр Васильевич по-всегдашнему нисколько не думал о том, как будет жить под Измаилом. Обо всем этом приходилось заботиться Прошке.

Прошка пустился в дорогу на следующий день вместе с войсками, — Суворов отправлял к Измаилу Фанагорийский гренадерский полк, сто пятьдесят охотников из своего любимого Апшеронского полка, двести казаков и тысячу арнаутов. Везли сорок лестниц и больше двух тысяч фашинов.

На одном из возов кое-как пристроился и Прошка: хоть Прошке было не шестьдесят, а всего-навсего тридцать пять лет, но он предпочитал ехать сто верст в телеге, а не верхом.

Прошка захватил все, что, по его мнению, могло пригодиться барину под Измаилом.

Спать без подушки несладко, на одном артельном солдатском квасе да на черных сухарях долго не протянешь, — надо везти подушку, надо везти горшки, миски. И на всякий случай надо взять с собою генеральский мундир со всеми орденами. Прошка был уверен, что Александр Васильевич возьмет Измаил и тогда придется ехать к светлейшему с докладом.

Обо всем этом Прошка помнил. А что сделал для барина казак Ванюшка?

Возле Измаила была только одна полуразрушенная, давно оставленная хозяевами небольшая деревушка — Броска. Александр Васильевич как увидел, что солдаты живут в землянках, пожелал остаться в палатке, на ветру, в этих придунайских туманах. Суворову, конечно, было не до того, он о себе никогда не заботится, но что сделал Ванюшка? Ванюшка прекрасно знает, что Суворов хоть и не боится холода и даже зимой ежедневно обливается холодной водой, но очень любит тепло. И Ванюшка забыл, что графу как-никак уже шестьдесят лет.

Александр Васильевич шагнул к столу, присел и, взяв бумагу, написал:

«Сераскеру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть».

Помахал листком, чтобы высохли чернила. Сложил длинное потемкинское письмо и свою коротенькую записку и подал адъютанту, сидевшему на лавке у окошка:

— С трубачом к Бендерским воротам. К остальным — копии. У Михаила Илларионовича есть мулла; пусть переведет по-турецки.

— Слушаюсь, — ответил адъютант, принимая письма и направляясь к двери.

— Погоди, — остановил его Суворов. — Трубач и казак. Письма на дротик. Затрубить. По отзыву — дротик с письмами воткнуть и отъехать назад. Дождаться ответа. Понял? Точно так!

— Погоди. При них обязательно офицер, знающий турецкий язык. И чтоб поживее.

VII

Суворов соскочил с коня, бросил поводья вестовому и вошел в мазанку.

Денщик Прохор спал, растянувшись на лавке.

— Вставай! — разбудил его Суворов. — Сейчас придут генералы. Прощка нехотя поднялся и, позевывая, вышел. Суворов заходил из угла в угол.

Сераскер только что прислал ответ на письма, которые вчера отправил ему Суворов. Турки предлагали заключить на десять дней перемирие, чтобы успеть отправить гонца к визирю — узнать, можно ли сдать Измаил русским. Сераскер предупредил, что если русские не согласятся на перемирие, то турки будут защищаться до последнего.

Уловка была ясна: турки просто-напросто хотели оттянуть штурм на несколько дней. Уже начинались зимние туманы, во время которых нечего было и думать идти на штурм. Перемирие было на руку только туркам. Офицер, передававший письма, говорил с мухафизом, старым трехбунчужным Мегмет-пашой. Вручая ему ответ сераскера, Мегмет гордо сказал:

— Скорее Дунай остановится в своем течении, а небо упадет на землю, чем Измаил сдастся!

Суворов разослал своих ординарцев рассказать во всех полках об этом заносчивом ответе турок и решил поскорее штурмовать Измаил, — все приготовления были уже сделаны.

Сейчас Суворов ждал генералов на военный совет. Он созывал их не потому, что колебался сам или не знал, что предпринять. У Суворова не было никаких сомнений: Измаил должен быть взят и будет взят во что бы то ни стало, — от этого зависела безопасность южных границ России. Суворову хотелось эту свою уверенность в победе вселить в генералов: ведь еще так недавно, до его приезда, они вынесли решение отступить от Измаила.

Впрочем, в войсках с приездом к Измаилу генерала Суворова настроение сразу же изменилось. Суворов каждый день объезжал полки, и подолгу говорил с солдатами и младшими офицерами. Он не скрывал того что Измаил превосходно защищен, что взять его будет чрезвычайно трудно.

— Стены — высокие, рвы — глубокие, но мы, русские, должны Измаил взять! — говорил Суворов.

— С тобою, батюшка, возьмем! — уверенно отвечали солдаты и офицеры.

Суворов несколько раз прошел из угла в угол, потом остановился, глядя на единственную в мазанке короткую лавку. Прикинул в уме:

«Потемкин, Самойлов, Кутузов, Мекноб, де Рибаспять, Львов, Вестфален, Арсеньев... Человек двенадцать будет. Тут одним генерал-поручикам только поместиться. А где же я генерал-майоров посажу?»

Суворов вышел из мазанки.

— Прощка! — сказал он денщику, который сидел на завалинке. — Надо найти доску — будет много народу, а сесть не на чем.

VIII

День Измаила роковой.

Жуковский

Пал Измаил. Он пал, как дуб могучий,
Взлелеянный веками великан.

Байрон

Ночь была непроницаемо темная: низкие тучи заволокли все небо, а от Дуная, который шумел где-то справа, подымался густой туман. И в этой темноте исчезли грозные, четырехсаженные стены Измаила, его широкие, наполненные подою рвы и крепкие каменные бастионы.

В ордукалеси не было видно ни огонька. В густом мраке декабрьской ночи лишь ярко горели бивуачные костры русских войск, с трех сторон охвативших Измаил. В русском лагере было тихо, но спали в нем немногие: Суворов назначил на сегодня, на пять часов утра, штурм Измаила, и ждать оставалось уже недолго.

Ночь была холодная, сырая. Люди жались поближе к огоньку. Костры горели жарче обычного: в них валили все топливо, что было запасено на неделю, — завтрашнюю ночь все надеялись ночевать уже не под открытым небом, а в домах Измаила.

Сегодня у бивуачных костров только сидели и разговаривали. Никто не латал кафтана, не выкраивал из старой рубашки онуч, не чистил ружья. Никто, как обычно у огонька, не смотрел, скоро ли поспеет каша или закипит в котелке вода.

У каждого давным-давно было вычищено ружье, отточен штык. Ранец со всем солдатским Добром сдан в обоз. А есть как-то никому не хотелось да перед самым штурмом бывалые люди и не советовали.

Подпоручик Лосев сидел у костра.

Когда Суворов, выезжая из Бырлада к Измаилу, сказал, что возьмет с собою сто пятьдесят мушкатеров-апшеронцев, Лосев упросил полковника отправить и его. Восемь дней они уже прожили здесь, под Измаилом. Суворов сам учил полки, как забрасывать фашинником рвы, как взбираться по четырехсаженной лестнице на вал.

И вот наконец наступил долгожданный день штурма.

У подпоручика Лосева до сих пор еще шумело в ушах от непрерывной пушечной пальбы, которая продолжалась уже целые сутки. Шестьсот русских орудий — с батарей, с судов дунайской флотилии и с острова Сулин, лежащего против Измаила, — били по турецкой крепости не умолкая. И только час тому назад канонада прекратилась. Можно было разговаривать, не надрываясь.

Лосев сидел у костра вместе со своими мушкатерами. Из стариков 2-го капральства, в котором служил Лосев, пришли под Измаил Огнев, Воронов и Зыбин.

«Примечай, примечай!» — иронически думал Суворов, каждый раз доходя до него и круто поворачиваясь налево кругом.

В первые минуты, когда тишину разорвали пушечные залпы, когда со всех сторон в темноту понеслось громовое «ура» и ему тотчас же стало вторить заунывное «алла» турок, Суворов беспокоился об одном: как бы в темноте колонновожатые не напутали чего. Темнота, ночь, с одной стороны, были на руку: они скрывали малочисленность русских. Суворов всегда предпочитал ночной бой. Как ни были готовы турки к обороне, но все-таки ночной удар получался внезапным, неожиданным; Кроме того, неприятель не мог видеть, какие силы атакуют, и при этом стрелял наугад. Но, с другой стороны, темнота имела и некоторые неудобства: в ней трудно было ориентироваться. Вот наконец послышался конский топот и чей-то голос окликнул:

— Где генерал-аншеф? Где Александр Васильевич?

— Давай сюда, братец! — крикнул Суворов.

К костру подскакал ординарец от второй колонны. Уже по его бодрому голосу Александр Васильевич почувствовал, что известия хорошие.

— Вторая колонна закрепилась на валу, — торопливо докладывал ординарец. — Полковник Неклюдов первым взшел на бастион. Овладел пушками!

— Молодцы! Тесните басурман! Скачи назад! — махнул рукой Суворов и снова заходил по холму.

«Неклюдов, — думал он. — Леонтий Яковлевич. Бравый командир. Орел! Начало есть. Так, так!..»

— А ну, Ванюшка, подбрось-ка хворосту, чтоб нас лучше види-дели! — сказал генерал-аншеф вестовому.

Не прошло и получаса, как на веселый огонек генеральского костра прискакал следующий верховой.

— Откуда? Какая колонна? — издалека спросил Суворов.

— Первая, ваше высокопревосходительство, — генерала Львова! — живо ответил верховой.

«Это против каменного редута Табия. Его трудно взять. Но там мои богатыри — апшеронцы, фанагорийцы», — мелькнуло в голове.

Спросил:

— Как там у вас?

— Продвигаются, пошли правее редута. Генерал Львов ранен. Лобанов-Ростовский ранен. Суворов поморщился;

— Кто повел?

— Полковник Золотухин.

— Ах да, ведь там Вася Золотухин, командир фанагорийцев! Хорошо, помилуй бог!

Ординарец уехал.

Понемногу становилось светлее. Туман рассеялся. Показались очертания высоких измайльских стен.

На западной стороне все шло великолепно, без задержки.

Северный, самый сильный участок крепостных стен упорно защищался. Вал на северной стороне был выше других. Чтобы достичь его вершины, приходилось связывать две пятисаженные лестницы.

Суворов, не отрываясь, смотрел в зрительную трубу на северный вал, который находился от него в полуверсте. Он видел, как тяжело приходилось лифляндским егерям, атакующим этот бастион.

Турки сверху бросали на них громадные камни, катили бревна, сталкивали русских вниз с головокружительной высоты. Но мужественные егеря упорно пробивались наверх.

«Сейчас вторая колонна ударит во фланг туркам, тогда им не устоять!» Он перевел зрительную трубу налево, на восток, откуда шли четвертая, пятая и шестая колонны.

Четвертая и пятая составлены из казаков Орлова и Платова. У них были только шашки да укороченные пики, которые легко перерубались турками.

В шестую колонну, к бугским егерям, Суворов поставил командиром своего любимого ученика генерал-майора Михаила Кутузова.

У Кутузова с турками старые счеты.

Но пока что и от Михаила Илларионовича не поступало известий. Больше получаса тому назад Суворов послал к Кутузову ординарца-казака.

«Что-то задержался урядник!» — нетерпеливо поглядывал генерал-аншеф.

Наконец урядник примчался. [16, 245—250]

Надписи к монументу князя италийского, графа Суворова-Рымникского

Для обращения всея Европы взоров
На образ сей, в меди блистающий у нас,
Не нужен стихотворства глас,
Довольно молвить: се Суворов! [17, 27]

А. С. Шишков (1754—1841), 1804

Стихи для начертания на гробнице Суворова

Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит на смертных не похожий:
На крылосе в глуши с дьячком он басом пел
И славою, как Петр иль Александр, гремел.
Ушатом на себя холодную лил воду
И пламень храбрости вливал в сердца народу.
Не в латах, на конях, как греческий герой,
Не со щитом золотым, украшенным всех паче,
С нагайкою в руках и на козацкой кляче
В едино лето взял полдюжины он Трой.

Не в броню облечен, не на холму высоком —
Он брань кровавую спокойным мерил оком
В рубахе, в шишаке, пред войсками верхом,
Как молния сверкал и поражал как гром.
С полками там ходил, где чуть летают птицы.
Жил в хижинах простых и покорял столицы.
Вставал по петухам, сражался на штыках;
Чужой народ его носил на головах.
Одною пищею с солдатами питался.
Цари к нему в родство, не он к ним причитался,
Был двух империй вождь; Европу удивлял;
Сажал царей на трон и на соломе спал. [17, 28]

А. С. Шишков (1754—1841), 1805

ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ ЧЕРТОВ МОСТ. 1799 г.

Самым замечательным из «екатерининских орлов» — как обыкновенно называют сподвижников Екатерины II — был, бесспорно, Александр Васильевич Суворов — один из самых прославленных русских полководцев второй половины XVIII века. Родившийся в 1730 году в семье небогатого дворянина-офицера, Суворов с раннего детства проявлял большой интерес к военному делу. С шестнадцати лет Суворов по собственному желанию поступил на военную службу рядовым солдатом. Девять лет он служил рядовым и только в 24 года получил первый офицерский чин. В войнах времен императрицы Елизаветы он выдвинулся как талантливый командир, имя подполковника Суворова знали в армии лучше, чем имена многих крупных генералов. С природы хилый и слабый, он сумел так закалить свое тело, что не боялся ни усталости, ни простуды, зимой делал походы в одном суконном плаще, ел из одного котла с солдатами.

Став генералом и фельдмаршалом, он сохранил любовь и уважение к простому воину. А в сражениях суворовские полки проявляли мужество, стойкость и неслыханную выносливость.

В царствование Екатерины II Суворов принимал участие во всех военных сражениях против поляков, турок, бунтующих башкир и везде выигрывал.

Но самые блистательные победы одержаны были им над французами. В 1799 году во время войны с Францией по требованию Англии и Австрии император Павел I назначил Суворова командующим русскими и австрийскими войсками в Италии. За шесть недель Суворов блестяще выиграл ряд битв с войсками опытных наполеоновских генералов. Северная Италия была полностью очищена от французских войск.

Суворов получил приказ идти с русскими войсками в Швейцарию, где находилась большая французская армия генерала А. Массе-

ны. В сентябре 1799 года, при ненастной погоде, двинулись русские войска из Италии в Швейцарию через Альпийские горы, преодолевая на пути всевозможные препятствия. Сам Суворов все время был в передовом отряде, ехал верхом на лошади в старом «родительском плаще». При нем был великий князь Константин Павлович, старший сын Павла I. Переход через Альпы был чрезвычайно сложен: войскам приходилось карабкаться по отвесным скалам, идти по узким тропинкам, перебираться через водопады, глубокие ущелья, терпеть холод и голод. Особенно трудно было перейти через так называемый Чертов мост, в виде арки перекинутый над неистовым пенистым потоком реки Рейн. Приходилось переправляться по бревнам. Некоторые солдаты срывались и падали в бездну. Семидесятилетний полководец шел вместе с солдатами. Личным примером и шуткой подбадривал чудо-богатырей. Переход через перевал Сен-Готард и Чертов мост вызвал неописуемое изумление у швейцарцев и в Европе. Бессмертная слава покрыла русских чудобогатырей и их предводителя.

... В секретном ордере так а было сказано:

«...для сего, Ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду».

У Суворова даже захватило дух.

Наконец-то! Вот оно! Разбить с двадцатью пятью тысячами сто тысяч турок у Рымника, конечно, не шутка. Но ведь и Румянцев бил их почти так же у Кагула! А вот взять Измаил — с этим ничто не сравнится! За такое дело — конечно, фельдмаршалство. А тогда у Суворова будет не какая-нибудь жалкая дивизия, а целая армия. И тогда-то славу русских знамен должны будут признать все!

К ордере было приложено собственноручное письмо светлейшего:

«Измаил остается гнездом неприятелю, и хотя сообщение прервано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних, моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По моему ордере к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будьешь доволен и Кутузовым; огляди все и распорядись и, помоляся богу, предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли.

Вернейший друг и покорнейший слуга
князь *Потемкин-Таврический*».

«Он мне рекомендует Кутузова! Я Михаила Илларионовича, тридцать лет знаю! А., пойдут у меня дружно!» — думал Суворов.

— Прощка, где очернила? — нетерпеливо спросил он.

— Да вот они, аль не видишь? — неласково сказал Прохор, поддвигая пузырек.

Александр Васильевич присел и написал Потемкину ответ:

«Получа повеление Вашей светлости, отправился я к троне Измаила».

IV

Суворов поместился, в одной мазанке с вестовым и казачьим сотником, который, боясь стеснить генерал-аншефа, все порывался уйти ночевать к своим казакам.

— Да полно, ложись здесь! Хватит там и без тебя народу! — сказал Суворов.

Сотник послушался и лег вместе с генеральским вестовым на лавке. А Суворову принесли соломы, и он расположился на полу.

Целый день ехали к Измаилу. Когда уже стало настолько темно, что задние не видели едущих впереди, остановились в молдаванской деревушке на ночлег.

Александр Васильевич проспал часа три и проснулся, — больше спать не мог.

Суворов лежал, глядя в темноту. Он ждал, когда хоть немного четче обозначатся окна — их было, как во всякой молдаванской хате, три, в честь святой троицы. Сотник и вестовой, уставшие за день, спали крепким молодым сном. Им не надо было думать о турках, об Измаиле.

Суворов же не мог спать. Он думал о том громадном, ответственном деле, которое ему поручали, думал о славе России.

Вся Европа знала, что Измаил — неприступная крепость. Враги России надеялись на нее. Штурмовать Измаил решились бы немногие генералы.

Суворов решил.

Во взятии Измаила заключалось все: честь русской армии, благополучие России и безопасность ее границ на берегах Черного моря. Взятие Измаила давало такую; славу, которую уже не посмел бы оспаривать у победителя никто из завистников. Ни один штабной сплетник не посмел бы тогда сказать, что генералу Суворову просто-напросто везет, как говорили после каждой очередной победы Суворова.

Обо всем этом и думал, лежа Александр Васильевич. Он невольно вспоминал всю свою тридцатилетнюю боевую жизнь. До сих пор он не проиграл ни одного сражения. Были блистательные победы, как Козлуджи, Фокшаны, Рымник, но такие же победы одерживали и другие полководцы, например Рюанцев, разбивший турок при Кагуле. Со взятием же Измаила не могло сравниться ничто.

Довольно!

Суворов решил: победить или погибнуть.

И разве можно спокойно отдыхать здесь, на полдороге, когда под Измаилом предстоит так много работы? Надо не упустить последних дней, удобных для штурма: мороз по утрам жал все сильнее и сильнее, начинались обычные зимние туманы. В безветрие они могли держаться до самого полудня. В такие дни нечего было и думать о штурме.

Суворов знал, что войска под Измаилом мерзнут, болеют, терпят голод.

Нет, медлить нечего! Дорога каждая минута! Надо ехать, надо оставить весь конвой, всех казаков здесь: пока казачки встанут, пока соберутся, Александр Васильевич с Ванюшкой будет уже далеко.

Хорошо, что с ним Ванюшка, а не этот лентяй и брюзга Прошка. И Суворов стал торопливо одеваться.

V

Прошка второй день отчитывал своего всегдашнего врага, востового казака Ванюшку.

И как было его не ругать?

Когда Александр Васильевич получил в Бырладе приказ князя Потемкина отправиться к неприступному Измаилу, он не посмотрел на свои шестьдесят лет, тотчас же поскакал верхом, хотя дорога была грязная, тяжелая и от Бырлада до Измаила добрых сто верст.

Прошка не поехал с бариним. Он знал: за Александром Васильевичем не угонишься. Как ни поспевай, а барину все будет казаться, что Прошка его задерживает. Недаром Александр Васильевич, взяв с собою из Бырлада конвой в сорок человек, уже на половине дороги оставил его и поскакал с востовым вперед. Ванюшка тоже готов был целые дни не слезать с коня.

И вот эта прежде всего злило Прошку: ему было досадно, что с бариним поехал не он, а этот прохвост Ванюшка.

Уезжая из Бырлада, Александр Васильевич не хотел ждать ни минуты. Прошка еле успел завязать в платок смену белья, полотенце, мыло и передать казаку синий плащ Александра Васильевича, служивший барину плащом и одеялом — чем угодно. Александр Васильевич по-всегдашнему нисколько не думал о том, как будет жить под Измаилом. Обо всем этом приходилось заботиться Прошке.

Прошка пустился в дорогу на следующий день вместе с войсками, — Суворов отправлял к Измаилу Фанагорийский гренадерский полк, сто пятьдесят охотников из своего любимого Апшеронского полка, двести казаков и тысячу арнаутов. Везли сорок лестниц и больше двух тысяч фашинов.

На одном из возов кое-как пристроился и Прошка: хоть Прошке было не шестьдесят, а всего-навсего тридцать пять лет, но он предпочитал ехать сто верст в телеге, а не верхом.

Прошка захватил все, что, по его мнению, могло пригодиться барину под Измаилом.

Спать без подушки несладко, на одном артельном солдатском квасе да на черных сухарях долго не протянешь, — надо взять подушку, надо везти горшки, миски, И на всякий случай надо взять с собою генеральский мундир со всеми орденами. Прошка был уверен, что Александр Васильевич возьмет Измаил и тогда придется ехать к светлейшему с докладом.

Обо всем этом Прошка помнил. А что сделал для барина казак Ванюшка?

Возле Измаила была только одна полуразрушенная, давно оставленная хозяевами небольшая деревушка — Броска. Александр Васильевич как увидел, что солдаты живут в землянках, пожелал остаться в палатке, на ветру, в этих придунайских туманах. Суворову, конечно, было не до того, он о себе никогда не заботится, но что сделал Ванюшка? Ванюшка прекрасно знает, что Суворов хоть и не боится холода и даже зимой ежедневно обливается холодной водой, но очень любит тепло. И Ванюшка забыл, что графу как-никак уже шестьдесят лет.

Александр Васильевич шагнул к столу, присел и, взяв бумагу, написал:

«Сераскеру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть».

Помахал, листком, чтобы высохли чернила. Сложил длинное потемкинское письмо и свою коротенькую записку и подал адъютанту, сидевшему на лавке у окошка:

— С трубачом к Бендерским воротам. К остальным — копий. У Михаила Илларионовича есть мулла; пусть переведет по-турецки.

— Слушаюсь, — ответил адъютант, принимая письма и направляясь к двери.

— погоди, — остановил его Суворов. — Трубач и казак. Письма на дротик. Затрубить. По отзыву — дротик с письмами воткнуть и отъехать назад. Дождаться ответа. Понял?

— Точно так!

— погоди. При них обязательно офицер, знающий турецкий язык. И чтоб поживее.

VII

Суворов соскочил с коня, бросил поводья вестовому и вошел в мазанку.

Денщик Прохор спал, растянувшись на лавке.

— Вставай! — разбудил его Суворов — Сейчас придут генералы.

Прошка нехотя поднялся и, позевывая, вышел. Суворов заходил из угла в угол.

Сераскер только что прислал ответ на письма, которые вчера отправил ему Суворов. Турки предлагали заключить на десять дней перемирие, чтобы успеть отправить гонца к визирю — узнать, можно ли сдать Измаил русским. Сераскер предупредил, что если русские не согласятся на перемирие, то турки будут защищаться до последнего.

Уловка была ясна: турки просто-напросто хотели оттянуть штурм на несколько дней. Уже начинались зимние туманы, во время которых нечего было и думать идти на штурм. Перемирие было на руку только туркам.

Офицер, передававший письма, говорил с мухафизом, старым трехбунчужным Мегмет-пашой. Вручая ему ответ сераскера, Мегмет гордо сказал:

— Скорее Дунай остановится в своем течении, а небо упадет на землю, чем Измаил сдастся!

Суворов разослал своих ординарцев рассказать во всех полках об этом заносчивом ответе турок и решил поскорее штурмовать Измаил, — все приготовления были уже сделаны.

Сейчас Суворов ждал генералов на военный совет. Он созывал их не потому, что колебался сам или не знал, что предпринять. У Суворова не было никаких сомнений: Измаил должен быть взят и будет взят во что бы то ни стало, — от этого зависела безопасность южных границ России. Суворову хотелось эту свою уверенность в победе вселить в генералов: ведь еще так недавно, до его приезда, они вынесли решение отступить от Измаила.

Впрочем, в войсках с приездом к Измаилу генерала Суворова настроение сразу же изменилось. Суворов каждый день объезжал полки и подолгу говорил с солдатами и младшими офицерами. Он не скрывал того, что Измаил превосходно защищен, что взять его будет чрезвычайно трудно.

— Стены — высокие, рвы — глубокие, но мы, русские, должны Измаил взять! — говорил Суворов.

— С тобою, батюшка, возьмем! — уверенно отвечали солдаты и офицеры.

Суворов несколько раз прошел из угла в угол, потом остановился, глядя на единственную в мазанке короткую лавку. Прикинул в уме:

«Потемкин, Самойлов, Кутузов, Мекноб, де Рибас — пять, Львов, Вестфален, Арсеньев... Человек двенадцать будет. Тут одним генерал-поручикам только поместиться. А где же я генерал-майоров посажу?»

Суворов вышел из мазанки.

— Прощка! — сказал он денщику, который сидел на заваленке. — Надо найти; доску — будет много народу, а сесть не на чем.

VIII

День Измаила роковой.

Жуковский

Пал Измаил. Он пал, как дуб могучий,
Взлелеянный веками великан.

Байрон

Ночь была непроницаемо, темная: низкие тучи заволокли все небо, а от Дуная, который шумел где-то справа, подымался густой туман. И в этой темноте исчезли грозные, четырехсаженные стены Измаила, его широкие, наполненные водою, рвы и крепкие; каменные: бастионы.

В ордукалеси не было видно ни огонька. В густом мраке, декабрьской ночи лишь ярко горели бивуачные костры русских войск с трех сторон охвативших Измаил. В русском лагере было тихо, но спали в нем немногие: Суворов назначил на сегодня, на пять часов утра, штурм Измаила, и ждать оставалось уже недолго.

Ночь была холодная, сырая. Люди жались поближе к огоньку. Костры горели жарче обычного: в них валили асе топливо, что было запасено на неделю, — завтрашнюю ночь все надеялись ночевать уже не под открытым небом, а в домах Измаила.

Сегодня у бивуачных костров только сидели и разговаривали. Никто не латал кафтана, не выкраивал из старой рубашки онуч, не чистил ружья. Никто, как обычно у огонька, не смотрел, скоро ли поспеет каша или закипит в котелке вода.

У каждого давным-давно было вычищено ружье, отточен штык. Ранец со всем солдатским добром сдан в обоз. А есть как-то никому не хотелось, да перед самым штурмом бывалые люди и не советовали.

Подпоручик Лосев сидел у костра.

Когда Суворов, выезжая из Бырлада к Измаилу, сказал, что возьмет с собою сто пятьдесят мушкатеров-апшеронцев, Лосев упросил полковника отправить и его. Восемь дней они уже прожили здесь, под Измаилом. Суворов сам учил полки, как забрасывать фашинником рвы, как взбираться по четырехсаженной лестнице на вал.

И вот наконец наступил долгожданный день штурма. У подпоручика Лосева до сих пор еще шумело в ушах от непрерывной пушечной пальбы, которая продолжалась уже целые сутки. Шестьсот русских орудий — с батарей, с судов дунайской флотилии и с острова Сулин, лежащего против Измаила, — били по турецкой крепости не умолкая. И только час тому назад канонада прекратилась. Можно было разговаривать не надрываясь.

Лосев сидел у костра вместе со своими мушкатерами. Из стариков 2-го: капральства, в котором служил Лосев, пришли под Измаил

Огнев, Воронов и Зыбин. Только Башилов остался в Бырладе — его трепала лихорадка.

С вечера, пока еще стреляли пушки, мушктеры говорили мало: было неприятно натуживаться и кричать, как неприятно и самому переспрашивать. А когда смолкла пальба, понемногу разговорились. Заговорили о родине, представляли, какие снега теперь там, как в это время в деревнях встают до света молотить. Потом кто-то вспомнил, что сегодня 11 декабря и, стало быть, завтра солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.

— Говорят, с этого дня зима ходит в медвежьей шкуре, стучит по крышам, ночью будит баб топить печи, — сказал Огнев.

— А у нас сказывают, — поддержал его какой-то рябоватый мушктер, — на солновороты медведь в берлоге ворочается с боку на бок.

— Где это — у нас? Ты откудова? — серьезно спросил у него ефрейтор Воронов.

— Из Тулы, — ответил рябоватый мушктер.

— Хорош заяц — да тумак, хорош парень — да туляк! — улыбаясь черными цыганскими глазами, вставил Зыбин.

— А ты-то сам какой? — вспыхнул рябоватый.

— Он, наверно, рязанец косопузый. Мешком солнышко ловили, — поддержали рябоватого его земляки.

— Не угадал, брат! — засмеялся Зыбин.

— Он из Калуги, — ответил Огнев.

— А, Калузья! Козла в тесте соложенном утопили!

— Что, попало? — смеялись над Зыбиным.

— Ничего, — не сдавался он. — Калужанин поужинает, а туляк ляжет и так.

В это время послышался топот копыт, и из темноты раздался голос:

— Какой полк?

— Апшеронский! — ответило сразу несколько голосов.

Все обернулись. И в свете костра увидели знакомую фигуру генерал-аншефа. Суворов был в обычных лакированных сапогах с широкими раструбами выше колен, в белом суконном, кафтане с зелеными китайчатými обшлагами и в своей всегдашней маленькой каске.

— А, молодцы-апшеронцы! Храбрецы! Богатыри! Под Козлуджей, Фокшанами, Рымнихом делали чудеса. Сегодня превзойдут самих себя!

— Постараемся, батюшка Александр Васильевич! Не выдадим! — зашумели мушктеры.

— Раньше времени в город не лезть! Пороховые погреба беречь! Безоружных не убивать! — говорил Суворов. — А как у тебя, князь, часы? Верно поставлены? — обернулся он к полковнику

Лобанову-Ростовскому, который подошел, услышав, что с его апшеронцами говорит сам Суворов.

— Поставлены, как у всех, ваше сиятельство, — ответил полковник, вынимая из кармана часы. — Без двух минут три. Сейчас должна быть первая ракета.

— Посмотрим, так ли, — сказал Суворов, запрокидывая голову назад и глядя вверх.

Все невольно последовали его примеру. Смотрели и ждали. И точно — вдруг раздался треск, и над головами в черное, покрытое тучами небо взлетела яркая ракета.

Чтобы обмануть бдительность турок, Суворов приказал каждый день перед зарею пускать ракеты, и сегодня они не были в диковину туркам.

— Ну, пора. С богом! — сказал Суворов. — Только чур — не шуметь! — улыбнулся он и тронул коня.

Солдаты осторожно разбирали ружья и становились в колонну. Костры продолжали гореть.

...Первая колонна, впереди которой шли апшеронцы, уже минут двадцать стояла у самой крепости. Колонна должна была по диспозиции взять каменный редут Табия, спускавшийся к самому Дунаю. За апшеронцами пятьдесят рабочих несли фашины, топоры, кирки, ломы. А дальше шли белорусские егеря и фанагорийцы.

Колонна стояла тихо. Ждала последней, третьей ракеты. Слышно было, как кто-то сзади, среди рабочих, вдруг кашлянул и сразу же оборвал: видимо, зажал рот рукой.

В Измаиле у турок было спокойно. Из-за стен чуть доносился приглушенный шум, да на валу громко перекликались часовые, а где-то в городе лениво лаяли собаки. Одна вдруг завyla.

— Чует недоброе, — шепнул, Лосеву рядом стоявший Зыбин.

Справа однообразно шумел, бился о камни Дунай.

Лосев прислушался — не слышать ли, как на судах подъезжает к Измаилу от Сулина десант де Рибаса. Ведь и они должны в эту минуту быть где-то недалеко. Но ничего не услышал.

От реки тянул густой туман. Знобило не то от холода, не то от волнения. Небо все так же было в тучах. До рассвета оставалось два часа.

И вот наконец высоко взвилась последняя ракета. Не успела она погаснуть в черном, беззвездном небе, как сразу же загремели пушки. Стреляли с реки, с судов. Ядра прочерчивали небо.

Притаившийся, затихший была Измаил, оказывается, и не думал спать, — турецкие батареи тотчас же заговорили в ответ. Огонь от пушечных выстрелов вырывал из темноты то черную блестящую полосу широкого Дуная, то высокие стены Измаила с жерлами пушек.

Но смотреть было некогда. Апшеронцы побежали вперед. У самого рва они рассыпались, и пока рабочие забрасывали шестисаженный ров фашинами, апшеронцы стреляли по редуту — на огоньки турецких выстрелов.

Но вот фашины уложены.

— Вперед, ребята! — закричал полковник Лобанов-Ростовский и первым кинулся через ров.

Лосев бежал вместе со всеми. Пули звенели вокруг. Под ногами хрустел фашинник. Кто-то упал убитый; его не успели оттащить в сторону, спотыкались, падая друг на друга. Кто-то провалился в ров — фыркнул, отплеывался, но плыл к турецкому берегу. Пули чокались о фашины.

Ров перебежали. Дальше дорогу преградил крепкий палисад. Какой-то мушкатер с остервенением ударил прикладом в толстые бревна — напрасно.

— Рабочие, сюда! Топоров скорее! Ломы давай! — кричали все — и офицеры и солдаты, оглядываясь назад.

Апшеронцы, бросившись ко рву, оттеснили рабочих, и теперь получилась заминка. Каждая минута была дорога. Вторая колонна, шедшая слева, уже взбиралась на вал. Слышно был как там кричали:

— Лестница мала, надвяжи ее!

— Лезь так. Вперед. Ура!

— Чего тут смотреть? Айда через полисад! — вдруг крикнул Огнев и в одну секунду ловко перемахнул через полисад.

За ним посыпались все. Тарахтя ружьями и флягами, обрывая на себе пуговицы и карманы, задевая друг друга, лезли апшеронцы.

Когда перескочил за палисад, пришлось остановиться, — впереди оказался второй, но на этот раз меньший ров. Бежавшие первыми попали в него и, вскрикивая от ледяной воды, перебирались на другой берег. Ров был неглубок — вода доходила только до пояса.

Ждать, пока рабочие прорубят палисад и протащат фашины, было невозможно. Тем более что турки с редута Табия засыпали пулями остановившихся апшеронцев. Падали убитые и раненые.

Мушкатеры стали прыгать через ров. Некоторые обрывались в воду.

— Ваше благородие, давайте прыгать! — крикнул Зыбин, в секундной вспышке орудийного выстрела увидевший возле себя подпоручика Лосева.

Лосев прыгнул вслед за ним. На той стороне рва собирались апшеронцы. Они снова залегли и стали стрелять по редуту, давая возможность переправиться егерям и фанаторийцам. Палисад уже трещал под ударами топоров. Но неожиданно на апшеронцев кинулись от редута толпы турок. В темноте трудно было разобраться. Только по крикам «алла» догадывались, где враг. Апшеронцы вскочили и приняли турок в штыки.

Лосев больше наугад ударил кого-то штыком, ударил другого. И тут перед его глазами сверкнул яркий огонь, что-то больно стукнуло по голове, тысячи искр посыпались из глаз, и все исчезло.

...Лосев очнулся оттого, что ему лили на голову холодную воду. Он с трудом поднял отяжелевшую, как будто не свою голову.

Чуть светало. Уже можно было кое-что различить. Он увидал, что лежит возле рва и что над ним склонился мушкатер Огнев.

— Живы, ваше благородие, а я уж думал — убили, окаянные! — обрадованно сказал мушкатер.

Лосев, держась за Огнева, сел. Все плыло у него перед глазами. И почему-то он видел только одним левым глазом.

Ров, через который давеча, они перепрыгивали, был заполнен фашинами. Кругом валялись трупы турок и русских. Воздух дрожал от пушечных и ружейных выстрелов, от криков «алла» и «ура». Где-то сверху призывны били барабаны.

— Где мы? Как штурм? — спросил, оглядываясь, Лосев.

— Маленько поспешили. Пришлось прыгать назад, через ров. А там подоспели с фашинами егеря и турок погнали, — рассказывал Огнев.

— Зыбин жив? Мы бежали с ним вместе, — спросил Лосев у Огнева, который зачем-то плевал в кулак.

— Жив еще. А вот ефрейтора нашего, Воронова, ранили в ногу.

Лосев силился открыть правый глаз, но не мог. Когда он моргал левым глазом, в правый кололо.

— Что у меня, глаз выбит? — упавшим голосом спросил Лосев.

— Нет, ваше благородие, глаз, должно, цел. В бровь маленько царапнула пуля. Сохрани господи, чуть правее взяла б, ну, тогда конец! — сказал Огнев, осматривая глаз. — Вот залепим сейчас землицей со слюнями рану, она засохнет и заживет.

Огнев приложил к глазу подпоручика влажный комочек земли. Лосев вытащил из кармана платок:

— Завяжи, братец!

Огнев перевязал раненому голову.

— Ну вот, теперь посидите, отдохните и помаленьку идите назад, а я побегу — у нас и так силы мало. Офицеров почти всех перебили, прямо страсть! Генерал Львов ранен, полковник Лобанов-Ростовский ранен.

— Кто же командует? — спросил Лосев.

— Полковник Золотухин, — ответил Огнев и, взяв ружье, побежал вдоль замолкнувшего бастиона.

Лосев остался сидеть. В голове у него звенело, перед единственным зрячим глазом плыли яркие круги.

Он нащупал флягу — цела. В ней было немного водки. Глотнул. Стало; лучше. Взял чье-то ружье и с трудом поднялся. Пошатываясь, пошел вперед.

Навстречу ему; тащились раненные. Придерживая обрубок левой руки, из которого хлестала кровь, шел мушкатер. Лосев узнал его, — это был апшеронец, тот рябоватый туляк.

— Ой, рученька моя, рученька! — приговаривал он.

Трое солдат, спотыкаясь, несли на плаще поручика-фанагорийца. Он был ранен в обе ноги.

— Я вам приказываю — оставьте меня здесь. Разве я не начальник ваш? Возвращаетесь назад, там вы нужнее!

— Сейчас, ваше благородие, только за палисад вынесем. Там из лезерву понесут дальше. А то как же своих раненных оставлять? — наставительно говорил старик егерь.

Поручик, увидав Лосева, приподнялся и лихорадочно возбужденным голосом сказал:

— Торопитесь, подпоручик, — там командовать некому, всех офицеров выбили!

Лосев ничего не ответил. Он глотнул еще раз из фляги и уже совсем твердо пошел вперед.

IX

Суворов прилег у костра.

Он только что закончил последнее приготовление к штурму Измаила: объездил бивуаки своих войск — говорил с солдатами и офицерами. Вспоминал чудо-богатырям их славное прошлое: Туртукай, Козлуджи, Кинбурн, Фокшаны, Рымник.

Внушал им веру в победу.

Спать не хотелось, несмотря на то, что за последнюю неделю приходилось отдыхать не более трех часов в сутки.

В первый же день как Суворов приехал из Бырлада к Измаилу и увидел эти грозные крепостные стены, окруженные валами, он решил тщательно подготовиться к штурму неприступной турецкой твердыни. По его приказу в пяти верстах от лагеря был насыпан — по измаильским размерам — четырехсаженный вал и вырыт такой же, как у турок, шестисаженный ров.

Конечно, Суворов не мог допустить, чтобы хоть одно — ночное ученье прошло без него. Генерал-аншеф сам руководил им. Показывал, как забрасывать фашинником ров, как с помощью лестниц и штыка взбираться на вал.

И во все ночи у Александра Васильевича почтив не оставалось времени для отдыха.

А сегодня и вовсе было не до сна.

Эта ночь должна решить все.

Европейские враги России уже ликовали, надеясь на...

...командировал к колоннам и полкам. Барон же оказался хитрее остальных: он оградил себя от опасности, получив у светлейшего точное назначение.

«Примечай, примечай!» — иронически думал Суворов, каждый раз доходя до него и круто поворачиваясь налево кругом.

В первые минуты, когда тишину разорвали пушечные залпы, когда со всех сторон в темноту понеслось громовое «ура» и ему тотчас же стало вторить заунывное «алла» турок, Суворов беспокоился об одном: как бы в темноте колонновожатые не напутали чего. Темнота, ночь, с одной стороны, были на руку: они скрывали малочисленность русских. Суворов всегда предпочитал ночной бой. Как ни были готовы турки к обороне, но все-таки ночной удар получался внезапным, неожиданным. Кроме того, неприятель не мог видеть, какие силы атакуют, и при этом стрелял наугад. Но, с другой стороны, темнота имела и некоторые неудобства: в ней трудно было ориентироваться. Вот наконец послышался конский топот и чей-то голос окликнул:

— Где генерал-аншеф? Где Александр Васильевич?

— Давай сюда братец! — крикнул Суворов.

К костру подскакал ординарец от второй колонны. Уже по его бодрому голосу Александр Васильевич почувствовал, что известия хорошие.

— Вторая колонна закрепилась на валу, — торопливо докладывал ординарец. — Полковник Неклюдов первым взшел на бастион. Овладел пушками!

— Молодцы! Тесните басурман! Скачи назад! — махнул рукой Суворов и снова заходил по холму.

«Неклюдов, — думал он. — Леонтий Яковлевич. Бравый командир. Орел! Начало есть. Так, так!..»

— А ну, Ванюшка, подбрось-ка хворосту, чтоб нас получше види! — сказал генерал-аншеф вестовому.

Не прошло и полчаса, как на веселый огонек генеральского костра прискакал следующий верховой.

— Откуда? Какая колонна? — издалека спросил Суворов.

— Первая, ваше высокопревосходительство, генерала Львова! — живо ответил верховой.

«Это против каменного, редута Табия. Его трудно взять. Но там мои богатыри — апшеронцы, фанаторийцы», — мелькнуло в голове.

Спросил:

— Как там у вас?

— Продвигаются, пошли правее редута. Генерал Львов ранен. Лобанов-Ростовский ранен.

Суворов поморщился:

— Кто повел?

— Полковник Золотухин.

— Ах да, ведь там Вася Золотухин, командир фанаторийцев! Хорошо, помилуй бог! Ординарец уехал.

Понемногу становилось светлее. Туман рассеялся. Показались очертания высоких измайльских стен.

На западной стороне все шло великолепно, без задержки.

Северный, самый сильный участок крепостных стен упорно защищался. Вал на северной стороне был выше других. Чтобы достичь его вершины, приходилось связывать две пятисаженные лестницы.

Суворов, не отрываясь, смотрел в зрительную трубу на северный вал, который находился от него в полуверсте. Он видел, как тяжело приходилось лифляндским егерям, атакующим этот бастион.

Турки сверху бросали на них громадные камни, катили бревна, сталкивали русских вниз с головокружительной высоты. Но мужественные егеря упорно пробивались наверх.

«Сейчас вторая колонна ударит во фланг туркам, тогда им не устоять!» Он перевел зрительную трубу налево, на восток, откуда шли четвертая, пятая и шестая колонны.

Четвертая и пятая составлены из казаков Орлова и Платова. У них были только шашки да укороченные пики, которые легко перерубались турками.

В шестую колонну, к бугским егерям, Суворов поставил командиром своего любимого ученика генерал-майора Михаила Кутузова.

У Кутузова с турками старые счеты.

Но пока что и от Михаила Илларионовича не поступило известий. Больше получаса тому назад Суворов послал к Кутузову ординарца-казака.

«Что-то задержался урядник!» — нетерпеливо поглядывал генерал-аншеф.

Наконец урядник примчался.

— Ну как? — спросил у него Александр Васильевич.

— Жарко, ваше высокопревосходительство. Взосли на вал, да басурманы уже два раза оттесняла егерей к самому краю. Не знаю, удержатся ли... Офицеров не видать: кто убит, кто ранен.

— А сам генерал-майор жив?

— Невредим. Идет впереди! — Суворов повеселел:

— Скачи назад. Передай генерал-майору Кутузову: назначаю его комендантом Измаила! Торопись, борода! Казачий урядник поспекал передавать приказ.

— Коня! — обернулся к вестовому Суворов.

Казак Ванюшка подвел коня.

Александр Васильевич поехал к четвертой колонне Орлова, которая была рядом.

Солнце уже взошло. Было совершенно светло.

Подъезжая к резерву, Суворов издали увидел: часть четвертой колонны прорубилась на вал, а другая — еще застряла у рва.

И вдруг соседние Бендерские ворота широко распахнулись, и турецкие янычары с дикими криками кинулись во фланг казакам.

Положение донцов, которые дрались на валу, стало критическим. Суворов подскочил к бригадиру Вестфалену, командовавшему резервом.

— Карабинеров и два батальона Полоцкого пехотного — на вырубку казакам! — приказал он.

— Поспешай, братцы! Бегом! — кричал он пехотинцам.

Пехота бросилась за карабинерами. «Ура» перекрыло турецкое «алла».

— Наша берёт, Александр Васильевич! Погнались турки! — не выдержав, обрадованно сказал казак Ванюшка, стоявший сбоку.

— А ты что ж думал: не возьмет? — улыбнулся Суворов. — Наша всегда возьмет!

И он поехал назад к своему командному пункту.

Теперь Суворов был спокоен и за третью колонну: четвертая тоже ударит во фланг туркам, защищающим крепкий северный бастион.

Суворов подъехал к пригорку.

Офицеры смотрели в зрительные трубы, обсуждая улучшившееся положение. Барон Тизенгаузен грел у потухающего костра озябшие руки.

— Ну, друзья, собирайтесь в Измаил! — весело сказал офицерам генерал-аншеф.

Все стали садиться на коней.

— Ваше высокопревосходительство, а все-таки у нас много потерь: бригадир Рибопьер убит, генерал Мекноб тяжело ранен... — подъезжая к Суворову, вкрадчиво начал Тизенгаузен.

Суворова передернуло: в этих словах потемкинского любимчика он почувствовал первый укол. Он сразу догадался, в чем станут обвинять победителя Измаила его завистники. Генерал-аншеф резко оборвал Тизенгаузена:

— В штурме убит — один, а в осаде от голода и холода — умерло пять! Простая арифметика, помилуй бог!

Он досадливо отвернулся от белобрысого барона и приставил трубу к глазам.

Весь этот бесконечный главный вал крепости общим протяжением в шесть верст уже был в руках у русских. Продырявленные пулями, прорубленные острыми турецкими шашками русские знамена победно развевались на стенах Измаила.

Враг не устоял и отступил внутрь города, в лабиринт узеньких, кривых улиц и переулков, в которых каждый дом, конечно, станет крепостью. Впереди предстояло еще много дела, много жертв, но главное уже стало явью: русские войска сломали врага.

Пришпорив коня, Суворов помчался к Хотинским воротам, которые изнутри открывали русские егеря.

Еще несколько часов тому назад бывшая несокрушимой, грозная турецкая крепость, на которую столько надежд возлагали враги Рос-

сии — Франция и Англия, теперь широко раскрывала перед великим русским полководцем свои ворота. [16, 250—259]

А. Д. Кившенко (1851—1895)

Литература

1. Глинка, С. Н. Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 37.
2. Гумилев, Л. Н. От Руси до России. — М., 2000. — С. 190.
3. Данилевский, Г. П. Княжна Тараканова. — Алтайское книжное издательство, 1979. — С. 452—455.
4. Державин, Г. Р. Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 20—22.
5. Десятков, С. Верховники. — М., 1980. — С. 129, 139, 112, 117.
6. Есенин, С. А. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. — М. : Художественная литература, 1978. — С. 283.
7. Жуковский, В. А. Три века русской поэзии. — М. : Просвещение, 1979. — С. 42.
8. Иванов, В. Н. Императрица Фике. — М., 1977. — С. 381, 390, 391, 395.
9. Екатерина II. — М., 2000.
10. Костров, Е. Н. Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 28.
11. Кузьмин, А. И. Военная героика. — М. : Просвещение, 1981. — С. 45, 53, 56, 57.
12. Лесин, В. И. Бунтари и войны. — Ростов н/Д, 1997. С. 105—116.
13. Ломоносов, М. В. Три века русской поэзии. — М. : Просвещение, 1979. — С. 14—15.
14. Петров, В. Я. Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 39.
15. Пикуль, В. Слово и дело. — М., 1998. — Т. 1. — С. 6—9, 10—19, 26—31, 38—45, 86—89, 90—99 ; Т. 2. — С. 526—530, 540—545.
16. Пушкин, А. С. Собрание сочинений. В 10 т. — Л. : Изд-во Наука, Ленинградское отделение, 1978. — Т. 6. — С. 308—309 ; Т. 8. — С. 89—91, 116.
17. Рановский, Л. И. Генералисимус Суворов. Советский писатель. — Ленинградское отделение, 1980. — С. 245—259.
18. Шишков, А. С. Певец во стане русских воинов. — М. : Молодая гвардия, 1989. — С. 27—28.
19. Эренбург, И. Т. Стихотворения. — Ленинградское отделение, 1977. — С. 96.

Литература

1. *Абакумова, И. В.* Смыслодидактика : учебник для магистров педагогики и психологии / И. В. Абакумова. — Москва : КРЕДО, 2008. — 87 с.
2. *Абульханова-Славская, К. А.* Диалектика человеческой жизни / К. А. Абульханова-Славская. — Москва : Мысль, 1977. — 224 с.
3. *Аврелий, Августин.* Исповедь / Августин Аврелий // История моих бедствий / Петр Абеляр. — Москва, 1992. — 150 с.
4. *Аристотель.* Сочинения. В 4 т. Т. 1 / Аристотель. — Москва, 1985. — 232 с.
5. *Батищев, Г. С.* Особенности культуры глубинного общения / Г. С. Батищев // Вопросы философии. — 1995. — № 3.
6. *Бахтин, М. М.* К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. — Москва, 1986.
7. *Белый, А.* Символизм как миропонимание / А. Белый. — Москва, 1990. — 550 с.
8. *Бергсон, А.* Собрание сочинений. В 2 т. Т. 1 / А. Бергсон. — Москва, 1992.
9. *Бердяев, Н. А.* Дух и реальность / Н. А. Бердяев. — Москва : АСТ, 2003. — 61 с.
10. *Библер, В. С.* От наукоучения — к логике культуры / В. С. Библер. — Москва, 1991. — 400 с.
11. *Бондаревская, Е. В.* Воспитание как встреча с личностью. В 2 т. / Е. В. Бондаревская. — Ростов-на-Дону, 2006.
12. *Бубер, М.* Два образа веры / М. Бубер. — Москва : Республика, 1995.
13. *Вентцель, К. Н.* Этика и педагогика творческой личности. В 2 т. / К. Н. Вентцель. — Москва, 1911—1912. — Т. 1. — 388 с. ; Т. 2. — 667 с.
14. *Вульф, К.* Антропология воспитания / К. Вульф. — Москва : Праксис, 2012.
15. *Выготский, Л. С.* Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва, 1987. — 480 с.
16. *Гартман, Н.* Этика / Н. Гартман. — Берлин, 1926. — 150 с.
17. *Гегель, Г.* Феноменология духа / Г. Гегель. — Москва, 1959. — 400 с.
18. *Герbart, И. Ф.* Избранные педагогические сочинения / И. Ф. Герbart. — Москва, 1980. — 312 с.

19. *Гете, И. В.* Очерк учения о цвете / И. В. Гете // Избранные сочинения по естествознанию. — Москва : Наука, 1954.
20. Гуманистическая, трансперсональная и экзистенциальная психология: К. Роджерс, А. Маслоу и Р. Мэй. — Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. — 221 с.
21. *Гуревич, А. Я.* Проблема ментальностей в современной историографии / А. Я. Гуревич // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. — Москва, 2001. — 350 с.
22. *Гуссерль, Э.* Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии / Э. Гуссерль. — Москва, 1990.
23. *Делез, Ж.* Логика смысла / Ж. Делез. — Москва : Академия, 1995. — 298 с.
24. *Джеймс, У.* Беседы с учителем о психологии / У. Джеймс. — Москва : Современник, 2004. — 160 с.
25. *Дистервег, А.* О природосообразности и культуuroобразности в обучении / А. Дистервег // Избранные педагогические сочинения. — Москва, 1956. — 384 с.
26. *Дьюи, Д.* Введение в философию воспитания / Д. Дьюи. — Москва, 1921. — 62 с.
27. *Зеньковский, В. В.* История русской философии / В. В. Зеньковский. — Харьков : Фолио ; Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 896 с.
28. *Зинченко, В. П.* Живое знание / В. П. Зинченко. — Самара, 1998а. — 216 с.
29. *Зинченко, В. П.* Посох Мандельштама и Трубка Мамардашвили. К началам органической психологии / В. П. Зинченко. — Москва, 2002. — 270 с.
30. История образования педагогической мысли за рубежом и в России / под редакцией З. И. Васильевой. — Москва : Академия, 2001.
31. *Калгрэн, Ф.* Воспитание к свободе / Ф. Калгрэн. — Москва : Московский Центр вальдорфской педагогики, 1992.
32. *Кандинский, В.* О духовном в искусстве / В. Кандинский // Точка и линия на плоскости. — Санкт-Петербург : Азбука, 2001.
33. *Карсавин, Л. П.* Религиозно-философские сочинения. В 2 т. Т. 1 / Л. П. Карсавин. — Москва, 2003.
34. *Кибардин, Н. П.* Система педагогики по творениям Блаженного Августина / Н. П. Кибардин. — Казань, 1910. — 155 с.
35. *Коменский, Я. А.* Великая дидактика. Т. 1 / Я. А. Коменский // Избранные педагогические сочинения. — Москва, 1982.
36. Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г.: Педагогическое наследие / составитель В. М. Кларин, А. Н. Джурицкий. — Москва, 1988. — 416 с.
37. *Кузанский, Н.* Игра в шар. О видении Бога / Н. Кузанский. — Москва : Академический проект, 2012. — 159 с.

38. Кьеркегор, С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. — Москва, 1993. — 383 с.
39. Лейбниц, Г. В. Сочинения. В 4 т. Т. 2 / Г. В. Лейбниц — Москва, 1980. — 256 с.
40. Локк, Д. Сочинения. В 3 т. / Д. Локк. — Москва, 1983—1988.
41. Лосский, Н. О. Бог и мировое зло / Н. О. Лосский ; составитель А. П. Поляков, П. В. Алексеев, А. А. Яковлев. — Москва : Республика, 1994. — 432 с.
42. Лотман, Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культур / Ю. М. Лотман // Труды по знаковым системам. Ученые записки Тартуского университета. — 1973. — Вып. 308. — С. 227—243.
43. Лузина, Л. М. Понимание как духовный опыт (о понимании человека) / Л. М. Лузина. — Псков, 1997. — 168 с.
44. Мамардашвили, М. К. Стрела познания / М. К. Мамардашвили. — Москва : Языки русской культуры, 1997.
45. Марсель, Г. Опыт конкретной философии / Г. Марсель. — Москва : Республика, 2004. — 224 с.
46. Модульная организация учебного процесса в вузе: методологическое осмысление основных форм обучения — лекций, семинаров, практических занятий / В. В. Шоган [и др.] ; научная редакция В. В. Шоган // Южный федеральный университет, Педагогический институт — Ростов-на-Дону : Изд-во ИПО ПИ ЮФУ, 2012. — 412 с.
47. Мунье, Э. Что такое персонализм / Э. Мунье. — Москва, 1992.
48. Пиаже, Ж. Избранные педагогические труды / Ж. Пиаже. — Москва, 1984. — 678 с.
49. Пирс, Ч. Начала прагматизма / Ч. Пирс ; предисловие В. В. Кирюшенко, М. В. Колопотина. — Санкт-Петербург : Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ : Алетейя, 2000. — 352 с.
50. Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; общая редакция В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтович, Ю. В. Сачкова. — Москва, 1986. — 432 с.
51. Розанов, В. В. Религия. Философия. Культура / В. В. Розанов. — Москва, 1992.
52. Руссо, Ж.-Ж. Педагогические сочинения. В 2 т. Т. 1 / Ж. Ж. Руссо. — Москва, 1981.
53. Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Ж.-П. Сартр. — Москва : Республика, 2000. — 639 с.
54. Соловьев, В. С. Философия искусства и литературная критика / В. С. Соловьев. — Москва, 2001. — 80 с.
55. Сорока-Росинский, В. Н. Педагогические сочинения / В. Н. Сорока-Росинский. — Москва, 1991. — 240 с.

56. *Сторожакова, Е. В.* Глубинный диалог в высшем педагогическом образовании: монография / Е. В. Сторожакова. — Москва : Вузовская книга, 2014.
57. *Сторожакова, Е. В.* Уроки истории древнего мира в 5 классе / Е. В. Сторожакова, В. В. Шоган, Н. В. Оболонко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 256 с.
58. *Тиллих, П.* Диалог / П. Тиллих, К. Роджерс // Московский психотерапевтический журнал. — 1994. — № 2. — С. 133—150.
59. *Толстой, Л. Н.* Педагогические сочинения / Л. Н. Толстой. — Москва, 1989.
60. *Трубецкой, Е.* Смысл жизни / Е. Трубецкой. — Москва, 2005. — 480 с.
61. *Флоренский, П. А.* Иконостас / П. А. Флоренский. — Москва, 2003. — 280 с.
62. *Фоменко, В. Т.* Исходные логические структуры процесса обучения / В. Т. Фоменко. — Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1985. — 216 с.
63. *Франкл, С. Л.* Духовные основы общества / С. Л. Франк. — Москва, 1992.
64. *Хайдеггер, М.* Время и бытие: статьи и выступления / М. Хайдеггер. — Москва : Республика, 1993. — 298 с.
65. *Цветков, Э.* Мастер самопознания, или Погружение в «Я» / Э. Цветков. — Москва, 2003. — 320 с.
66. *Шацкий, С. Т.* Педагогические сочинения. В 4 т. Т. 2 / С. Т. Шацкий. — Москва, 1964.
67. *Шеллинг, Ф. В. Й.* Философия искусства / Ф. В. Й. Шеллинг. — Москва, 2005. — 420 с.
68. *Шоган, В. В.* Воспоминание о будущем. Перспективы образования третьего тысячелетия / В. В. Шоган — Москва: Вузовская книга, 2013. — 388 с.
69. *Шоган, В. В.* История искусства в школе / В. В. Шоган. — Ростов-на-Дону, 1999.
70. *Шоган, В. В.* Методика преподавания истории в школе. Уроки истории нового поколения / В. В. Шоган. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005.
71. *Шоган, В. В., Шоган, Е. В.* Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в высшей школе : учебное пособие / В. В. Шоган, Е. В. Шоган // Южный федеральный университет, Педагогический институт — Ростов-на-Дону : Изд-во ИПО ПИ ЮФУ, 2009. — 332 с.
72. *Шоган, В. В.* Модульная организация учебного процесса в вузе: методологическое осмысление основных форм обучения — лекций, семинаров, практических занятий / В. В. Шоган. — Ростов-на-Дону : Изд-во ИПО ПИ ЮФУ, 2012.

73. Шоган, В. В. Новые технологии в историческом образовании / В. В. Шоган. — Ростов-на-Дону, 2005. — 156 с.
74. Шоган, В. В. Теоретические основы модульной технологии лично-ориентированного образования / В. В. Шоган. — Ростов-на-Дону, 1999.
75. Шоган, В. В. Технология лично-ориентированного урока / В. В. Шоган. — Ростов-на-Дону : Учитель, 2003.
76. Шоган, В. В., Сторожакова, Е. В. Этюды о глубинной дидактике / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова — Ростов-на-Дону : Ростов-книга, 2016. — 228 с.
77. Шоган, Е. В. Старшеклассник в диалоге с вечностью. Экзистенциальные диалоги как фактор ценностно-смыслового развития личности старшеклассника в образовательном пространстве : учебное пособие / Е. В. Шоган. — Москва : MapT, 2006. — 176 с.
78. Шоган, Е. В. Экзистенциальные диалоги в воспитательном пространстве школы / Е. В. Шоган // Воспитание гражданина, человека культуры и нравственности как условие конструктивного развития современной России. — Ростов-на-Дону, 2004.
79. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. — Новосибирск, 2003. — 800 с.
80. Штайнер, Р. Антропософия. Фрагмент 1910 / Р. Штайнер // Общая антропология как основа педагогики. — Москва : Титурель, 2005.
81. Юнг, К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. — Москва : Ренессанс, 1991. — 304 с.
82. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. — Москва, 1994. — 528 с.
83. Heidegger, M. Existence and being / M. Heidegger. — Chicago : Regnery, 1949.
84. Heidegger, M. The way back into the ground of metaphysics / M. Heidegger. — New York : Meridian, 1956.
85. Miller, A. Cognitive differentiation and integration: A conceptual analysis / A. Miller, P. Wilson // Genetic Psychology Monographs. — 1979. — Vol. 99. — P. 3—40.
86. Ricoeur, P. The Conflict of interpretations: Essays in Herm. — 1969.
87. Rogers, K. A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework / K. Rogers // Psychology: A study of a Science. — Vol. 3. Formulations of the Person and the Social Context ; editor by S. Koch. — New York, 1959. — P. 184—256.
88. Rogers, K. Toward a More Humanistic Science of the Person / K. Rogers // Journal of Humanistic Psychology. — 1978. — № 9. — P. 145—152.

Новые издания по дисциплине «Методика обучения истории»

1. Методика обучения истории: трудные вопросы истории России : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный редактор С. В. Любичанковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — (Образовательный процесс).

2. *Набатова, О. Г.* История России XVIII века. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Образовательный процесс).

3. *Набатова, О. Г.* История России XVI—XVII веков. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Образовательный процесс).

4. *Набатова, О. Г.* История России с древнейших времен до начала XVI века. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Образовательный процесс).

5. *Несмелова, М. Л.* История Древнего мира. Конспект уроков. В 3 ч. Ч. 1 : практическое пособие / М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Образовательный процесс).

6. *Несмелова, М. Л.* История Древнего мира. Конспект уроков. В 3 ч. Ч. 2 : практическое пособие / М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Образовательный процесс).

7. *Несмелова, М. Л.* История Древнего мира. Конспекты уроков. В 3 ч. Ч. 3 : практическое пособие / М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Образовательный процесс).

8. *Несмелова, М. Л.* История Средних веков. Конспект уроков. В 2 ч. Ч. 1 : практическое пособие / М. Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. — (Образовательный процесс).

9. *Несмелова, М. Л.* История Средних веков. Конспект уроков. В 2 ч. Ч. 2 : практическое пособие / М. Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Образовательный процесс).

10. *Соколова, М. В.* Устная история. Теоретические и педагогические основания : учебное пособие для академического бакалавриата / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Бакалавр. Академический курс).

11. *Шоган, В. В.* Методика преподавания истории в школе : учебное пособие для вузов / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 433 с. — (Высшее образование).

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию
e-mail: gred@urait.ru

**Новые издания и дополнительные материалы доступны
в электронной библиотеке biblio-online.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Учебное издание

**Шоган Владимир Васильевич,
Сторожакова Екатерина Владимировна**

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Учебное пособие для вузов

Формат 70×100¹/₁₆.
Гарнитура «Charter». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 27,00.

ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.
Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru